

ISSN 0132-0637

2001



Октябрь

Октябрь

10 2001

ОКТЯБЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

2001

ОКТЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Весна в Карфагене. Роман. Продолжение	3
Анатолий НАЙМАН. Жизнь и смерть поэта Шварца. Пьеса	67
Виталий ПУХАНОВ. Неприкасаемое. Стихи	94
Сергей ЮРСКИЙ. Вспышки. Заключительная глава книги	99

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Михаил ЗАДОРНОВ. Фантазии сатирика	149
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь ВИШНЕВЕЦКИЙ.
Неуловимое отсутствие 172

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Ландшафты хеппи-энда 176

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Образ паровоза 182

Русское поле

Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ 186

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора

Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА

отв. секретарь

Алексей АНДРЕЕВ

зав. отделом прозы

Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

зав. отделом критики

Виталий ПУХАНОВ

проза

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 600 экземпляров журнала.

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24, приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.08.2001. Подписано к печати 21.09.2001. Формат 70x108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 6035 экз. Заказ № 2297. Цена 52 руб.

ООО «ОИД «Медиа-Пресса».

125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Весна в Карфагене

РОМАН

Вселенная и не подозревает, что мы существуем.

*Слова Луция Мамелия Туррина,
приписываемые ему Гаем Юлием Цезарем*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIII

За полуразрушенными термами римского императора Антонина Пия густо синело Средиземное море, воды его Тунисского залива. А еще дальше, на востоке, горбились лиловато-серые безлесые горы берегового Атласа, над которыми причудливо застыли в белесом небе белые кучевые облака. Застыли, словно задумались, куда им лететь — то ли назад, в пустыню Сахару, то ли вперед, в открытое море и дальше, далеко-далеко, хоть в Россию, а хоть в Китай...

Именно в эту местность, на приморскую виллу вблизи руин древнего Карфагена, ранней весной 1934 года прибыла молодая русая женщина. Она приехала на роскошном белом кабриолете «рено» в сопровождении хозяина виллы, главы одного из немногочисленных тунизийских банков господина Хаджибека. Женщину звали Мария Мерзловская. С того дня и на долгие годы она стала одной из самых таинственных и влиятельных теневых фигур не только высшего общества французской колонии Тунисии, но и, пожалуй, всего Ближнего Востока.

Вскоре о ней уже было известно, что по происхождению Мария — русская аристократка, а приехала в Тунизию из метрополии, из Парижа.

Постепенно выяснилось, что Мария изучила в тонкостях не только французский язык и этикет, но и многое другое, совсем не вяжущееся с ее пленительным обликом. Например, она знала прикладную математику, химию, оптику, без запинки читала карту звездного неба, разбиралась в биржевых котировках как заправский брокер с Уолл-стрита, стреляла из пистолета, как бравый офицер, понимала толк в лошадях и была неутомимой наездницей, плавала так, что за ней всегда приходилось посылать яхту к самому горизонту. Были у Марии и еще многие дарования, в том числе и два самых важных, определяющих ее жизнь. Одно — тайное или почти тайное, впрочем, говорить о нем пока еще рано... Второе дарование явное, так сказать, светское, — талант художника. Этот второй талант был хотя и небольшой, но очень цельный. Как говорила по поводу своего дарования сама Мария: «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана».

Когда, бывало, ее спрашивали, почему она с таким букетом талантов и способностей влачит свои дни здесь, в глуши Тунисии, а не блистает где-нибудь в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, Мария отвечала всегда одно и то же:

— Там нет и никогда не было Карфагена.

И спрашивающие понимали, что она имеет в виду свою разрушенную Родину. Мария всегда рисовала акварелью или писала маслом лишь сюжеты, связанные с историей Карфагена или с жизнью в его современных развалинах. Всегда только Карфаген — и больше ничего, никогда.

Ее законченные работы были лишь двух размеров: 40Х60 или 60Х90 сантиметров, всегда с подписью «Мари» (русскими буквами) в нижнем правом углу и с названием картины по-французски, в нижнем левом углу, написанным очень мелкими, но очень отчетливыми буквами. Во всех ее работах присутствовало одно важное качество: они были узнаваемы с первого взгляда, в них сознательно подчеркивалось единство стиля, может быть, и не природного, а нарочно придуманного, но это не имело значения. Так или иначе, а стиль был. Притом, что не менее важно, она давала своим картинам хотя и однотипные, но броские, яркие названия: «Клятва Ганнибала», «Огонь Финикии», «Песня весталки», «Блаженный Августин», «Весна в Карфагене».

Считалось, что ее картины приносят удачу, и на благотворительных базарах местная знать раскупала их на ура.

Вдобавок ко всему вышесказанному Мария хорошо играла на рояле, и у нее был довольно сильный и хорошо поставленный голос — полнозвучное чистое сопрано, очень нежное на верхах.

— Уныние, господа, — тяжкий грех. Никогда не поддавайтесь унынию! — любила повторять Мария и скоро прослыла среди своих новых знакомых веселой хохотушкой, готовой смеяться по любому подходящему поводу. Она смеялась так непринужденно, так заразительно, что даже самые унылые скептики, самые удрученные несовершенством мира мизантропы, и те светлели в ее присутствии. Она так умела оценить и так ловко подхватывала любую мало-мальски удачную шутку, что уже одно это могло бы снискать ей любовь и признательность всех тех мужчин и женщин, которых она поощрила своей поддержкой и своим вниманием.

Склонная к мистификациям и розыгрышам, она любила петь тунизийцам и даже разучивать с ними под собственный аккомпанемент украинские народные песни. Особенно часто:

Ничь така мисячна,
Зоряна ясная,
Видно, хоть голки збирай.
Вийди, кохана,
Працюю зморена,
Хочь на хвылыночку в гай!

Она уверяла владельцев тунизийских царьков и их приближенных, что эту песню сочинила ее прабабушка, и более того — это их родовой фамильный гимн.

Тунизийцы пели с прилежанием. Бывало, из раскрытых окон виллы так и несло над руинами Карфагена, так и летело к морю, подхваченное береговым ветром:

Ничь така мисячна,
Зоряна ясная...

Слова песни вполне гармонировали с действительностью: ночи в этих благословенных местах Северной Африки обычно стояли ясные, лунные и очень тихие.

Мария была одинаково доброжелательна со всеми — без разбору чинов и сословий. Она с лету запоминала и уже никогда не забывала имена своих новых знакомых и все, что было с каждым из них связано, что представляло интерес для этих людей — будь то мальчик на побегушках или негодяй, у которого этот мальчик был в услужении. Опять же независимо от чинов и сословий люди высоко ценили такое внимание к своим персонам и оплачивали Марии той же монетой.

При этом надо заметить, что интерес Марии к любому человеку был неподдельный, во всяком случае, уличить ее в неискренности или в какой-то корысти

никто бы не смог. Она помнила о каждом, с кем хоть мимолетно пересеклась ее повседневная жизнь, такие подробности, такие детали, которые те зачастую и сами не держали в памяти.

Но особенно поразило внимание старшего поколения тунизийской аристократии (отгулявшей свое в молодости и на старости лет повернувшейся лицом к Аллаху) то, что Мария не просто говорила и писала по-арабски, а имела довольно подробное представление о Коране и ей ничего не стоило вставить в разговор со старейшими стих из той или иной суры*, притом всегда к месту, всегда со смыслом.

Ходили слухи, что Мария владеет большим состоянием, но последнее опять же не вязалось с тем, что в доме Хаджибека она служила всего лишь гувернанткой, воспитывала двух его маленьких сыновей. Правда, точно так же с должностью гувернантки не вязались и те роскошные апартаменты, которые были отведены ей в доме и, главное, тот ненарочитый почет, который оказывали ей все без исключения члены семьи банкира, слуги и служащие банка.

До приезда Марии Александровны банкирский дом Хаджибека был заурядным французским колониальным банком. А с ее появлением, всего за два финансовых года, он бурно выдвинулся в первую тысячу банков мира. С ним стали считаться не только в Тунисии и в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке, во Франкфурте-на-Майне, Токио, Риме, Цюрихе.

Злые языки болтали всякое, но близкие банкира Хаджибека, и в особенности две его жены, точно знали, что интимной связи между их хозяином и Марией нет и никогда не было. Жены Хаджибека и его сыновья знали о Марии, что она — один из крупнейших вкладчиков банка и фактически управляет им, что она никогда не предаст и, главное, — как говорил о ней сам Хаджибек: «Мари — наш компас в бурном море!»

Но все это будет потом, в далеком грядущем. А пока, в тот знаменательный день приезда, умывшись и переодевшись с дороги в шелковое легчайшее платье белого цвета, Мария познакомилась с членами семьи Хаджибека, а затем то ли спросила у него разрешения, то ли поставила его в известность:

— Я пойду, прогуляюсь в развалинах.

И, не дожидаясь ответа, направилась к руинам Карфагена, к видневшимся невдалеке полуобвалившимся аркам римских терм.

Эта ее манера как бы испрашивать разрешения, но в то же время лишь ставить в известность была весьма характерна для Марии, делала ее отношения с окружающими неуловимо зыбкими, слегка напряженными и вместе с тем свободными от взаимных обязательств. Она поступала так всегда — с застенчивой, почти просительной улыбкой, но, увы, абсолютно непреклонно. Перечить ей было трудно, ее светло-карие, необыкновенно лучистые глаза сияли так доверчиво, так открыто, в них без труда прочитывалась полная уважительность к собеседнику и такое же полное нежелание с ним считаться.

Вот и сейчас, глядя ей вслед, Хаджибек не обиделся, а только подумал о том, как подходит к ее светло-русый волосам белое платье, как хороша и свежа она. Глядя ей вслед, старый лис, сам не понимая почему, еще раз вдруг уверился, что наконец-то нашел подлинное сокровище и теперь его дело станет процветать как никогда.

— Накрывайте на стол, она скоро вернется! — велел он женам.

Еще не знавшие ничего о Марии, те заподозрили в ней опасную соперницу, скорбно поджали губы, повинновались с постными лицами и принялись сервировать огромный овальный стол на открытой веранде. Согласно здешним обычаям, не слуги, а жены или дочери хозяина накрывали на стол только в тех редчайших случаях, когда надо было оказать гостю особый почет.

Мария не ожидала встретить в термах людей, но уже за первой циклопической аркой наткнулась на двух арапчат лет десяти с совочками и метелочками,

* Сура — глава из Корана (здесь и далее — примечания автора).

расчищающими какую-то деталь постройки. Рядом с мальчишками оказался мужчина лет сорока, безусловно, француз, — невысокого роста, в широкой рабочей блузе, в испачканных красной пылью штанах, в грубых сандалиях на босу ногу, но в новеньком пробковом шлеме — очень дорогое, Мария знала такие по тропикам.

Один из арабских мальчишек, как выяснилось позже, Али, рослый, крепенький, с уверенным блеском в черных смысленных глазах, а второй, Махмуд, — худосочный, маленький, какой-то заморенный, и глаза у него были как будто не детские, а по-стариковски печальные, мудрые.

— Пиккар — археолог! — делая шаг вперед и слегка кланяясь, церемонно представился мужчина.

— Мария — гувернантка! — ловко отшагнув в сторону, в тон ему ответила она и взглянула в глаза мужчине так ласково, так призывно и так презрительно, что у того перехватило дыхание. Взглянула и прошла мимо, не оборачиваясь, и ее длинное белое платье заструилось вдоль ее тела в такт легкой поступи.

Мальчик Али, мальчик Махмуд и археолог Пиккар смотрели ей вслед неотрывно. Опытный ловелас мсье Пиккар понял, что попался, что он просто угловатый подросток перед этой Женщиной с большой буквы.

— Гувернантка! — зло и восторженно прошептал он, не в силах выпустить ее из виду. — Знаем мы таких гувернанток...

XIV

Дымные полосы предрассветного сумрака еще сложились в воздухе, еще цеплялись за кусты и деревья клочки тумана, а Хаджибек и Мария уже успели выпить крепкого кофе на широкой каменной веранде и спустились в маленький садик, искусно разбитый вокруг виллы. Садик был хорошо ухожен. То ли полукусты, то ли полудеревья олеандра с его вечнозелеными, словно жестяными листьями, кроваво-алые, неестественно крупные и совсем не пахучие розы на очень высоких и как бы восковых стеблях, лиловые и белые гроздья нежных глициний, жадно прикишие к расселинам, к тайникам влаги в каменных стенах старинного дома, — они-то, глицинии, знают, как беззащитна эта предутренняя благодать, какой зной ждет их впереди, с восходом жгучего солнца; лихорадочно-желтые приторно-душные метелки на кустах мимозы, несколько высоких и мощных финиковых пальм, со стволами, покрытыми словно окаменевшей роговицей, — все здесь было контрастное, яркое, пышное, жесткое даже на вид, как будто бы не живое, а искусственное, рассчитанное Создателем на театральный эффект.

«По холодку», как сказали бы русские, Хаджибек и Мария собрались поехать на белом лимузине в Бизерту — крупный торговый порт протектората и одновременно французскую военно-морскую базу.

Остывшая за ночь до наледи в песчаных лощинах Сахара посылала из-за серой каемки гор потоки благословенной прохлады. Они встречались здесь, на берегу, с влажным, чуть солоноватым дыханием моря, смешивались с ним, и казалось, что ты не дышишь, а пьешь этот воздух.

Водитель подал авто. И тут Мария в который раз удивила банкира:

— Обойдемся без лишних ушей, — сказала она ему чуть слышно и громко добавила: — Я поведу машину сама.

— А вы умеете? — Хаджибек по-мальчишески обескураженно почесал седую коротко стриженную голову.

— Да.

— Машина заправлена на триста миль, мадам, — кривя в недоверчивой улыбке толстые лиловато-серые губы, обиженно сказал водитель-бербер в красной феске.

— Мадемуазель! — строго поправила его Мария.

— Пардон, мадемуазель! — Водитель вылез из-за руля и картинно протянул ей ключ зажигания на серебряном брелоке-цепочке с маленьким серебряным двугорбым верблюдом.

Мария внимательно рассмотрела брелок — он ей понравился. Как сказали бы русские, «простенько, но со вкусом».

— Этого бензина нам хватит на две таких поездки.— Мария обезоруживающе улыбнулась отставленному водителю, приоткрывая дверцу авто, ловко села за руль, одновременно машинально вставляя в гнездо ключ зажигания.

— Да, мадемуазель, здесь в один конец семьдесят миль, вы правы, — применный ее улыбкой, с уважительной готовностью подтвердил водитель, видя, что по всем повадкам перед ним не экзальтированная барыня, а опытный коллега.

Хаджибек сел на переднее сиденье рядом с Марией. Машина плавно взяла с места. Водитель-бербер дружелюбно помахал им вслед темной рукою и восхищенно цокнул языком, показывая крупные белые зубы: «Ай, какая женщина! Ай-яй-яй! Если бы Аллах дал мне что-то похожее...»

А тем временем на востоке возникла узкая лимонная полоса света и отделила темные воды моря от неестественно красивого темно-синего небосвода с еще сверкающими на нем золотыми блестками звезд первой величины. С каждой минутой звезды эти тускнели и гасли, а потоки света все нарастали, и купол неба становился все светлее, поднимался все выше, и вместе с ним ширились просторы прибрежной долины с серыми квадратами виноградников, расплывчатыми пятнами оливковых рощ с их узловатыми, корявыми низкорослыми деревьями, пережившими не один десяток поколений как сборщиков, так и едоков урожая*. Все яснее открывалась взору долина с ее белыми лентами известняковых дорог; дальними холмами, покрытыми темными, почти черными издали хвойными лесами, с серыми каменистыми осыпями, с ярко белеющими островками овечьих отар и черными стадами коз, с отполированными до тусклого лоска вертикальными стенами заброшенных каменоломен, с одиноким всадником, скачущим по дальней нижней дороге, с цепочкой крохотных верблюдов на самой кромке горизонта, с принявшим цвет еще влажного камня хамелеоном, готовым в любую секунду отстрелить своим длинным липким языком первую проснувшуюся мушку.

— А у вас есть права на вождение? — полюбопытствовал Хаджибек.

— Да. Я работала на «Рено». — Мария переключила скорость, прибавила газу. Мощный автомобиль повиновался ей, казалось, с удовольствием. Белая полоса дороги вдоль берега моря летела под колеса. Ехать было приятно, упругий встречный ветер доносил запахи водорослей, то и дело мелькали вдоль дороги стенки и столбики зеленых кактусов, высокие кусты алоэ с розовыми чашами царственных соцветий.

— У меня всего два месяца, — наконец вкрадчиво начал Хаджибек разговор о главном, о том, что не давало ему покоя все последние дни. — Два месяца, — повторил он, тяжело вздохнув, — и я должен сказать итальянцам «да» или «нет». Вы слышите меня, графиня?

— Ой, какое прелестное море, ровное, как обеденный стол. Смотрите, солнце! Боже мой! Мы чуть не прозевали солнце! Ай-я-я-яй! — по-детски восторженно захохотала Мария, бросила руль и хлопнула в ладоши над головой. — Не шали, милая, не шали! — В последний миг Мария успела выровнять машину на дорожной полосе, и они не свалились под откос.

— Остановите авто! — Маленькие черные глазки банкира зло блеснули, низкий смуглый лоб мгновенно покрылся испариной. Он перепугался не на шутку и от этого пришел в ярость.

Мария мгновенно повиновалась, сбросила скорость, притормозила, машина встала, сильно качнувшись.

Коротконогий плечистый Хаджибек проворно выскочил на дорогу и стал нервно прохаживаться по ее белому краю из насыпного известняка — в минуты волнений он всегда прохаживался взад-вперед.

* Оливковые деревья живут и плодоносят от пятисот до тысячи лет.

Мария смотрела на восходящее над морем солнце, на него еще можно было смотреть, и думала о своем. Сейчас ее не волновали ни сиюминутные страхи, ни будущие гешефты ее спутника. Она вспоминала невольно тот далекий 1920 год, когда приплыла впервые к этим берегам одинокой пятнадцатилетней девочкой.

Солнце стало ослепительным. Мария отвела от него взгляд и занялась подпиливанием ногтей, она очень любила полировать ногти и всегда приводила в свое оправдание строки Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Хаджибек справился со своим гневом и раздражением, вернулся в машину. Некоторое время оба напряженно молчали.

— Ну, я умоляю вас, графиня, вы должны мне сказать... — робко начал Хаджибек.

— Ничего я вам не должна! — сухо оборвала его Мария. — Ничего, ровным счетом. Я хотя и гадалка, но мне нужно высчитать все досконально. Я должна осмотреть порт, облазить его весь не один раз, должна изучить сегодняшнее состояние вашей страны, должна все оценить, все взвесить. Двух месяцев для этого недостаточно.

— Но они ставят условия...

— А вы тоже ставьте свои — кто вам мешает? Надо быть жестче — итальянцы это оценят. Вы ведь крупный банкир, а не официант в их пиццерии! — грубо польстила ему Мария.

— Да, да, конечно, — с удовольствием согласился Хаджибек. Ему очень хотелось быть крупным банкиром. — Но, графиня...

— А вы вели какую-нибудь параллельную работу с немцами? — спросила Мария.

— С немцами?.. Но ведь они союзники итальянцев? Я считал, у них общие интересы...

«Какой он провинциальный», — подумала о банкире Мария, а вслух сказала:

— У нас, у русских, есть пословица: «Дружба дружбой, а табачок врозь». — Сначала она с удовольствием произнесла это на русском языке, а затем перевела ему на французский. Получилось довольно близко к тексту.

— Хорошая мысль, — задумчиво сказал Хаджибек. — Графиня, я очень наивен...

— Вы? Какая прелесть — наивный банкир! Это что-то вроде крокодила-вегетарианца! — Она взглянула на него с лукавой усмешкой. Ее чуть раскосые, почти прозрачные на солнце глаза сияли неизменной молодостью и отвагой фаталистики. — Ну что, мы едем в Бизерту или будем стоять здесь?

Хаджибек утвердительно кивнул, не в силах отвести взгляда от высокой, белой шеи Марии, от нежной ямочки под ее горлом.

— Господин Хаджибек! — в голосе графини прозвенел металл.

— Да? — Хаджибек смущенно отвернулся.

— Господин Хаджибек, если вы будете так меня рассматривать... я пошлю вас к чертовой матери вместе со всеми вашими грандиозными планами?

— Простите, графиня, — пробормотал банкир, — я, конечно, для вас старик, но...

— Вы не старик, а цветущий мужчина. Но я для вас не женщина, а деловой партнер и только. Договорились?

— Да, графиня. Извините, графиня... А что вы делали на «Рено», если не секрет? — стараясь переменить разговор и как бы подводя черту под их нечаянной размовкой, спросил Хаджибек.

— Разное, — тронув машину с места, миролюбиво отвечала Мария. — Сначала стояла на конвейере, крутила гайки, потом отгоняла авто на дальние стоянки-накопители и даже в другие города Франции — это была уже квалифицированная работа, за нее хорошо платили. Потом работала в той же системе «Рено», но уже на танковом заводе. Там делали танки, тягачи, трактора, самоход-

ные дрезины для железной дороги. Я рассчитывала на грузки танковых моторов, здесь наконец пригодились мои университетские знания. Вы ведь знаете, что я математик-прикладник.

— Глядя на вас, трудно во все это поверить, — философски изрек банкир. — Где вы, а где эти гайки, шайбы, тягачи, грязь и копыт? О, Аллах!

— Все это вполне нормально, — сказала Мария, увеличивая скорость.

Дорога впереди выравнивалась в прямую линию километра на полтора, так что можно было позволить себе разгончик! Она обожала скорость.

— Это нормально. Когда у вас во Франции была революция, ваши тоже теряли все, а потом зарабатывали себе на кусок хлеба как могли. Например, они ехали к нам в Россию и служили гувернантками, учителями, поварами, парикмахерами, часовщиками, кем угодно, кто во что горазд!

— Да, — согласился Хаджибек, — революция — это мерзость, это сумасшествие народа.

— Что-то похожее на сумасшествие, это верно. Но ведь вы мечтаете о своей революции?

— Я?! — Хаджибек аж отпрянул к дверце. — Да вы что? Национальная самостоятельность — это совсем другое. Я мечтаю о разумной самостоятельности от Франции — только и всего. Большого и для меня, и для моей Тунизии не надо!

Какое-то время опять ехали молча.

Хаджибек думал о своем будущем деле с итальянцами. О, оно сулило ему миллионы! Думал о независимости своей любимой Тунизии, в глубокой тайне надеясь стать в ней первым лицом. А почему бы нет?

Мария вспоминала огромные цеха Бьянкура*, запах жженой металлической стружки, бедность, в которой она жила, грубые приставания рабочих, танковую броню, которую почему-то она так обожала гладить своими чуткими пальцами, так любила припадать щекой к ее надежной стате.

— А вы ездили на танке? — прервал ее воспоминания Хаджибек.

— Конечно, ездила. Я ведь любопытная Варвара!

— А что такое Варвара? — спросил Хаджибек, очень не любивший, когда в речи его собеседников встречались какие-то незнакомые ему слова.

— Любопытной Варваре — нос оторвали! — весело сказала Мария по-русски и тут же перевела поговорку на французский.

Хаджибек сделал вид, что все понял, — он не любил неясностей, не признавал их возможными для себя.

Солнце успело подняться достаточно высоко и сделалось маленьким, белым, ослепительно ярким, лучи его уже обжигали всерьез. Птицы и звери, люди и домашние животные по всей долине поняли, что окончилась для них ночная и утренняя благодать, что никому не будет пощады от злого зноя. Все живое стало прятаться по гнездам и норам, хорониться в раселинах и приямках — искать хоть какой-нибудь защиты, хоть какой-нибудь самой крохотной тени.

Вдали показалась Бизерта — белая и голубая — очень похожая на Севастополь.

Сердце Марии дрогнуло — вот она, ее юность... нищая и прекрасная, томительная, сладкая, жестокая от неразделенной любви.

XV

— Земля! — первым крикнул кадет Николенька. — Африка!

Все, бывшие в ту минуту на палубе, бросились к стальному борту линкора смотреть на показавшуюся у горизонта светлую полоску суши. Все восторженно загалдели, закричали следом за юным кадетом:

— Земля!

* Бьянкур — северное предместье Парижа, где располагались заводы группы «Рено».

- Земля!
- Африка!
- Ур-р-ра!

Кто-то смеялся, а кто-то и плакал от радости, кто-то хлопал в ладоши, как на спектакле, который завершился благополучным финалом. Многие, особенно те, кто был помоложе, чувствовали себя так, как будто они робинзоны, спасшиеся от верной гибели и готовые к новым приключениям, которые здесь, в Африке, наверняка будут интересными и безопасными.

Николенька ощущал себя Колумбом. Наконец-то ему удалось попасть в центр внимания не одной только кадетской роты или кадетского морского корпуса, но всего корабля, а значит, всего общества. О, он был очень честолюбивый мальчик и в свои четырнадцать лет давненько уже мечтал «о доблестях, о подвигах, о славе», давненько «носил в солдатском ранце маршалский жезл».

Эту волшебную минуту триумфа Николенька не просто запомнил навсегда, а пронес в душе через всю свою долгую бурную жизнь. Чувство сладостного упоения, которое он тогда испытал, случайно оказавшись первым, во многом определило его дальнейшие устремления и победы, оно вело его всегда: и тогда, когда он стал отважным боевым летчиком военно-морских сил США, и позже, когда выбился в крупные авиационные инженеры, и уже совсем в преклонные лета, когда он, семидесятилетний, раскатывал по ночному Парижу на своем роскошном спортивном авто...

Все это было впереди. А пока маленький, тощий Николенька гордо стоял, вцепившись в поручень у борта, и оттопыренные уши его нежно просвечивали на солнце.

— Николенька, а ты войдешь в историю русского флота. Я тебя поздравляю! — подбежала к нему Машенька и чмокнула кадетика в губы. Она хотела в щеку, но с ходу промахнулась, и получилось в губы.

Он и мечтать не мог, что когда-нибудь красавица Машенька, обычно относившаяся к нему как к неодушевленному предмету, поцелует его. Вот что значит первенство! Вот он — вкус победы! Вкус Машенькиного поцелуя запечатлелся у него на губах навечно. Как его назвать, этот вкус? Мягкий... податливый... солоноватый от морского ветра... нежный... горячий... яблочный... медовый? Нет. Все не то и все не так...

А Машенька пролетела мимо и тут же забыла о Николеньке.

Тот памятный день 25 декабря 1920 года по новому стилю* выдался на побережье Северной Африки очень тихим, ясным и благостным. Легкий береговой бриз приятно овеял разгоряченные лица будущих русских колонистов. Солнце хоть и стояло высоко в чистом небе, но его лучи совсем не жгли и не ослепляли, температура воздуха была градуса двадцать два-двадцать три, а температура воды за бортом едва ли на пять-шесть градусов ниже.

— Погодка-то — райская!

— Прелесть!

— А видно как далеко, Господи!

— Смотрите, вон уже за нами и лоцмана выслали!

— Где?

— А вон катерок бежит под французским флагом!

— Как вы далеко видите!

— Дальнозоркая. Доживете до моих лет, и вы тоже станете видеть далеко, хотя будущего все равно не разглядите, даже на один день вперед, даже на один час! — победно закончила седая чопорная старушка.

Дамы переговаривались возбужденно, весело — всем так наскучило море и так хотелось на грешную землю! Они инстинктивно прихорашивались в ожидании скорого берега, ведь приплыли к месту назначения не на ночь глядя, а среди бела дня. Все были уверены, что впереди ждут их небольшие формальности и — здравствуй, Африка!

* Отправляясь из Константинополя к берегам Африки, последняя эскадра Российского Императорского флота перешла на новое летосчисление.

На корме российского линкора трепетал Андреевский флаг, а на грот-мачтах реяли флаги Французской Республики — в этом последнем обстоятельстве и была, по мнению многих, защита, и было упование на немедленную братскую встречу на берегу. Бизерта — французская военно-морская база, а Франция — единственная страна, признавшая правительство Юга России, правительство Врангеля, а значит, признающая и их, изгнанников, за полноправных граждан России, пусть хотя бы и Юга... Но это все юридическая казуистика, разве в ней дело? Дело в том, что Франция протянула бескорыстную руку помощи людям России!

Берег стремительно приближался, ширился. Скоро даже невооруженным глазом стали видны и очертания белого города, и гавань со множеством кораблей.

Теперь уже не одна только дальнзоркая старушка, но все хорошо видели французский катерок, резво бегущий им навстречу.

Все делали маленькую ревизию своим пожиткам. Говорили об исключительном благородстве и бескорыстии французов, о том, что в Тунизии, кажется, живут негры, вспоминали в этой связи Пушкина. А одна особенно начитанная дама сказала, что автор знаменитого «Золотого осла» Апулей «тоже был арабом, тоже был черненький». И никто ее не поправил, не объяснил, что арабы скорее беленькие, чем черненькие, а Апулей был бербером и действительно проживал в дзешних местах, а точнее, в сотне километров на запад от Бизерты, в бывшем Карфагене.

Кадеты и гардемарины порывались разобрать оружие, но их сдерживали офицеры корпуса.

Многие находили, что приближающаяся Бизерта очень похожа на Севастополь.

— Смотрите, какой он белый, этот городок,— точь-в-точь наш Севастополь!

— И горы вокруг, и море такое же синее! И приморский бульвар! Господи, как похоже! Только пальмы натыканы...

Машенька внимательно рассматривала приближающиеся город и порт в бинокль, некогда принадлежавший Сержу Пиккару. Еще минуту назад в этот бинокль смотрел капитан первого ранга Петр Михайлович. Но пробежавшая мимо Машенька подскочила к нему как ни в чем не бывало, будто и не она вовсе обидела его вчера в застолье.

— Ой, Петр Михалыч, душка! — взяла она его за обшлаг мундира.— Ой, это тот самый у вас биноклик, что вам вчера подарили? — И в этот момент кто-то из проходивших по палубе оступился и нечаянно толкнул ее в спину, и она невольно прижалась крепкой девичьей грудью к предплечью капитана, отчего тот сразу стал пунцовым, а Машенька, видя такую свою власть над ним, еще мгновение-другое продолжала прижиматься к нему и после того, как случайная необходимость миновала.— Ой, дайте мне глянуть хоть капелечку! — невинно сияя глазами, пролепетала Машенька и протянула руку к биноклю.

Бедный поэт-капитан рад был отдать ей бинокль и, нервно одергивая китель, поспешил ко вверенной его попечению роте кадетов.

Несмотря на свои юные лета, Машенька давно уже знала за собой ту силу, которую не приобретешь никаким учением и не купишь ни за какие деньги,— силу женского очарования, того, что французы называют шармом, с которым надо девочке родиться, который или есть, или нет — как вода в кувшине: если ее там нет, ее оттуда не выльешь, сколько ни старайся. «Ох, Маруся, ох, škoda! — давно приметив лукавые ее повадки, говорила мама.— Натерпятся от тебя мужчины, ох, натерпятся!»

В сильный морской бинокль Машеньке было хорошо видна и сама Бизерта, и окружающие ее невысокие серо-зеленые горы, и яркое синее зеркало бухты-озера, и языки песчаных пляжей. Все было так картинно, так живописно, что даже не верилось, что это наяву, а не во сне. За спиной Машеньки кто-то сказал,

что «Бизерта» по-финикийски означает «гавань, прибежище». Что ж, так и есть, вот оно, их прибежище...

А тем временем сторожевой катер уже вводил их линейный корабль в канал, соединяющий море с большим внутренним озером. Как они выяснили позже, канал этот сохранился еще со времен Пунических войн, со времен Карфагена. Их гигантский стальной корабль вошел в военную гавань Сиди-Абдаллах так тяжело, так мощно, что вдруг показалось — сейчас вытеснит он всю воду из этой гавани! Волна, которую погнала эта махина, даже сбила бакены... Чувство громадной мощи и силы огромного корабля, его стальная дрожь передались всем пассажирам и команде и наполнили их сердца невольной гордостью. А один из стоявших на пирсе французских морских офицеров сказал другому:

— Какое чудовище! Какая огромная сила! А ты посмотри, сколько орудийных башен! Если это беглецы, то кто же были их преследователи?! А наши газеты пишут, что красные — это толпа пьяных голодранцев. Еще отец говорил мне: «Запомни, Жюльен, все революции и войны делаются деньгами». Так что поверь: русская революция пахнет большими деньгами. Очень большими!

Корабль пришвартовывался.

Кадетский корпус был построен на палубе.

И, как только Машенька это увидела, она тут же кинулась и встала в строй на левом фланге, стала замыкающей, рядом с каким-то рыжим кадетиком.

— Это еще что такое? — увидев Машу, гаркнул офицер, производивший построение и уже было изготовившийся для доклада командиру корпуса.

Маша смело выступила на шаг вперед и громко выкрикнула:

— Кадет Севастопольского Морского корпуса Российского Императорского флота Мария Мерзловская!

Где-то неподалеку от нее среди кадетов кто-то прыснул, а подальше к правому флангу, среди гардемарин, кто-то отчетливо произнес: «Кавалерист-девица»*, — и радостный чистый юношеский смех, словно огонек по бикфордову шнуру, пробежал по всему строю. Но взрыва, увы, не последовало... Все вдруг увидели, как пополз вверх по грот-мачте ярко-желтый карантинный флаг... И этот знак, это событие вытеснило все другое и даже Машенькину выходку. Все понимали, что значит этот малярийно желтый флаг. Это значит — «нет» берегу, это все равно, что «арест при каюте».

XVI

Едва громкоголосые муэдзины успели пропеть над белым городом свой призыв к вечерней молитве, как почти в ту же минуту исчезла за горизонтом, канула где-то в стороне Сицилии узкая лиловая полоса последних отблесков солнца, и на белый город, и на синее зеркало бухты, и на далекие горы, и на все море, от края до края, опустилась ранняя южная ночь, их первая ночь в африканской Бизерте. А точнее сказать — и в Бизерте, и не в Бизерте, и не на суше, и не на море, и не в плену, и не на воле. Офицеры и матросы, гардемарины и кадеты, дамы и штатские господа, дети, бывшие на корабле, — все чувствовали себя довольно странно. Как будто бежали они, бежали к своему приюту, к своей новой жизни и вдруг со всего маху ткнулись лбом в мягкую, но непрístupную стену.

Как только сгустилась тьма, пришли в движение французские сторожевые катера в бухте, стали снова между российскими кораблями, стали высматривать, — вдруг кто из русских захочет незаметно спустить шлюпку и тайно высадиться на их берег?

На кораблях русской эскадры еще не было команды перейти на местное время, так что до отбоя оставался целый час. Люди слонялись по плохо освещенному линкору «Генерал Алексеев» без цели и без смысла, как потерянные. Даже гардемарины и кадеты вели себя тихо, без обычных шалостей и веселья, ко-

*«Кавалерист-девица» — Дурова Надежда Андреевна (1783—1866), первая в России женщина-офицер, участница войны 1812 года.

торые воцарялись среди них в этот час так называемого «личного времени». Даже малые дети, и те не капризничали, как будто сознавали, что взрослым сейчас не до них, что те слишком переживают свою внезапную обиду, свое незаслуженное, на их взгляд, заточение на тесном, переполненном корабле, притом не просто вблизи долгожданной земли, а когда до нее рукой подать.

Люди подавленно наблюдали за передвижениями французских катеров, за их бортовыми огоньками, за их ловкими маневрами по бухте, заставленной русскими кораблями. Большинство молчало, а если кто и переговаривался, то все об одном и том же.

— Молодцы французишки, конвоируют по всем правилам.

— Какое они имеют право удерживать нас на корабле?

— Право? Святая наивность. Наши права мы похоронили в России.

— Господа, вы несправедливы — карантин полагается.

— Да, но в специально построенных для этого бараках. На суше, а не на кораблях.

— Французы — народ прижимистый, просто решили сэкономить на строительстве отстойника.

— Господа, не волнуйтесь, три-четыре дня, и все образуется.

— Нет уж, батюшка, минимум двадцать один день!

— Не может этого быть! Мы что, чумные?

— Чумные не чумные, а так оно и будет. Попомните мои слова.

В паузах говорившим были отчетливо слышны стуки моторов на конвоирующих катерах и шум воды, опадающей за их кормой.

Как на грех еще и небо было беззвездное, беспросветно затянутое тучами.

— Дождь натягивает.

— Естественно. Сейчас у них время дождей.

— Да. Небо глухое. До Бога не докричишься.

— Спасибо, что тепло.

За долгие дни и ночи плавания от причала родного Севастополя люди притерпелись к тесноте, попринюхались к запахам своей и чужой несвежей одежды, к запахам коровника, овчарни, птичника, конюшни, что плыли вместе с ними, как в Ноевом ковчеге. Словом, люди пообвыклись с лишениями и все им казалось — слава Богу! Лишь бы спастись, лишь бы добраться до новой жизни... А как только встал их плавучий дом на якорь, как увидели они не во сне, а наяву твердь земную, так сразу всем стало тошно и от тесноты, и от духоты в каютах, и от грязи, и от надоевших, оказывается, до жути, соседей по несчастью, которые прежде были терпимы, а тут вдруг стали почти отвратительны.

На одном из катеров заглушили мотор, видно, чтобы сэкономить горючее, и он придрейфовал по инерции почти к самому борту громадного линкора «Генерал Алексеев».

— На этих кораблях полно заразы. Русских нельзя пускать на берег!

— А ты читал в газете, что у них нет настоящих денег, а только фальшивые?

— Да ты что? О-ля-ля! — Матросы громко переговаривались между собой, хотя и на эльзасском диалекте, но все-таки это был почти французский язык, так что очень многие на «Генерале Алексееве» их понимали.

— Эх, хорошо сейчас у нас в деревне!

— Дома всегда хорошо.

— А ты, Жан, дурак. Если у русских нет денег, так нам еще лучше. Знаешь, какие у них сладкие женщины?

— А ты сам знаешь?

— Я тоже не знаю, но теперь собираюсь попробовать. Какая из них устоит перед французом. Тем более у них нет денежек. Все будут наши, все нас полюбят!

Французы смолкли, видно, отвлеклись на какие-то свои дела. А сотни тех, кто услышал и понял их на «Генерале Алексееве», униженно безмолвствовали.

И, когда пауза стала нестерпимой, в полной тишине раздался звучный, очень красивого тембра женский голос:

— Эй, когда вернешься домой, в свою деревню, пусть тебя полюбит разок твой осел. Дубина эльзасская!

Особенная прелесть для русских и полная непостижимость этого ответа для французов были в том, что русская женщина произнесла это свое пожелание не только на чистейшем эльзасском диалекте, но и абсолютно скопировав модуляции голоса одного из говоривших матросов.

Громовой хохот на корабле покрыл ответное бормотание французов внизу, на катере. И тут же затарахтел мотор, и они отвалили от высокого русского борта.

Машенька хохотала вместе со всеми. Какая прелесть эта незнакомка! Как она отбрила паршивцев!

Машенька притаилась в темном уголке на юте среди штабелей книг, что она сложила здесь когда-то с Николенькой и другими кадетами. Притаилась она не так просто, а с биноклем в руках, тем самым, который так и не вернула до сих пор Петру Михайловичу. Хотела было вернуть, да добрый Петр Михайлович отказался: «Ничего. Пусть биноклик пока побудет у вас. Может, он вас развлечет». И она с удовольствием оставила бинокль у себя и вот теперь, в ночи, развлекалась с ним, тайно подсматривая чужую жизнь.

Она понимала, что подсматривать в бинокль неприлично, но любопытство было так велико, а тоска на корабле стояла такая лютая, что Машенька уговорила себя немножечко согрешить. Она так и сказала сама себе: «Ну, согреси, Машенька, чуть-чуть, самую капельку. Погляди, как там живут эти самые тунизийцы!»

Мощный морской бинокль и зоркие Машенькины глазки позволяли различать даже рисунок на портьерах в богатых домах, разумеется, если окна были не закрыты жалюзи. Богатые виллы стояли ближе к берегу, были, как правило, двух или трех этажей и заслоняли собой маленькие дома бедных кварталов. Так что перед глазами Машеньки разворачивался быт только в жилищах людей состоятельных, в основном французов, иногда тунизийцев; хорошо был виден также морской вокзал на пристани и ярко освещенная изнутри кофейня с остекленной верандой. Электричества здесь не жалели даже бережливые французы, наверное, оно доставалось им дешево или, учитывая какие-то военно-колонияльные расклады, вообще даром.

«Какой смешной!» — хихикнула Машенька, разглядывая с головы до ног колониального часового у дверей морского вокзала: высокий темнокожий, но с правильными чертами лица, можно сказать, красивый, он был в красной феске, в белом коротком плаще внакидку, в голубых шароварах, очень широких, почти скрывающих ботинки, что создавало странное впечатление какой-то игрушечности фигуры часового, и даже его карабин не только не спасал дела, а еще и подчеркивал ощущение того, что там, внизу, у залитого светом морского вокзала, стоит не живой человек, а этакий раскрашенный оловянный солдатик.

В кофейне тоже были сплошь военные, наверное, французы, одеты они были не в опереточные шаровары и плащи, а в обычную морскую форму, которая похожа во всех европейских странах. Бизерта — французская военно-морская база, и этим все сказано.

Вон в высоком венецианском окне семейная сценка. И на удивление ее участники еще не успели закрыть ставни. Почти во всех домах по обычаю уже закрыты ставни или опущены жалюзи, а эти забыли или подумали, что раз окна выходят прямо на море, то кто их увидит? «О, это уже интересно!» Полный, лысый, усатый муж, опять же в голубом халате — значит, наверняка тунизиец, что-то кому-то горячо объясняет, разводит руками, топает ножкой: «старый муж, грозный муж!». Тот или та, с кем он говорит, возможно, где-то в глубине комнаты, Машенька ее не видит: «Ах, как жаль! О-о, какой пассаж!» Что-то полетело оттуда из невидимой глубины в грозного мужа, он еле успел увернуться, бедняжка. Да это диванная подушка, маленькая диванная подушка!

А вот и Она наконец явилась на авансцене. Какой гнев! Какие жесты! Настоящая мегера! А до чего хороша — черные волосы распущены по плечам, бе-

лый пеньюар распахнут на высокой груди, искаженное гневом молодое лицо пылает! Она подходит к нему вплотную и, что называется у нас, у русских, берет его за грудки и трясет яростно, хищно. И он... ничего, только, судя по толстым лиловым губам под толстыми черными усами, что-то лепечет в свое оправдание.

Так вот она, угнетенная женщина Востока! Значит, все это враки? Значит, и тут все как везде, — кого-то угнетают, а кто-то не дает себя в обиду.

К слову сказать, в своей дальнейшей многолетней жизни среди тунизийцев, да и в других арабских странах, Машенька не раз убеждалась в том, что роль женщины, в особенности матери, в мусульманских семьях достаточно велика и в некотором смысле Восток, может быть, ближе к матриархату, чем Запад. На людях женщины бывают здесь демонстративно покорны и даже раболепны перед мужчинами, а когда двери за гостем закрываются, частенько возникает совсем другая реальность...

Машенька с восторгом наблюдала за тем, как разворачиваются события в богатой спальне богатого тунизийца, а тем временем откуда-то из-за спины, чуть слева, подошли к ней две дамы, остановились буквально в метре и, не видя затаившуюся с биноклем Машеньку, продолжали свою беседу.

Усатый тунизиец на втором этаже ярко освещенной спальни пытался перехватить тонкие запястья своей мегеры, пытался поцеловать ее в знак примирения, но та ловко увертывалась, не отпуская из рук его голубой халат.

— Да, жизнь, я вам скажу, милочка, разворачивает на сто восемьдесят градусов, — попыхивая папироской, говорила одна из дам. — Собственный мой братец такой был ловелас, такой кутила и мот! Сколько жена с ним натерпелась — ужас! Все, бывало, плачет тайком, все его, барбоса, прощает. Трех сыновей подняла. А ему все было не до нее и не до них. Все у него были какие-то приключения, все она его спасала, все откуда-то вытаскивала. А потом детки выросли и на него стали не то чтобы плевать, а, как бы это сказать, относиться к нему вполне «индэффэрэнтно»: «Да, папа. Нет, папа. Не знаю, папа. Не получится, папа. Извини, папа». И стал он вдруг такой шелковый и такой жалкий, что так и ходил последние годы за женой хвостом и на каждое ее слово подобострастно поддакивал: «Да, Маня, ты права! Да, Маня, ты права!» А прежде иначе как душой и не звал. Она крепкая была, двужилвная, а потом вдруг сильно заболела и быстро померла. Так он, представляете, милочка, стал письма ей писать и закапывать в ее могилку.

Не забывая разглядывать в бинокль тунизийскую чету, Машенька мгновенно вообразила себе кладбищенский уголок где-то в России, заснеженный могильный холмик и перед ним какого-то старика на корточках, закапывающего голыми руками письмо, сложенное треугольником, на манер писем с фронта. Как-то и почему-то так вышло, что эта случайно услышанная история навсегда врезалась в ее сознание, и с тех пор, в течение всей жизни, она время от времени видела сон с этим старичком, закапывающим письма с этого света на тот свет.

Дамы пошли дальше по кораблю, и Машенька так никогда и не узнала, кто они были, — женщин-то, и старых и молодых, было на корабле много. Правда, сиплый, прокуренный голос говорившей дамы, это ее словцо «индэффэрэнтно» с тремя «э» и приятный запах хорошего табака так и остались при ней на всю жизнь вместе со старичком, закапывающим письма в могилку, вместе с вонючим запахом отработанных газов, выхлопываемых по всей бухте тарактящими французскими катерами.

А тем временем в тунизийской спальне Она с такой яростью дернула его за полы халата, что бедный тунизиец чуть не остался в чем мать родила. Машенька приснула со смеху, и, словно услышав ее, засмеялись и те двое в тунизийской спальне. Первой захохотала женщина, а потом и мужчина, и, вдруг обнявшись, они шагнули в глубину комнаты и скрылись из поля зрения Машеньки.

XVII

В маленькой каюте, которую занимал адмирал Герасимов на линкоре «Генерал Алексеев», неприятно пахло нафталином. «Наверное, Глафира Яковлевна пересыпала шерстяные вещи», — отметила Машенька, входя в каюту.

Назначенный в Константинополе директором Морского корпуса вице-адмирал Герасимов считался крупнейшим специалистом по морской артиллерии не только во всем Российском флоте, но и в Японском, и в Английском, и во Французском флотах. Будучи старшим офицером эскадренного броненосца «Победа», он сражался за Порт-Артур, побывал в японском плену, выучил там язык, завел прямые знакомства с японскими морскими артиллеристами, которые очень высоко ценили познания русского офицера и всячески старались облегчить его участь военнопленного. В Европе морские офицеры знали Герасимова по многочисленным ссылкам на его труды в их учебниках, публикациям в морских журналах и дружественным довоенным походам кораблей. Звание контр-адмирала Герасимов получил в 1911 году, а вице-адмирала — в 1913-м. В 1920 году, в свои неполные шестьдесят лет, это был рослый, сухощавый, сильный физически и ловкий в движениях человек, так что со спины его вполне можно было принять за молодого офицера. Правда, когда он снимал свою форменную фуражку с высокой тульей, обнаруживался идеально лысый череп с легким венчиком седых волос. Черты лица адмирала были довольно правильные. Крупный нос, прижатые большие уши талантливого человека, строго очерченные, всегда сухие губы, впалые щеки придавали его лицу решительное выражение римского легионера. Но все портило золотое пенсне, без которого он уже давно не мог ни читать, ни писать. В пенсне его увеличенные стеклышками лучистые глаза казались чуть испуганными и очень добрыми, можно сказать, выдавали глубинную суть его натуры. Да, он умел повелевать, был смел и властен, но это только, что называется, в строю, а вне строя это был исключительно благожелательный, мягкий и скромный человек.

Вице-адмирал Герасимов более чем хорошо знал Машенькиного отца: тот всю осаду Порт-Артура служил под его началом, вместе они устанавливали корабельные орудия в крепости, вместе маялись в японском плену. Более того, жена адмирала Глафира Яковлевна доводилась Машеньке крестной матерью. Так что разговаривать ему сейчас с Машенькой было очень трудно.

— Мария, ну как ты можешь быть кадетом? А потом что — гардемаринном? А потом что — мичманом? А потом что — капитаном? А потом что — адмиралом?... — От волнения адмирал вставлял в каждое предложение «а потом что», руки его дрожали, и он то и дело перекладывал бумаги на своем столе или поправлял пенсне. — Мария, ты девочка. А потом станешь барышней. А потом станешь невестой. А потом выйдешь замуж и станешь... — Тут адмирал запнулся.

— Старой душой, — попадая ему в тон, ехидным нежным голоском закончила за него Машенька.

Александр Михайлович попытался возмущенно нахмуриться, но, как человек смешливый и простодушный, расхохотался до слезинок в уголках глаз — он очень любил смеяться, и все знали: хочешь уйти от адмиральского гнева — рассмешь его, и тебе многое простится. Смеялся он по-детски заразительно и необыкновенно громко — от всей души. Вот и сейчас — даже серебряная ложечка в тонком стакане с подстаканником звякнула от сотрясшего адмирала хохота. Отсмеявшись в полное свое удовольствие, он снял пенсне, промокнул белым батистовым платочком глаза (Глафира Яковлевна даже здесь, на корабле, умудрялась содержать мужа в чистоте), посмотрел на Машеньку очень внимательно, с прищуром, как будто в туманную морскую даль, выдержал паузу и сказал:

— Старой, может быть, ты и будешь — доживешь, милостью Божьей, а вот душой не бывать тебе никогда. Ладно, кадет Маруся, отправляйся в Севастопольскую... нет, пожалуй, лучше во Владивостокскую роту, будешь вольнослушательницей. Иди, ты свободна.

Боже мой, какими прекрасными показались Машеньке в этот миг и темноватая маленькая адмиральская каюта с двумя узкими койками, аккуратно заправленными зелеными ворсистыми одеялами, и сам адмирал с его лысиной и большими прижатыми ушами с торчащими из них пучками седых волос, и даже запах нафталина был уже не такой противный, а вполне уместный.

Машенька вылетела из каюты, как пробка из бутылки шампанского, — о, это был праздник, это была победа! Выскочив на залитую ослепительным солнцем палубу, она невольно зажмурилась, рванулась вперед и тут же сбила с ног проходившего мимо маленького рыженького кадета, того самого, рядом с которым она встала вчера в строй и который один не посмеялся над ее порывом вступить в Морской корпус.

— Простите! Извините! — Она ловко подхватила рыженького под локти и буквально подняла его на ноги — рыженький был очень легкий.

Кадетик так покраснел, что в его огромных голубых глазах выступили слезы, и при этом глаза сияли от неожиданного счастья.

Да, это были еще осколки тех старинных достославных времен, когда мальчики, подростки и юноши умели краснеть до слез, девушки и дамы падать от чувств в обморок, а зрелые мужи отвечать за свои слова по кодексу чести — всем своим достоянием и даже самой жизнью. В годы гражданской войны дух благородства и порядочности стал стремительно выветриваться из разодранного на кровоточащие части российского общества. Опасности, нужда, произвол, подстерегавшие людей на каждом шагу, ожесточали их и вели ко всеобщему одичанию, а царь-голод бестрепетно довершал эту работу, превращая многих в покорных рабов и диких зверей в одном лице. Почему-то ни Лев Толстой, ни Чехов (Достоевский, правда, намекал), ни другие наши властители дум не сказали народу, что культура и цивилизация — всего лишь слой папиросной бумаги над смрадной и ненасытной бездной, над тьмой и жутью. Одичание коснулось в первую очередь юных. Это было заметно даже по кадетам и гардемаринам Морского корпуса, а ведь они все-таки были в строю, в узде. Случались между ними и драки за лучший кусок, и угнетение беззащитных, и подворовывание, и ложь, и жестокость, и злоба, и предательство, — все было. Одеты и обуты они были кто во что, невымытые, завшивевшие, с замурзанными физиономиями — кадеты и гардемарины меньше всего напоминали тех, кем числились. Плюс ко всему они вдруг заговорили на полублатном, полуматросском жаргоне одесских кабаков: вместо «дом» говорили «хаза», вместо «поесть» — «пошамать», вместо «украсть» — «стырить»; то и дело слышалось: «клево», «масть пошла» и т. д. и т. п. И все это, конечно, вполне естественно — как только в любой стране начинается смута, первым делом грязь и зараза проникают в язык народа, а уже потом в душу и в тело. В начале было слово — истинно так.

— А вы какой роты, Севастопольской или Владивостокской? — спросила Машенька рыженького.

— В-в-в-вла-вла-ди-востокской, — ответил он с большим трудом, и таким образом выяснилось, что в минуты особенно сильного волнения ему свойственно заикаться.

— Я тоже теперь Владивостокской, — гордо сказала Машенька. — Тогда давайте знакомиться. — И она с легким книксеном церемонно протянула ему руку. — Мария!

— Оче-оче-оч-ч-ень прия... — еле выдавил из себя голубоглазый, пунцовый от смущения мальчик. — Але-алек-александр Ба-ба-каров!

— Бабакаров? — переспросила Машенька.

— Не-не, Ба-не-ба-ка-ров!

— Бакаров?

Мальчик просиял и утвердительно затряс головой.

Воцарилась пауза. И тут вдруг рыженький проговорил совершенно четко, звучно и даже щелкнул при этом каблуками грязных стоптанных туфель:

— Князь Александр Бакаров!

— Ишь ты! — засмеялась Машенька, радуясь, что заика овладел собой. —

Если ты — князь, тогда я — графиня Мария Мерзловская! — И она протянула ему кисть руки для поцелуя.

Кадет сначала не понял, чего от него хотят, а когда сообразил, склонился в поклоне и коснулся губами ее тонкой руки, при этом на его сером, давно не мытом лбу выступила легкая испарина.

А Машеньке стало вдруг так радостно, так вольно, что от избытка чувств она полуобняла маленького замурзанного князя за худенькие плечи в драной, давно потерявшей всякий цвет и фасон курточке, и они двинулись по залитой ярким солнечным светом, забитой вещами палубе разыскивать командира Владивостокской роты, чтобы представить ему очаровательную вольнослушательницу.

Машенька вписалась в жизнь Морского корпуса с ходу — уже в обед она принарядилась в импровизированные белый передник и белый кокошник и орудовала на камбузе вместе с поварами и поварятами, разливала суп по котелкам и мискам кадетов и гардемарин. Она и сама отказалась от столования в семье адмирала дяди Паши и перешла на общий бедный кошт, от серебряных ложек и вилок к оловянным.

В пятнадцать лет у нее уже было главное — твердый характер и непостижимое никакими выкладками и расчетами чувство точки — умение оказываться в нужное время в нужном месте. Это умение жило в ней с детства — когда играли в прятки, она умела спрятаться там, где никому не приходило в голову ее искать, а когда играли в лапту — попасть в нее мячиком не удавалось почти никогда и никому.

XVIII

О, этот аппетитный дух жареной баранины!

О, этот дурманящий аромат свежемолотого арабского кофе!

Небольшой, но плотный ветерок дул строго с берега, и волны дразнящих запахов наплывали с набережной Бизерты на русские корабли в гавани, на луголодных беженцев — одна за другой, без усталости и без пощады.

— Слушайте, с ума можно сойти!

— Это прямо какой-то садизм!

— Натуральное издевательство!

— Боже мой, полцарства — за чашечку кофе!

— А у вас есть царство?

— Своего нет, но я готова отдать половину Франции или всю Тунизию!

— Щедра, ничего не скажешь. Это по-нашенски, по-русски!

— Когда же, когда же наконец мы ступим на землю Африки!

Так переговаривались между собой стоявшие неподалеку от Машеньки три еще молоденькие дамы в летних платьях и под маленькими цветными зонтиками от яркого африканского солнца.

«Три сестры, — почему-то подумала о них Машенька названием чеховской пьесы. — Те рвались в Москву! В Москву! А эти — в Африку! В Африку!» Машенька с детства обожала театр — любительские спектакли были у них в Николаеве не редкость, все следили за театральной модой, все так или иначе участвовали, кто в роли актеров, кто — суфлеров, гримеров, декораторов, кто в роли зрителей.

Машеньку тоже раздражали запахи с набережной, она тоже глотала слюнки, но молча. Она ведь теперь была не просто дочь погибшего адмирала, но и сама человек военный — кадет Морского корпуса. Тетя Даша не раз пыталась соблазнить ее и чашечкой кофе, и чем-нибудь вкусеньким, но Маша была непреклонна: «Вы что! Как я теперь могу есть и пить не то, что все другие кадеты? Нет, нет — это невозможно!»

Земля была рядом, а люди тупо слонялись по забитой домашним скарбом стальной громадине корабля, злились на французов, друг на друга, на грязь, что

практически не поддавалась искоренению, на скученность и неустроенность, в которых им приходилось выживать. Даже в Морском корпусе никак не налаживались дела, никак невозможно было привести воспитанников в то должное состояние, на которое уповал адмирал Герасимов и его помощники преподаватели.

Адмирал дядя Паша был одним из тех, кто не поддавался унынию. Дух предпринимательства подвигнул его на разработку ветряного электрического двигателя. Идея пришла к адмиралу как бы сама собой.

— Боже мой, какие унылые взгорья вокруг этой Бизерты и как осточертел этот противный ветер! — заметила однажды его жена тетя Даша, оглядывая окрестности.

— Горы красивые, кое-где даже зелененькие, — не согласилась с ней Машенька.

— Горы-горы-горы-горы... ветер-ветер-ветер-ветер, — вдруг забубнил себе под нос дядя Паша, взглянул на свою жену, а затем и на Машеньку тусклым отсутствующим взглядом и вдруг выкрикнул — звонко, молодо: — Какая красота! Какие будуг ветряки! Сколько электричества дадут они нам! Нам!

Его темно-карие глаза со слившимися зрачками заблестели тяжелым горячечным блеском, черные усы встопорщились, лицо разгладилось и стало почти юным — влюбиться в такого можно было в одну секунду! Так что деваться Машеньке было просто некуда. Да и зачем? Она уже давно поняла, что влюбилась бесповоротно и надолго, а может быть, и на всю жизнь.

Она любила его голос — бесцветный, слабо интонированный, можно сказать, занудный, когда собеседник был ему малоинтересен, и мгновенно наполняющийся соками жизни, игрой и силой, когда ему становилось интересно. Она любила его вспыльчивость и отходчивость, любила, как он фыркает, когда умывается, как он бесшумно и не торопясь ест за столом, как он улыбается, показывая свои ровные, чистые зубы, один из которых, третий нижний, с выщербинкой. Машеньке казалось, что именно эта выщербинка придает его улыбке особое обаяние. Ей нравилось, что он не говорит ни о ком дурно, она восхищалась его удивительным многознанием и тем, что он не только не бравирует им, но всегда старается сгладить свое превосходство над теми, кого превосходит.

Мама твердила ей с детства: «Не сотвори себе кумира!»

До поры до времени так оно и было. Но прошла та пора, прошло то время... Кумир явился взору, что называется, на ровном месте, им стал тот, о ком еще год назад ей не приходило в голову и подумать такое. Не приходило и вдруг пришло, как будто бы спустили курок и прогремел выстрел, переменявший в ее жизни буквально все — и ощущение самой себя, и ощущение мира, и представление о смысле жизни, которое раньше только брезжило в ее сознании, а теперь определилось очень ясно: жить — это значит любить дядю Пашу, а все остальное — только фон, только задник той декорации, в которой разворачивается действие.

Кумир явился, все прочие перестали для нее существовать... Гардемарины и кадеты ходили перед Машенькой колесом, но это никак ее не трогало, только раздражало, и то не очень сильно, а так, как дождь или ветер, их ведь не запретишь, да и не надо — всегда можно отвернуться, раскрыть зонтик или поднять воротник. Все молодые люди стали для нее теперь, как рыбки за стеклом аквариума: раздувают жабры, плавают себе и плавают, такие яркие, цветные, — очень мило.

Дядя Паша засел за чертежи и расчеты ветряной электростанции. В помощь себе он отпросил у командира Владивостокской роты Машеньку: она хорошо соображала в математике, умела чертить и на лету схватывала все то новое, что объяснял ей дядя Паша. К тому же у Машеньки были особые отношения с цифрами — с малых лет они казались ей одушевленными и исполненными глубокого смысла, можно сказать, она родилась с этим даром небес.

Так что, когда дядя Паша стал посвящать ее в науку чисел, это захватило ее в высшей степени. Он рассказал ей о том, что до того, как были изобретены арабские цифры, во всех семитских языках, в латыни, в греческом числа обозна-

чались буквами алфавита или комбинацией этих букв. И как бы само собой получалось, что числа приобретали вид имени, или названия вещи, или понятия, или некоторого намека. Дядя Паша объяснил ей значение натурального ряда чисел от одного до десяти. Рассказал об учении чисел Пифагора, который был уверен, что «числа управляют миром». О том, что другой великий ученый, Аристотель, хотя и не полностью разделял точку зрения Пифагора, но тоже считал, что «число составляет сущность всех вещей мира». Особенно поразил воображение Машеньки рассказ о Данте и Беатриче.

— Да ты понимаешь, друг Горацио,— говорил дядя Паша. Этого своего «друга Горацио»* он всегда вставлял в разговор, когда дело касалось чего-то удивительного и непознанного.— Ты понимаешь, Маруся, Беатриче — это девятки.— Он взял карандаш и начал писать и говорить одновременно: — Девять. Ей было девять лет, когда они познакомились, а первые стихи он посвятил Беатриче, когда ей было восемнадцать (один плюс восемь), тоже, как ты видишь, девять, а померла она в двадцать семь (два плюс семь) — тоже девять. И что получается? Три девятки в ряд — 999! Священное число Высшей Божественной Любви! Перевернутое «число зверя» — 666. Силой любви перевернутое! Данте был членом эзотерического** ордена «Адепты Любви», он был посвящен в священную науку чисел.

Дядя Паша говорил, а Машенька пыталась вспомнить себя девятилетнюю, вспомнить хоть какой-то намек на ее сегодняшнее чувство к дяде Паше. И наконец вспомнила. Вспомнила тот светлый день Воскресения Христова и тот час и тот миг, когда они стояли с дядей Пашей рядышком и молились, как и все прочие прихожане, как стоявшие рядом мама, папа и тетя Даша. Сейчас ей вдруг показалось, что тогда в церкви дядя Паша взглянул на нее как-то особенно и ласково пожал ее маленькую ладошку, и от этого как будто мурашки побежали у нее по плечам и по спине, а потом громко запели певчие, и все стало как всегда.

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех забывших радость свою —

мелькнули в памяти Машеньки стихи, которые любила читать ее мама еще тогда, еще при той жизни... Бедная мамочка! Неужели она ее никогда не найдет? Нет, она постареется, она объедет весь мир! И еще была сестричка Сашенька... такая крохотная в белой пелеринке...

— Надо поехать на «Кронштадт»,— сказал, откладывая карандаш, дядя Паша.— Ты ведь не была на «Кронштадте»? О, это восьмое чудо света! Тем более мне надо присмотреть там электрические моторы.

Они взяли шлюпку с матросами и поплыли среди бела дня к огромному океанскому пароходу «Кронштадт», что стоял недалеко от линкора в военной гавани Сиди-Абдаллах, благо французы не возбраняли сообщения между российскими кораблями.

То, что увидела Машенька на транспорте «Кронштадт», навсегда осталось в ее памяти как свидетельство могущества России. «Кронштадт» назывался мастерскими, но на самом деле это было средоточие маленьких заводиков и цехов, буквально напичканных сотнями станков, приспособлений, устройств. Здесь было все — от пилорамы до литейки. Токарные, фрезерные, сверлильные, деревообрабатывающие станки стояли по всему кораблю рядами, в трюме бухали паровые молоты, в кузне ярко алели горны — все свистело, стучало, ухало, все здесь работало или было готово работать по первому требованию. От пилорамы молодо пахло лесом, свежераспиленными бревнами, из кузни веяло горящим металлом — металл-то, оказывается, горит как миленький — это была для Ма-

* «Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам».

Шекспир

** Эзотерический — скрытый, тайный.

ши большая новость! От станков пахло машинным маслом, жженой металлической стружкой — точно такие запахи встретили потом Машу в цехах завода «Рено». А сейчас она была в восторге от увиденного:

— Ничего себе! Вот это да!

— А ты думала! — с удовольствием разделил ее восторг дядя Паша. — Я скажу тебе, что ни Германия, ни Франция, ни Англия или какая тебе Америка не имеют ничего подобного. У них нет такой универсальной, такой мощной океанской плавучей базы. Здесь каждый квадратный сантиметр учтен, рассчитан и сбалансирован нами, русскими инженерами. Здесь могут работать тысячи человек. На сегодняшний день это вершина инженерной мысли. А какие богатства в трюмах! Сколько там всего! Боже мой, мы купим пол-Африки!

На обратном пути, в шлюпке, дядя Паша продолжал рассуждать о немереных возможностях оборудования с «Кронштадта», о том, что в связи с их новым положением робинзонов часть этого оборудования разумнее перенести на берег — дать работу нескольким тысячам людей. Он радовался, что нашел на корабле хорошие электрические двигатели, нужные ему для ветряков. Вспомнил добрым словом тех хорошо обученных специалистов, которых было на «Кронштадте» довольно много.

Дядя Паша разгоряченно витийствовал, а Машенька, вспоминая «Кронштадт» во всей его мощи, слушая дядю Пашу, вдруг впервые подумала: «А если мы такие умные, такие замечательные, почему отняли у нас Россию? Почему? Почему мы упустили Родину?»

Казалось, только сели в шлюпку, а линкор «Генерал Алексеев» уже рядом. А вон и тетя Даша в белой шляпке, машет им с борта белым платочком. Тете Даше было тридцать четыре года, она обожала поговорить о своем «бальзаковском возрасте», любила пококотничать, потому что знала, что выглядит очень молодо. У нее были яркие черные глаза, опущенные густыми ресницами, белая чистая кожа, правильные черты лица, правда, нос подгулял — был чуть-чуть уточкой, полные яркие губы, зубки один в один. Она умела и любила поговорить, хорошо пела, играла на гитаре и на фортепиано, была смешлива, как девочка, так что записывалась в старухи исключительно от лукавства, которое было свойственно ее живой натуре.

Тетя Даша пока не замечала в Машеньке перемен по отношению к своему мужу, а может быть, еще не выработала линию поведения в совершенно новой для себя ситуации и делала вид, что этой ситуации нет.

Кто действительно ничего не замечал, так это сам дядя Паша. Не чуял он ни сном, ни духом, какие страсти ждут его впереди, какие тучи, какие громы и молнии заходят над его головой.

XIX

Война смешала все карты, смешала всё: планы, надежды, расчеты, цели, весь ход и смысл повседневной жизни. Раньше Сашенька шла на работу с душевным трепетом и улыбкой на устах, с верой, что «радость будет», а теперь она ходила на дежурства в свою любимую «больничку» через силу: горько и пусто было ей там без Георгия Владимировича, и ничто не заглушало саднящую, надрывающую сердце тоску.

— Такая наша жизнь страшенькая, и мы против нее бессильны, — сказала мама, узнав о случившемся с Георгием Владимировичем. В доме она стала говорить с Сашенькой по-русски, а на людях, как и прежде, говорила только по-украински. — Ты бы узнала, где он, да отнесла передачку, может, она до него дойдет, говорят, всякие бывают чудеса.

— А как я могу узнать? В отделе кадров?

— Ну и глупенькая ты, Господи, нашла место для справок — отдел кадров... Ты что, не знаешь, что там одни сексоты*?

*Сексот — секретный сотрудник, в смысле — стукач.

— Почему? У нас такой предупредительный дяденька. Такой начитанный, очень внимательный, добрый, — возразила Сашенька.

— Может, он и начитанный, — с легкой иронией в голосе сказала мама, — может, ему просто деваться некуда, может, выпивает...

— Точно, он выпивает, нос такой красный всегда.

— Ладно, пусть себе выпивает, — снисходительно улыбнулась мама. — А ты сходи к жене Георгия. Скажи, что с работы. Если она нормальная, то будет рада. Сходи, вдруг она нормальная... Жизнь показывает, что не все гады...

Мама назвала его Георгием, опустив отчество, и тем самым как бы признала Сашенькино равенство с ним, дала добро ее любви.

Сашенька смутилась до слез и благодарно прижалась к маме, уткнулась, как маленькая, в ее мягкое плечо. «Боже мой, какая у меня мама! — подумала Сашенька. — Ей ничего не надо объяснять, она все понимает!»

А мама в ответ нежно обняла дочку и ни о чем не подумала. А о чем тут думать? Это для Сашеньки пятнадцать лет разницы между нею и Георгием казались неодолимым препятствием. А мать знала, что разница в возрасте в пятнадцать лет между мужчиной и женщиной — дело нормальное. Ее покойный муж, отец Сашеньки, был старше на четырнадцать лет, и это никогда не ощущалось между ними как неравенство.

Сашенька вспомнила, что сестра-хозяйка их отделения неотложной хирургии Софья Абрамовна как-то хвастливо говорила о том, что Домбровский ей родня. Да, это было нынешней зимой, когда Георгия Владимировича, единственного в их большой больнице, наградили орденом «Знак Почета»*. В те времена орденами еще не разбрасывались, награжденных было немного, они так и назывались — орденосцы. Главный врач больницы собрал по этому поводу весь коллектив и торжественно поздравил Домбровского. Начальство так расстаралось, что даже букет алых гвоздик преподнесло ему в декабре, среди стужи. Георгий Владимирович после собрания принес эти девять цветков в ординаторскую, и Сашенька подрезала их слишком длинные стебли и поставила гвоздики в литровую банку с водой в центр их обшарпанного стола, за которым они во время дежурства пили чай с ее пирожками. Вот тогда, на том торжественном собрании, и похвасталась родством Софья Абрамовна. Своим певучим наигранным голосом она сказала довольно громко: «А между прочим, наш орденосец мне родня!» Многие ее услышали, в том числе и Сашенька.

«Она должна знать адрес, — решила Сашенька. — Интересно, что она запоет теперь?»

В каптерке у Софьи Абрамовны крепко пахло застиранным бельем, хозяйственным мылом, йодом, хлоркой — всем тем добром, которым она командовала. Софья Абрамовна сидела на стуле прямо у порога своего тесного обиталища. Белоснежный халат на ней был, как всегда, отлично выглажен, полные губы ярко накрашены помадой какого-то очень резкого карминного тона, лицо густо напудрено, а светло-голубые глаза навывкате светились обычным для нее неколебимым торжеством последней инстанции.

— Здравствуйте, — сказала ей Сашенька и тут же поняла, что ничего она не узнает, никакого адреса, — Софья Абрамовна была не одна, а с каким-то молодым человеком. Сашенька взглянула на него вскользь и даже не заметила, какой он, блондин или брюнет, низкорослый или высокий. С тех пор как она полюбила Домбровского, она перестала различать других мужчин, все они стали для нее на одно лицо, как китайцы. А в данном случае это особенно не имело никакого значения — Сашенька поняла главное: разговора с Софьей Абрамовной не получится.

— Проходи, проходи, деточка, — перехватила ее за руку и втащила в комнату Софья Абрамовна. — Я догадываюсь, зачем ты пришла.

* Орден «Знак Почета» был учрежден 25 ноября 1935 года.

Сашенька смутилась, попыталась освободиться от рук Софьи Абрамовны, но та удерживала ее крепко и теперь уже двумя руками.

— От них все отвернулись,— тихо сказала Софья Абрамовна, и голос ее впервые не показался Сашеньке фальшивым.— Да, да, все отвернулись...

— Ну почему все? — неожиданно вступил в разговор молодой человек.— Ты же не отвернулась.

— Я? — вытаращила глаза Софья Абрамовна.— Так я адиётка!

— А я? — спросил молодой человек.

— Ты? Если ты имеешь в виду себя, то ты просто дурак, Марик,— ласково взглянула на него Софья Абрамовна и добавила, обращаясь к Сашеньке: — Между прочим, познакомься, это, между прочим, мой сын.

— Марк,— представился молодой человек.

— Александра,— в тон ему ответила Сашенька и впервые взглянула на него с интересом как на союзника. Оказывается, это был довольно рослый молодой мужчина, голубоглазый в мать, с курчавыми темно-русыми волосами, с высоким чистым лбом, этаким красавчик ашкенази.

— Между прочим, он дантист, между прочим, приличный врач,— сказала, кивая на сына как на неодушевленный предмет, Софья Абрамовна.— Это я тогда котенка брала у твоей матери для моего внука, а для его сына, Додика, помнишь?

Сашенька кивнула — еще бы ей этого не помнить, ведь она впервые увидела тогда Георгия, а Софья Абрамовна назвала его фамилию — Домбровский.

— Как он сейчас, я не знаю,— сказала Софья Абрамовна тихим, глухим голосом, видимо, своим настоящим,— не знаю, врать не буду, хотя, говорят, что пока в Москве. Тебе адрес, наверно?

— Да, мне адрес.

— Адрес я не помню. Жену его зовут, как и меня Софочка. Она, между прочим, Марика троюродная сестра. Живут они в центре, возле Собачьей площади, такой большой дом со львами, а номер квартиры я не помню и подъезд не помню, кажется третий, а этаж, кажется, второй.

— Найду! — обрадовалась Сашенька.

— Ты ей можешь сказать, что это я тебя послала, я разрешаю.

— Спасибо.

— Хотите, Александра, я вас провожу? — вызвался Марк.

— Нет-нет, я найду сама.— Сашенька чмокнула Софью Абрамовну в густо напудренную щеку и убежала.

— Ну вот, а ты говоришь — все отвернулись, а кто не отвернулся, тот дурак. Значит, и она дура? — с вызовом обратился к матери Марк.

— Она? — Софья Абрамовна чуть призадумалась, забитые пудрой морщины на ее лице разгладились, выдавливая пудру, в ее голубых глазах вдруг пропал неколебимый свет последней инстанции, и она сказала очень тихо и очень печально: — Она? Она — другое дело. Ты тут у меня не путай Божий дар с яичницей. У нее любовь, этого тебе еще не понять, ты еще, между прочим, не дорос, Марик, это не твоя беготня за каждой юбкой.

XX

Со временем Сашеньке открылась удивительная закономерность: если замешана Софья Абрамовна, то хочешь не хочешь, а жди — что-то будет... Софья Абрамовна то наяву, то во сне возникала накануне самых главных моментов ее жизни, самых узловых, когда завязывалось что-то новое, определяющее дальнейшую судьбу, когда обозначался какой-то новый поворот, какая-то новая черточка в линии жизни. Мама научила Сашеньку премудрости гадания по руке, но ей самой не гадала никогда.

— Научить научу,— сказала мама,— а гадать не буду. Я поклялась никогда больше не гадать — после того, как убили твоего отца. Еще когда мы были же-

них и невеста, я нагадала ему, что его застрелит крестьянский паренек лет семнадцати. Тогда это прозвучало дико и неправдоподобно, а вот сбылось.

Но Сашенька все-таки умолила маму сказать «хоть слово, хоть самую чуточку». Мама внимательно погладела на ее ладони и сказала:

— Если чуть-чуть, то линия жизни у тебя хорошая, жить ты будешь долго, далеко за восемьдесят... Ты еще поживешь в двадцать первом веке!

— Ой, мамочка, да ты что! — засмеялась Сашенька. — Что ж, я буду как старуха из «Пиковой дамы»? Спасибочки! Этого мне не надо.

— Надо, не надо, а будет так, — сказала мама. — Это сейчас тебе кажется, что в старости люди не живут. Привыкнешь, еще и понравится. Тем более что старость у тебя будет вполне приличная, в смысле здоровья.

Дом со львами на Малой Молчановке Сашенька знала хорошо — она любила бродить по старомосковским улочкам и переулкам и около этого дома бывала не раз, как будто предчувствовала, что здесь живет ее будущий избранник. Львы сидели по обеим сторонам подъезда — серые, наверное, бетонные, очень внушительные, хотя на боку одного из них было написано мелом непечатное слово, а на боку другого — «Лев Моисеевич». Сашенька обратила внимание на ошибку в написании отчества, усмехнулась и подумала, что писавший не слишком грамотен. В подъезде было чисто, в те времена трудящиеся еще не приладились справлять в подъездах малую нужду. Сашенька поднялась на второй этаж и стала читать многочисленные таблички на дверях коммуналок. Нет, на втором этаже знакомой фамилии не было, а вот на третьем она увидела ее в первую же секунду: «Домбровские. 2 звонка».

Она звонила долго, упорно. Наконец высокая крашеная масляной коричневой краской дверь приоткрылась, насколько позволяла заброшенная изнутри цепочка.

— Тебе чего? — спросила повязанная белой косыночкой старуха.

— Домбровский здесь живет?

— Георгий Владимирович? — переспросила старуха с видимым участием в голосе. — Жил, деточка, жил, забрали...

— Я знаю, — сказала Сашенька. — А его жена?

— Софья? — переспросила старуха. — Софья съехала с детками к кому-то на дачу. Лето сейчас, милая, лето...

— Спасибо.

— За что же, деточка? С Богом! — И старуха перекрестила ее в темную дверную щель. — Спаси и сохрани!

Сашенька приготовилась к разговору с его женой, к объяснению. Когда шла сюда, все представляла, что скажет ей Софочка и что она скажет Софочке, даже если придется во всем признаться. Словом, думала и воображала она одно, а получилось совсем по-другому.

Светлые июльские сумерки нежно скрадывали очертания домов, воздух был напоен благодатью летнего вечера, ароматами большого города, звоном трамваев, редкими сигналами автомобилей, цоканьем копыт по мостовой — тогда еще не был списан гужевой транспорт, тогда на нем держалось многое — все подвозы к магазинам, к рынкам. Сашенька шагала по любимой Москве как во сне, не разбирая дороги, не «куда глаза глядят», а «куда ноги несут», а глаза ее глядели как бы внутрь случившегося с ее Домбровским, только о нем она и думала: где он? Как он? Чем она может ему помочь?

На другой день Сашенька опять пошла к Софье Абрамовне. Та пообещала узнать место его заключения.

— Я все узнаю, деточка, — заверила Софья Абрамовна. — Есть у меня один человек. Так что иди, собирай посылку. А то, что не встретишься с Софочкой, может, оно и к лучшему, между прочим.

— Мне все равно, — сказала Сашенька.

— Я тебя понимаю, — вздохнула Софья Абрамовна.

«Конечно, сейчас она постарела, но, наверное, какая красивая была женщина!» — подумала о Софье Абрамовне Сашенька.

И та будто услышала ее мысли. Приветливо улыбнулась и произнесла как-то очень просто, очень буднично, безо всякого наигрыша:

— Да, и я была молодой...

XXI

— Соберем все как надо, — сказала мама, — я знаю, что надо. Носки, мыло, махорку...

— Он не курит, — перебила ее Сашенька.

— Это неважно. Махорку он всегда сможет обменять у курящих на то, что ему нужно. Еще пошлем соль, хотя бы два-три спичечных коробка. Еще сахар. Еще носки теплые — это я быстренько свяжу...

— Но сейчас лето?

— Ну и что? За летом придет осень, а там и зима. Еще хорошо бы обувь. Какой у него размер ноги?

— Откуда я знаю!

— Ну ничего, можно на номер-другой побольше. Например, возьмем сразу сорок третий или даже сорок четвертый. Ботинки на крепкой подошве, а лучше кирзовые сапоги. Еще портянки. Еще хорошо бы кусок сала. А больше, пожалуй, и не возьмут. И так я много наговорила. Да, конечно, сухарей. Сухари всегда нужны.

— Ма, а вкусенького?

— А там любая крошка вкусенькая. Ладно, начнем собирать — видно будет.

— А пирожков? Ему очень нравятся твои пирожки. Он их всегда хвалил.

— Можно и пирожков. Пирожки пропадут не сразу.

— А почему они могут пропасть?

— Во-первых, может слопать охрана. Во-вторых, после того, как ты передашь свою передачку, она попадет к нему не раньше, чем через несколько дней.

— Почему?

— Пока проверят. Да то, да се. Там каждый кусочек на просвет смотрят — вдруг диверсия. Правда, сейчас война, может, у них что-то меняется. Дело может обернуться по-всякому. Так что охрана сейчас должна дрожать не меньше узников. Немцы, если так и дальше пойдет, в ноябре уже будут на нашем пороге. Немцы умеют воевать. Хотя их умный Бисмарк и просил никогда не воевать с Россией, но они его не слушаются. За четверть века второй раз полезли на нас. Дураки.

— Ма, а ты веришь в нашу победу?

— Я! Конечно. Даже если сдадим Москву. Однажды уже сдавали...

— Но он же ни в чем не виноват, я уверена!

— Конечно, не виноват. А они и не ищут виноватых. У них другие задачи.

— Как ты во всем разбираешься? Ты ведь газет не читаешь, радио не слушаешь? Почему ты так уверенно говоришь?

— Смешная ты, доченька. Зачем мне газеты, когда у меня свои глаза, свои уши, своя голова на плечах? Думаешь, все под гипнозом? Нет. Таких, как я, тоже много. Сегодня многие понимают все так, как будет сказано об этом во всеуслышание во всех газетах, лет через двадцать. Многие все понимают, но молчат. Жизнь дороже, даже такая...

— А почему ты считаешь, что лет через двадцать что-то изменится?

— Почему? Да потому, что, слава Богу, ничто не вечно. И раньше бывали тираны и рабство. Пока тиран жив, все клянутся ему в любви. А как только мертв... тогда только ленивый не лягнет мертвого льва.

— Ма, не обижайся, но как-то не верится...

— Верится не верится, а все будет именно так, как всегда бывало — все вернется на круги своя.

— Я его очень люблю. Мне так стыдно... А он сможет хоть когда-нибудь меня полюбить? Ма, ты все знаешь...

— Дело, дочка, не в нем. Главное, чтобы любила ты. Любовь — это как талант... дается не каждому. А я его ведь совсем не знаю. На вид человек приличный, и люди о нем говорят хорошо, и хирург он замечательный. Не знаю... Главное, чтобы любила ты. Ему бы живому остаться.

— Неужели ты думаешь?..

— Ну а чем он лучше других замученных? Все они жертвы Молоха.

— Но должны ведь разобраться... Обязаны...

— Ой, дочка, какая ты у меня маленькая, какая маленькая!

— Ма, я уйду на фронт. Я подала заявление.

Мать промолчала, отошла в темный уголок комнаты, куда почти не доходил свет из их знаменитого окошка в потолке.

— Ты не обижайся...

— На что мне обижаться? Ты дочь боевого адмирала. Твой дядя Женя погиб в морском бою с немцами пятого ноября четырнадцатого года. Он писал историю Черноморского флота. Она была у Машеньки в картонке, может быть, ей удалось вывезти... Я уверена, что Маша где-то там, за границей. Вчера я видела ее во сне — живую-здоровую, сильно повзрослевшую. Еще бы не повзрослеть. Сейчас ей тридцать шесть лет. Она, должно быть, красавица. Дай Бог ей счастья!

— Неужели Машенька за границей?

— Уверена. Иначе бы она мне так не снилась. Иначе я бы давно почувствовала ее гибель. Нет-нет, она жива и здорова. А что, тебя могут отпустить из больницы? Разве здесь сейчас мало работы?

— Работы полно. Хирургов не хватает, операционных сестричек тоже. Поток раненых очень большой... Но я мечтаю уйти на фронт. Ты против?

— Как же я могу быть против? В нашей семье все были военные. Защищать страну, даже такую... наш долг. Сейчас не до распрей, сейчас речь идет о судьбе России. Уже второй раз за четверть века немцы ставят нас на край. Но мы, дочка, выстоим. Ну а если уж тебе суждено попасть на фронт, у меня к тебе только одна просьба.

— Какая?

— Не пей спиртного.

— Да ты что?

— Не пей спиртного. Ни в коем случае! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Поклянись!

— Я, конечно, клянусь, но...

— Саша, я знаю, будет тяжело, а ты не пей.

— Ну, ма!

— Не пей спиртного. Я знаю, что такое война, а ты не пей, для женщины это смертельно.

— Да что ты говоришь, мамочка, зачем же я буду пить спиртное?!

— Нет, нет, я знаю, что говорю. Ты поклянись не мимоходом. Скажи: «Мама, я клянусь, что не буду пить спиртное на фронте».

— Хорошо. Мама, я клянусь, что на войне не буду пить спиртное.

— Вот и славно. Я знаю, что говорю. Фронт, госпиталь, передовая — это море спирта.

— Но я же сказала, ма...

— Сказала. Поклялась. Вот и хорошо. С Богом!*

— Он у меня всегда перед глазами. Ночью он мне снится. А когда проснусь, все равно не уходит. Смотрю на небо — и он на небе, смотрю на дерево — и его глаза среди листьев, смотрю вдоль больничного коридора — и он там мелькает. Он всегда, везде, понимаешь? Может, я ненормальная, ма?

— Нет. Ты нормальная. И это все нормально. Просто ты о нем много думаешь.

* Однажды на фронте Сашенька все-таки преступила клятву. И это ей дорого стоило, очень дорого... во всяком случае, по представлениям тех лет.

— Да, думаю о нем постоянно, я не могу не думать о нем... У него две дочки, мне стыдно, но я не могу ничего сделать с собой, меня ничто не оставляет, хоть пять дочек! Я их тоже буду любить! Он намного старше меня, ну и что?!

— Конечно, ничего, доченька. У нас порода такая. Есть женщины, которым нужны мужья-мальчики, нужны ведомые, а есть такие, как мы, которым нужны старшие, нужны ведущие или хотя бы равные. Нельзя сказать, что хорошо, а что плохо. Просто так есть и так будет всегда.

— Неужели их там бьют?

— Говорят...

— Но какое они имеют право?!

— Кто сильнее, тот и прав. Как в лесу.

— А ты вспоминаешь нашего папу?

— Папу? Всегда. Посмотрю на небо — и он в небе. Посмотрю на дерево — и его глаза среди листвы, посмотрю вдоль по улице — и он где-то там мелькнет. Мне есть что вспомнить... есть о чем видеть сны.

— Мамочка, что же ты ничего об этом не рассказывала?!

— А когда было рассказывать? Мы ведь и по-русски только-только с тобой разговорились.

— И ты столько лет держишь все в себе? Боже мой, какая я дура! Как я ничего не видела, не чувствовала, не понимала! Какой ужас!

— Да что же тут ужасного, доченька? Это не ужас — это опора, это смысл моей жизни. В прошлом — твой отец, в настоящем — ты, а в будущем... а в будущем я буду с ним, а потом-потом и все мы снова будем вместе: папа, я, Маша, ты — все!

XXII

Ни на сапоги, ни на ботинки для Домбровского у них не хватило денег. В те дни все резко подорожало, в особенности товары первой необходимости — основа основ всякого житья-бытья. Обувь купить не удалось, зато всю остальную часть передачи Анна Карповна и Сашенька собрали лучшим образом.

Чтобы связать для Домбровского теплые носки, Сашенька распустила свой серый шерстяной свитер, который она получила год назад в награду за успехи в акробатике, за призовое место на соревнованиях общества «Трудовые резервы».

— Сашуль, ну зачем ты распустила фактически новый свитер? — упрекнула ее мама. — Можно было из разных кусочков, разных ниток, получились бы такие пестренькие носочки, я бы сделала их хорошо.

— Не ругайся! Зато теперь столько пряжи, что хватит на три пары: ему, мне и тебе.

— Но мне-то зачем?

— Тебе? Ты что, ма! Я тебя очень прошу — тебе обязательно. Это важно!

— Ладно, — улыбнулась мама. — Наверное, ты делаешь все правильно. Давай-ка быстренько свяжем их в четыре руки.

В распущенной из свитера пряже одна нить была ангоровой, и потому носки получились пушистые, теплые, нежные на ощупь. Когда вязали, мама рассказывала об отце, о жизни «в старое время». Так повелось в народе, что годы до 1917-го стали называть «старое время». В анкетах был вопрос: «Чем вы занимались до советской власти?» И никто не мог вообразить, что минет всего несколько десятилетий и придет антисоветская власть, и уже можно будет спросить: «А чем вы занимались при советской власти?» Для истории эти три четверти века даже и не мгновение, а что-то усеченное, меньшее, чем мгновение, а для миллионов людей в этом времени, как в волчьей яме, поместилась вся их жизнь целиком, от «а» до «я», сгорела заживо — единственная, неповторимая, безвозвратная.

— Главное, что мне удалось сделать и чему я рада, то, что ты не стала лишенкой*. И теперь ты можешь пойти на фронт. Ты ведь знаешь, что лишенцы не имеют права на защиту Родины?

— Знаю. У нас Матильда Ивановна лишенка, и еще я кое-кого знаю.

— Матильда-то с какого боку?

— А у нее отец содержал цирк-шапито.

— М-да,— сказала мама.— Как говорит наш вечно пьяненький старичок-кочегар дядя Вася: «Эх, хороша советская власть, да больно долго тянется!»

— Он так говорит? Этот седенький, такой маленький, худенький — в чем душа держится? И он так говорит?

— Говорит, но только мне — один на один. Подмигнет и скажет. Удивительно, но он как-то меня отличает...

— Может, тоже из графов или из провокаторов, а может, и то и другое вместе? — усмехнулась Саша. За последние недели непрерывных бесед с мамой у нее на многое открылись глаза.

— Вряд ли провокатор. Я их за версту чую. Скорее граф. Не одна я в сегодняшней России артистка. Хотя вряд ли. А там кто его знает?.. Чужая душа — потемки.

Мама вышла из комнаты вылить помойное ведро. Сашенька воспользовалась этим и, прежде чем положить в посылку носки, прижала их к лицу и расцеловала. Носки были такие мягонькие, такие чистые, от них так приятно пахло шерстью.

Посылку они собрали славную: носки, три пачки моршанской махорки, кусок хозяйственного мыла, три спичечных коробка с солью, несколько кусочков колотого сахара, черные сухари, десяток пирожков с картошкой, десяток с яблоками. Упаковали все в коробку из-под обуви, надписали на ней химическим карандашом фамилию, имя, отчество, перевязали тесемкой. Сашенька уложила картонку в холщовую сумку, чтобы захватить ее на ночное дежурство, а утречком, после смены, сразу отправиться на пересыльный пункт по адресу, указанному Софьей Абрамовной.

— Ма, а у нас был отдельный дом?

— Отдельный от чего?

— Ну, от других жильцов?

— Дом был средний. Комнат на двадцать, а может, на двадцать пять, я их никогда не считала.

— Ого-го! И как же ты там подметала, мыла? С утра до вечера!

— Я не подметала, не мыла, не стирала. Для этого были люди, такие, как я теперь.

— Двадцать пять комнат! Зачем?

— Да вроде все были по делу. Две детские, две спальни, столовая зимняя, столовая летняя, гостиная большая, гостиная малая, папин кабинет, мой кабинет, несколько проходных комнат, несколько комнат для гостей, внизу комнаты для прислуги, повара, дворецкого да еще комната для нашего автомобилиста, как говорят сейчас — шофера.

— А разве в старое время были автомобили?

— Вот-вот,— усмехнулась мама,— всем вам, молодым, внушили, что до советской власти в России ничего не было, кроме эксплуатации человека человеком. В начале двадцатого века в России были сотни автомобилей, а перед войной уже тысячи. Папа и сам любил управлять автомобилем. А наш автомобилист Зигмунд был большой щеголь, с шикарными черными усами. Почему-то в авиации и в автомобильном деле было много поляков.

— А откуда привозили машины?

* Лишенцы — лица дворянского или купеческого сословия, лишенные при советской власти гражданских прав.

— Что-то привозили из Европы, а много машин мы делали сами, в России. Например, на Русско-балтийском металлodelательном заводе в Риге их выпускали тысячи.

— Что-то я никогда об этом не слышала...

— А зачем тебе это слышать, знать? Так все специально устроено, чтобы вы, молодые, считали, что летосчисление началось с семнадцатого года. Историю пишут победители. Так было, так есть, так будет всегда.

— Но это же несправедливо, ма!

— Наверное...

— То есть как это — наверное?

— А так, доченька, что чем дольше живу, тем яснее понимаю: не то что власть, а даже отдельный человек не бывает хорош для всех. Кому-то он друг, кому-то враг, а для кого-то просто пустое место.

— Что-то не очень понятно...

— Ладно, деточка, иди трудись, не дай Бог опоздать! Иди с Богом! Потом как-нибудь пофилософствуем.

Улицы Москвы еще сохраняли прежний, довоенный облик, но многое изменилось. Над центром зависли пузатые аэростаты, якобы способные помешать возможным немецким бомбардировкам, было много военных, да и все штатские как-то подтянулись, присанились, нацелились на сопротивление, на оборону своих углов, своих домов, своих улиц и переулков. В воздухе пахло войной. Из репродукторов гремели марши, прерываемые сводками Информбюро* — мощный, победительный голос Левитана** даже при наших поражениях не оставлял врагу никакой надежды. Был только конец июля, и еще шапкозакидательская бравада предвоенной советской пропаганды катил свои радио- и прочие волны по инерции, еще не верилось, что война — все-речь и надолго.

По дороге в больницу Сашенька думала о родительском доме в двадцать пять комнат. У нее было странное ощущение: ей как-то не верилось, что могло быть именно так, как рассказывала мама. Конечно, она много читала о дворянских усадьбах, об особняках с бальными залами, но никогда эти усадьбы и особняки не были чем-то реальным. Скорее они были для нее неким искусственным антуражем, каким-то смутным, неясным фоном, декорацией, нарисованной на холсте, в которой двигались живые персонажи Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова. Она хотела вообразить свой родительский дом и не могла — весь опыт ее жизни противился этому. «Неужели это могло быть? — думала Сашенька. — Нет, как же это могло быть?! Зачем двадцать пять комнат? Там же можно было сделать детский сад!» Она не знала, что так и случилось, — в доме ее родителей при советской власти сделали именно детский сад, а в ее детской комнате, в которой и пожила-то она всего несколько месяцев, разместили бухгалтерию, в которой сидели две пожилые бухгалтерши и с утра до вечера бросали на костяшках счетов, сколько съедено масла, крупы, сколько пошло на усушку и утруску — с усушки, утруски и «мышьего ядения» они и кормились вместе с заведующим, хотя и детям что-то оставалось. На стене бывшей Сашиной детской висел засиженный мухами плакат: «Социализм — это учет». Так оно и было, никто с этим не спорил, хотя и не все понимали, что учитывают и для чего.

«Нет, нет, зачем же одной семье двадцать пять комнат? — думала Сашенька, подходя к родной «больничке». — Ведь, например, нам с мамой достаточно одной комнаты на двоих».

На бетонном крыльчке приемного покоя ее встретила толстенькая напарница Надя, она аж пританцовывала от нетерпения, ее веснушчатое личико сияло, блудливые карие глазки лучились.

— Галушка, привет! — звонко выкрикнула Надя. — Твой вернулся!

* Информбюро — Информационное бюро телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).

** Левитан — диктор, обладавший исключительно богатым, внушительным голосом.

XXIII

Среди книг, принесенных когда-то Анной Карповной и Сашенькой с дворовой помойки, были и «Творения» Блаженного Августина*. Когда Сашеньке исполнилось пятнадцать лет, мама как бы случайно подсунула ей эту книгу. Хотя книга и была отпечатана по старой орфографии, читалась она легко:

«Имеет ли душа длину, ширину и высоту?

Помещается ли душа только в теле, как в сосуде, или она снаружи, как покрывало?

Не кажется ли тебе пустым то место, что называется памятью?»

Прочитав некоторые куски из древней книги, очень вкусно пахнущей лощеным кожаным корешком, Сашенька в особенности запомнила трактат о «количестве души» и горько сожалела, что мама не умеет читать и говорить по-русски, а стало быть, ее нельзя расспросить обо всем об этом подробно, в тонкостях.

До того дня Сашенька никогда не задумывалась о своей душе, считала, что это просто слова: «глубина души», «широта души», «чистота души», «открытая душа», «простая душа», «грязная душонка», «легко на душе», «тяжело на душе», «душа болит», «душа душу греет». Да, раньше она об этом никогда не задумывалась, а тут, во время чтения Августина, ее вдруг озарило, что все, что есть в языке народа, не случайно, а истинно и несомненно. С тех пор она стала думать о своей душе отдельно, как о сестре, если бы у нее была сестра... Она думала о своей душе: большая она или маленькая, глубокая или мелкая? И как это понимать: «душа моя обнимает весь мир», или «душа ушла в пятки»? Почему именно в пятки? Народ ничего зря не скажет — это Сашенька теперь кожей чувствовала. Как это один человек может сказать о другом человеке: «родная душа»? И почему тогда: «чужая душа — потемки»? Как это все понимать? Зачем это все? Почему это все?

Те ответы, которые давал своим собеседникам Блаженный Августин, все-таки не были абсолютными даже при всей его ораторской мощи и логике. Все-таки в самый последний момент истина ускользала из тупика однозначного познания, терялась вдруг в зыбком тумане недосказанного, таинственного и улета-ла в вечность, которую ни понять, ни измерить...

«Я прибыл в Карфаген, и стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви...

Любить и быть любимым — значило для меня овладеть предметом моей любви. И я мучил источник дружбы грязью похоти, туманил ее чистое зеркало адским дыханием страстей, как я хотел, мерзкий и бесчестный, в жалкой суетности своей, казаться благородным и достойным! Я жаждал весь погрузиться в любовь. Боже милосердный, сколько горечи в безмерной благодати Твоей добавил Ты мне в эту сладость! Я испытал и любовь, и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед за тем — и подозрения, страхи, гнев, ссоры и жгучие розги ревности!»

Когда Сашенька прочла этот отрывок из «Исповеди» Блаженного Августина, лицо ее вспыхнуло красными и белыми пятнами, удушливый стыд охватил, казалось, всю ее с головы до ног — так пронзительно, так жестоко захотелось ей тоже «испытать любовь», захотелось «адского дыхания страстей», которые уже смутно и горячо представлялись ей по ночам, когда она металась во сне и простыня под ней сручивалась жгутом.

* Блаженный Августин родился в 353 году в Африке, в нумидийском городе Тагасте. Учился и преподавал в Карфагене. В 387 году крестился в Италии. Вернулся в Африку, раздал свое немалое имущество и с 391 года вступил в духовное звание. С 395 года был епископом. Умер в 430 году в Гиппоне, близ Карфагена, во время нашествия древнегерманского племени вандалов, которые в 429—439 годах завоевали Северную Африку, в 455 году разграбили Рим, а к 534 году уже навсегда сошли с исторической сцены, оставив после себя одно лишь понятие «вандализм», обозначающее бессмысленное, идиотическое разрушение культурных и материальных ценностей.

Она приблизилась к их облупленному круглому зеркалу на стене комнаты, взглянула и показалась себе отвратительной: какой-то толстый нос, какие-то толстые губы, какой-то низкий лоб, щеки висят — тьфу! Зубы, правда, ровные, чистые, белые. Волосы ничего. А так... плечи как у хорошего дядьки, груди вообще неодинаковые — одна больше, другая меньше, бедра какие-то неприлично крутые... Нет, нечего ей ждать от жизни — и поделом... Глаза какие-то маленькие, как щелки, — тьфу! «Боже мой, какая я уродина!» — горько подумала Сашенька. Да, ей тогда так казалось, в те лета, хотя обстояло все совсем по-другому — она была видной девочкой. Нос, конечно, припух, но это возрастное, это со всеми бывает и проходит... Лоб высокий, чистый, выпуклый, точь-в-точь как у Сикстинской мадонны, глаза большие, светло-карие, под лучом солнышка, падающего с их потолочного окошка, дымчатые, обманчиво грустные, губы красиво очерченные... нет, нет, все было совсем не так, как представлялось Сашеньке, она, правда, еще не была красавицей, но дело к этому шло. И все было у нее впереди — и любовь, и взаимность, и страсть, и «прелесть наслаждения», и горечь разлуки, и «розги ревности».

Пришла с улицы мама и радостно сказала, снимая цветастую косынку:
— Тёпло. Провесинь*.

На дворе уже бушевал апрель. А с двенадцатого февраля Сашеньке пошел шестнадцатый год.

XXIV

Блудливо сияя карими глазками и то и дело прижимаясь к Сашеньке, напарница Надя еще тараторила что-то о Домбровском, о фронте, о том, что в «затишке» при посудомойке опять родились котятка, но Сашенька уже не понимала ничего, не видела, не слышала — душа ее летела далеко впереди по обшарпанному, пропахшим хлоркой больничным коридорам, мимо открытой настежь двери в каптерку Софьи Абрамовны, мимо ее сына Марка, который церемонно поклонился Сашеньке и хотел ей что-то сказать, мимо плакатов Красного Креста на грязно-зеленых стенах, — душа летела в ординаторскую, туда, где обычно по ночам они «гоняли чай», где было средоточие их жизни. Наверное, кто-то заметит: а как же операционная? А что операционная? Операционная — это ристалище, это работа, притом такая, что ничего, кроме нее, не видишь, не слышишь, не чувствуешь, там все живут не отдельно друг от друга, а в едином порыве, единым существом.

В ординаторской Домбровского не было.

— Она на бесед в отдел кадр, — буркнул при виде Сашеньки второй дежурный хирург Карен, по прозвищу «маленький», потому что был в больнице еще Карен-большой. При этом печальные черные, влажно блестящие глаза Карена-маленького осветились таким теплом и участием, что сказали Сашеньке больше любых слов поддержки.

Сашенька была уверена, что сослуживцы ничего не знают об ее влюбленности в Домбровского, она считала, что не подает виду, хотя те, конечно, все видели и давно уже перешучивались за ее спиной. Перешучивались прежде, до несчастья с Домбровским, а с тех пор как это случилось, никто больше не хихикал по ее поводу, а все лишь молча сочувствовали ей и сопереживали вместе с ней.

Украдкой она сунула сумку с посылкой за шкаф, и в это время в ординаторскую вошел Домбровский и тут же следом хохотушка Надя.

— Привет! — еще с порога, как ни в чем не бывало бросил он Сашеньке и улыбнулся как-то странно — не размыкая губ.

— Георгий Владимирович, — окликнула его из коридора операционная нянечка тетя Даша, прикатившая из центральной стерилизационной биксы** со

* Провесинь (укр.) — ранняя весна.

** Биксы — круглые металлические банки, которые, наполнив свежим бельем, обрабатывают в автоклавах дезинфекционными парами, под давлением и при температуре выше 100°C.

стерильными халатами, бельем, простынями, пеленками,— Георгий Владимирович, вас опять до главврача вызывают.

Он тут же развернулся и вышел. А Саша и Надя взялись помогать тете Даше проверять белье в биксах, стерилизовать инструменты, про кварцевать помещение, для чего выкатили на середину операционной кварцевые лампы на колесиках и включили их.

— И чего мордуют человека? — не глядя на девочек, как бы сама с собой проговорила тетя Даша. Она была добрая, работающая женщина, с пьющим драчливым мужем, с непутевым сыночком и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ей никто не ответил. Даже скорая на язык глупенькая хохотушка Надя и та не сочла возможным поддержать разговор, хотя язык у нее ох как чесался!

Все трое продолжали работать молча. Брякали инструментами, застилали операционный стол, раскладывали необходимое по раз и навсегда заведенным местам, чтобы потом уже делать все автоматически.

Пришел Карен-маленький и стал щеткой и мылом истово драить свои волосатые руки от кончиков пальцев до локтей. Вымыл, обработал спиртом, смочил пальцы слабым раствором йода — вдруг перчатки прорвутся, всякое бывает...

Десять лет назад, в 1931 году, Карен-маленький приехал в Москву из своей каменной Армении по разнарядке нацменьшинств*. Год он учился на курсах русского языка, потом шесть лет в Медицинском институте. Чуть ли не с первых месяцев учебы работал ночным санитаром в этой же больнице. Он много читал по-русски, даже пытался выучить наизусть «Евгения Онегина», у него был большой запас русских слов, но все равно до сих пор он говорил «ми», «ви», «будем посмотреть», «вставляйт» вместо «вставлять», «вороний» вместо «вареный», путал «он» и «она». Карен-маленький почитал Домбровского как божество и говорил, что «такая хирург бывает один раз на ста лет». К чести его нужно заметить, Карен был весьма обучаем и переимчив, так что работа под началом Георгия Владимировича шла ему впрок, он быстро становился классным специалистом.

— У Маленького Карена впереди большая дорога,— сказал как-то Домбровский, чем привел его в такое смущение, что тот покраснел до слез в своих прекрасных, огромных глазах.

Привезли больного — раненного в голову и в грудь солдатика лет девятнадцати, белобрысого, с выцветшими белыми бровями на черном от загара, обветренном лице.

Вернулся от главврача старший хирург Домбровский, подготовился как обычно и приступил к подробному осмотру больного, находившегося в сознании и следившего широко раскрытыми побелевшими от боли и страха голубыми глазами за каждым движением хирурга.

Операция была тяжелой, прошла успешно.

В ночное затишье, перед рассветом, они как всегда сели в ординаторской пить чай.

— А где же пирожки? — подмигнув Сашеньке, спросил Домбровский.

— Сейчас.— Она зарделась от радости и без тени смущения взяла из укромного уголка возле шкафа припрятанную накануне грубоотканую холщовую сумку, вынула из нее картонную коробку, разрешила ножом тесьму, которой та была перевязана, и подала пирожки к столу.— Пожалуйста! — А коробку с написанными на ней химическим карандашом фамилией, именем и отчеством Домбровского она не стала прятать под стол, а просто положила рядом, на подоконник. Ей вдруг сделалось безразлично, кто что о ней скажет и что подумает,— она была счастлива всей душой, душа ее трепетала от восторга, от какой-то неясной и упоительной, никогда не испытанной прежде свободы.

* Нацменьшинства — национальные меньшинства, для них была специальная квота льготного поступления в высшие учебные заведения СССР.

Во время чаепития Домбровскому было трудно скрыть то, что он скрывал до сих пор за плотно сжатыми губами, — у него не было двух верхних передних зубов, и он невольно шепелявил. Все делали вид, что не замечают ни его выбитых зубов, ни пришепетывания, все старались вести себя так, будто бы все было как прежде.

За широким больничным окном брезжил рассвет нового дня, небо на востоке порозовело, и вот-вот должно было выглянуть солнышко.

— Ребята, — сказал Домбровский, — ребята, а я сегодня ухожу на фронт.

Привезли следующего больного, чай был оставлен, принялись за работу. Операция была несложной и прошла хорошо. Домбровский доверил ее Карен-маленькому, а сам только подстраховывал.

К концу смены Карен-маленький и Надя деликатно оставили их в ординаторской одних.

— Так я возьму твою передачку, — сказал он нарочито весело, загораживая тыльной стороной ладони дырку на месте выбитых зубов. — Спасибо тебе. Носки, мыло, махорка... все по делу.

— Так вы ведь не курите?

— Ничего. Может, и закурю. Прощай. — И он тронул ее щеку желтоватыми, обожженными йодом пальцами.

Домбровский и Карен-маленький ушли домой, а Сашенька и Надя остались, как обычно, мыть вместе с тетей Дашей операционную.

Он унес картонную коробку под мышкой, можно сказать, демонстративно.

Сашенька, Надя и тетя Даша прибирались не меньше часа. Солнце уже взошло высоко и ослепительно отсвечивало в глаза от никелированных банок, кюветок, инструментов. Где-то далеко в коридоре из репродуктора победительный голос диктора Левитана сообщал о новых городах и всях, «оставленных советскими войсками в порядке плановой перегруппировки сил». И кровь, и ложь лились одной рекой.

— Сашуль, а Карен-маленький хочет на мне жениться, — вдруг сказала ей Надя, когда они шли по больничному коридору домой. — Ты как считаешь, соглашаться? Все-таки он ничего, а? Может, соглашаться, пока я честная*? Все-таки замуж нужно. И тетя Даша советует, а?

Сашенька не успела ответить — дорогу им преградил заведующий отделом кадров.

— Товарищ Галушко, зайдите ко мне.

— Ну ладно, пока! — попрощалась Наденька.

— Пока, — ответила ей Саша и вошла следом за завкадрами в его кабинет.

Кабинет был хотя и просторный, но довольно несуразный — без окон, с отдушинами в потолке для принудительной вентиляции. Сашенька бывала здесь и раньше — когда получала грамоту ВЦИК** за парад на Красной площади, когда ее перевели из училища в больницу на постоянное место работы. В простенке висел плакат: «Кадры решают все». На письменном столе красного дерева горела такая же богатая и старинная, как стол, бронзовая лампа. И то, и другое выглядело довольно дико среди темно-коричневых казенных сейфов и стеллажей с папками документов, как в регистратуре.

— Садитесь, товарищ Галушко, — пододвинул ей легкий венский стул хозяин кабинета. От завкадрами крепко пахло цветочным одеколоном.

Сашенька присела на краешек предложенного ей стула. Старинная лампа отбрасывала яркий круг света на благородное красное дерево полированной столешницы. Круг света захватывал краешком том «Войны и мира» в темно-синем переплете с факсимильной росписью гения на обложке — очень знакомый Сашеньке, именно такие четыре тома «Войны и мира» принесли они с мамой когда-то с дворовой помойки. Лицо завкадрами находилось как бы в тени.

— Есть мнение утвердить вас, товарищ Галушко, старшей операционной сестрой отделения.

* Честными называли раньше девственниц, тогда это было важным условием для первого замужества.

** ВЦИК — Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет.

Сашенька промолчала, хотя сказанное явилось для нее полной неожиданностью. Должность была слишком ответственная, что называется, не по возрасту.

— Вот приказ. Ознакомьтесь и распишитесь.

— Я? Зачем? У нас есть старшая.

— Была. Сегодня мобилизована.— Он подтолкнул ей по гладкому столу листок бумаги.— Распишитесь!

Сашенька машинально расписалась. Поднялась со стула, не забыв подобрать с пола у своих ног грубоотканую холщовую сумку, в которой она принесла вчера посылку для Домбровского.

— И еще я хотел,— завкадрами слегка замялся,— я хотел тебя расспросить, как этот Домбровский?

— А что Домбровский?

— Я в том смысле, может, были у него какие-то антисоветские высказывания?

Сашенька взглянула на хозяина кабинета в упор — на его старое, изможденное бессонницей, желтоватое лицо с добрыми голубыми глазами в красных прожилках на белках, на его плешь в венчике жидких полуседых волос.

— Ты бы изложила письменно, тем более руководство тебя повышает. Он, конечно, ушел на фронт, но это ничего не значит. Просто пока без него не обойтись, а вообще...

Это случилось помимо ее воли, как бы само собой: она хлестнула его по голове грубоотканой холщовой сумкой и выбежала из кабинета.

— Теперь тебя заберут, горе мое! — в ужасе прошептала мама, услышав ее рассказ.— Боже мой! Боже мой!

Но все обошлось самым странным образом: Сашеньку назначили старшей операционной сестрой отделения, а завкадрами, болезненный и начитанный Иван Игнатьевич, первым поздоровался с ней при встрече и даже снял с головы засаленную парусиновую кепку. Как всегда, от завкадрами крепко пахло одеколоном — так он пытался скрыть свое всегдашнее похмелье. Он жил одиноко, заброшенно, мучился от бессонницы, и единственной отрадой была для него выпивка.

XXV

Роскошный кабриолет «рено» легко катился по узкой известняковой дорожке вдоль моря. На очередном взгорке опять открылась взору белая и голубая Бизерта, так похожая на Севастополь.

— О, я хорошо помню, как вошли в Бизерту русские корабли. Еще бы мне не помнить: с того дня судьба повернулась ко мне лицом. На ваших кораблях находилось много всякого имущества. О, Аллах, чего там только не было! С торговли этим имуществом я и начал свою карьеру. Я снарядил несколько караванов в пустыню и очень успешно торговал с бедуинами. А через год, в двадцать первом году, я вообще заработал на вашей эскадре хорошие деньги! — Маленькие черные глазки банкира Хаджибека блеснули доблестью и отвагой природного торговца.

Его внезапное откровение настолько поразило Марию, что она невольно сбросила скорость, и лимузин пошел медленно, мягко. Господин Хаджибек покачивался на сафьяновом сиденье, по лицу его блуждала улыбка: ему было что вспомнить о русской эскадре, для него она явилась даром небес!

— Так что же случилось в двадцать первом году? — нетерпеливо спросила Мария.

— О, я провернул отличную сделку, я продал боекомплект со всех ваших кораблей.

— Снаряды?

— Не только. Там было много всего вспомогательного, разные приборы и прочее. Мы продали все Эстии, кажется, так называется это маленькое государство на севере Европы.

— Эстонии, — жестко поправила Мария, — Ревель, Нарва, раньше там была Россия...

— Не знаю. Когда мы продавали, было такое государство.

— Да, когда вы продавали, у них уже было как бы государство. Выходит, вы начали свою карьеру с мародерства? — саркастически заметила Мария и нажала на педаль газа. Послушная машина стремительно рванула вперед.

— Я мародер?! Что вы, Мари! — Хаджибек искренне возмутился. — Я честный торговец. Как вы могли такое подумать, Мари? Конечно, вы были тогда еще девочка и это вас не касалось... Но все ваши корабли с первого дня своего появления в Бизерте были во владении Франции, они отошли нам как залог.

— За что?

— Как за что? За то, что Франция спасла вас от неминуемой гибели. Это была плата за вашу эвакуацию из России под покровительством Франции и прочие наши расходы.

— Странно. Я думала, что это было сделано бескорыстно. У нас, по-моему, все так думали.

— Ну что вы, мадемуазель! Как вы мне говорили недавно вашу хорошую русскую поговорку: «Можно дружить, но табак делить».

— Дружба дружбой, а табачок врозь! — зло сказала Мария по-русски, и лицо ее пошло пятнами.

— Мы действовали вполне законно, мадемуазель, на основании соглашения между Францией и вашими. Были подписаны бумаги. Это была нормальная сделка. А бедный Хаджибек заработал неплохие денежки! — Банкир лукаво хихикнул и ерзнул на сафьяновом сиденье.

— А вы ничего не путаете?

— Я? Да за кого вы меня принимаете, графиня? Я никогда ничего не путаю*.

— В таком случае это особенно печально. Боже, какие мы были наивные!

— Не говорите за всех. — В голосе Хаджибека прозвучала открытая насмешка. — Конечно, вы приплыли сюда девочкой... Но ваши генералы торговали довольно бойко... Например, генерал-лейтенант Занкевич, я его хорошо помню, это был очень ловкий человек.

— На эскадре не бывает генералов, а только адмиралы. И никакого Занкевича я не знаю.

— Возможно. Вполне возможно, вы были тогда девочка... Тем не менее он приезжал в Бизерту, и не один раз. Он приезжал из Парижа, там у него были хорошие связи. Знаете, там! — И господин Хаджибек покрутил пухлой ладошкой над головой. — Наверху, в кругах...

В памяти Марии смутно мелькнуло воспоминание о каком-то русском генерале, который действительно приезжал из Парижа и которого адмирал дядя Паша велел не пускать на корабли.

— Да, что-то было, — сказала она смущенно. — Кажется, был какой-то проходимец...

— Ну почему вы так говорите, Мари? Он был очень цепкий, он был настоящий торговец. Он очень удачно переправил во Францию три ваших ледокола**, другие корабли и потом такой огромный океанский транспорт — о, чудо техники!

— «Кронштадт». Там была вспышка холеры.

— Чепуха! — засмеялся Хаджибек. — Чумы, холеры — никто не доказал. Просто каждый день подсыпали в еду команде очень сильное слабительное, вот им и нездоровилось.

— Не может быть! — Мария вспомнила, как уводили «Кронштадт» из гавани Сиди-Абдаллаха, как огорчился адмирал дядя Паша, как горячо возмущался

* Увы, банкир Хаджибек действительно ничего не путал. Соглашение о залоге русских кораблей существовало и де-юре, и де-факто. Накануне отплытия из Крыма генерал Врангель вынужденно подписал с французским правительством это соглашение. Такой ультиматум был предъявлен французам после посадки людей на корабли.

** Речь идет о ледоколах «Всадник», «Гайдамак», «Илья Муромец».

он тем, что его не послушались и не демонтировали цеха «Кронштадта», не перевезли их на сушу. Да, тогда всем сказали, что транспорт уводят временно — на большую дезинфекцию.

— Его увели в Тулон, там переименовали в «Вулкан»... Я все это знаю досконально, я ничего не путаю, мадемуазель.

— Наверное, вы один из участников операции?

— Дело прошлое, не буду скрывать. Да, мадемуазель.

— Что ж, — Мария натянуто рассмеялась, — что ж, тогда мы с вами работаем! — Она подмигнула ему дерзко, лукаво. Ее глаза оставались при этом весьма печальными. — Жара! — Мария остановила машину. — Давайте-ка надем шляпы, а то солнце напечет голову. — Она ловко перегнулась и взяла с заднего сиденья свою широкополую белую шляпу. — А вы, господин Хаджибек, где ваша шляпа?

— А мне не нужно, я привычный. Хотя и прошло пятнадцать лет, но еще кое-что осталось, — сказал Хаджибек, когда они снова тронулись в путь.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду ваш огромный дредноут, он до сих пор ржавеет в бухте Каруба.

— Неужели «Генерал Алексеев»?

— Возможно. Я не запоминаю ваши русские названия. Лет семь назад я купил его у администрации, с тех пор он и висит на моей шее. Почти зря потратился.

Господин Хаджибек говорил правду, но не всю и не полную: давным-давно он содрал и вывез с линкора все, что можно было вывезти, и дважды оправдал свои вложения.

— Не знаю, что мне делать с этой грудой металла, — притворно вздохнул Хаджибек.

— Уступите его мне, — вдруг предложила Мария.

— Вам? Но его можно продать только на лом...

— Вот я и продам.

— Но это немалая сумма...

— Когда вернемся, я выпишу вам чек в «Лионский кредит», вас устроит?

— Вполне. Можем хоть сейчас взглянуть на него. Вы наверняка захотите посмотреть?

— А чего смотреть? Необязательно.

— Неужели вы купите не глядя?

— Да.

— Хм. Дело хозяйское, тогда по рукам! — И Хаджибек слегка коснулся своей короткопалой кистью ее тонких пальцев на руле. — Вы даже не спрашиваете о цене?

— Не спрашиваю. Я уверена, что вы не шакал, а крупный банкир и не станете играть на моих национальных чувствах.

— Да-да, конечно, я не шакал...

Хаджибеку очень хотелось быть крупным банкиром, но все-таки он придумался: «Сколько же с нее взять? Слишком мало — нехорошо, слишком много — тоже нехорошо...»

— А в какой цене сейчас металл на лондонской бирже? — спросил Хаджибек. — Вы ведь хорошо знаете котировки. Вы игрок.

— На лондонской бирже металл сейчас в хорошей цене. А что, корабль может туда доплыть и стать в сухой док, где его разрежут, да?

— Нет, я просто так спрашиваю, — смутился Хаджибек, — я все понимаю.

Бело-голубая Бизерта наплывала с каждой минутой, показалось православное кладбище с мраморными крестами.

— Не обессудьте, — сказала Мария, останавливая машину. — Подождите меня чуть-чуть. Я пойду поклонюсь своим людям.

— Конечно, графиня! — с готовностью воскликнул банкир. — Это так приятно!

Мария пошла к кладбищенским воротам, а Хаджибек продолжал лихорадочно размышлять, глядя на ее удаляющуюся фигурку: «Сколько же попросить за этот стальной хлам? Дорого — нехорошо. Дешево — тоже нехорошо... Так сколько? Сколько?!»

XXVI

Тунизийский банкир Хаджибек познакомился с Марией полтора года тому назад. Их знакомство состоялось при весьма банальных обстоятельствах. По ходу своих дел господин Хаджибек регулярно наезжал в Париж. Однажды он, как обычно, пришел свериться по счетам в крупный парижский банк, где держал значительную часть своих денег, и вместо знакомого пожилого клерка увидел за конторкой Марию, которая в те дни только-только получила место. Господина Хаджибека поразили красота молодой женщины и изящная четкость в работе: едва окинув взглядом его досье, она изложила ему без малейшей запинки все операции, проведенные по его счету. Мария ослепительно улыбалась Хаджибеку, опережала каждый его вопрос, буквально ловила все на лету. Господину Хаджибеку показалось, что она в восторге от их общения и надеется на большее. Он присосанился и произнес с апломбом то, что, по его мнению, следовало:

— Мадам, мы не смогли бы поужинать? Сегодня у меня как раз есть время...

— Мадемуазель, — мягко поправила Мария, не поднимая русой головы от бумаг.

— Простите, мадемуазель, так мы могли бы? У меня свободный вечер...

— Это приятно, что у вас свободный вечер. Деловые люди должны отдыхать, — вкрадчиво проговорила Мария, не поднимая головы.

— Так мы не могли бы?

— Не-ет! — нежным, певучим голосом отвечала Мария не глядя.

— Ну отчего же? Мы прекрасно проведем время, я знаю тут рядом ресторан с прекрасной кухней, — настаивал господин Хаджибек, уверенный в том, что идет обыкновенное заигрывание, обыкновенное набивание цены. Он уже по-хозяйски ощупывал взглядом ее высокую открытую шею, плечи под тонкой блузкой, грудь. — Мадемуазель, мы отлично проведем время, перестаньте упрямыться! — добавил он с нотками покровительства в голосе.

И тогда она подняла на него свои дымчатые, светло-карие глаза и произнесла тихо-тихо, но так, что у господина Хаджибека мурашки побежали по коже.

— Свое время, уважаемый господин Хаджибек, я провожу на работе или с очень хорошо знакомыми мне людьми. На сегодня у нас с вами все. Милости прошу! — И она указала ему рукой на дверь так спокойно и так властно, что он не сообразил, как вдруг очутился на улице. Никогда еще господин Хаджибек не чувствовал себя такой букашкой. От растерянности он даже бросился зачем-то перебежать улицу и едва не попал под автомобиль. Резко затормозивший водитель сказал ему все, что о нем подумал, и поехал дальше. А господин Хаджибек еще долго стоял на тротуаре под могучим светлокорым платаном и смотрел на противоположную сторону, на мостовую, где он едва не расстался с жизнью, на высокие массивные двери банка, смотрел с удивлением, яростью, робостью, восхищением — в те минуты он совсем потерялся в своих чувствах.

Через день господин Хаджибек преодолел себя и снова пошел в банк, и снова его встретила Мария, и опять она была прелестно предупредительна и ловила на лету каждое его слово. Оба сделали вид, что никакого инцидента между ними не было. На этот раз господин Хаджибек воздержался от предложений, и Мария проводила его очаровательной улыбкой.

Случилось так, что после этого господин Хаджибек целых пять месяцев провел безвыездно у себя в Тунизии, а когда наконец приехал в Париж и пришел в свой банк, Марии за конторкой уже не было, там стоял его старый знакомый, пожилой клерк в черных нарукавниках. Господин Хаджибек спросил его о Марии.

— О, большому кораблю — большое плавание! — подняв выцветшие глаза к белому лепному потолку, благоговейно проговорил клерк. — Графиня Ма-

ри уже управляющая отделением. О, я никогда не встречал подобной женщины — она финансовый гений! Наш президент умеет ценить людей. Достойных он выдвигает немедленно!

В этот же день, с трудом переварив полученную информацию, господин Хаджибек записался на прием к управляющей отделением региональных банков графине Марии Мерзловской.

Через три дня он был принят.

Нужно заметить, что до сих пор господин Хаджибек имел дело с более мелкими банковскими служащими — никогда еще он не поднимался на столь высокий уровень. Например, о президенте банка он знал только то, что знали все: что звали его Жак, что ему за шестьдесят, в молодости он был морским офицером, у него великовозрастный сын, светский кутила, и две замужние дочери, у семьи огромный загородный дворец с парком и одна из самых дорогих в Европе конюшен арабских скаковых лошадей. Портреты президента банка господин Хаджибек видел только в газетах.

В приемной у Марии Мерзловской господина Хаджибека встретил молодой вышколенный секретарь с черными, гладко зачесанными волосами и горячим блеском в черных быстрых глазах.

— Да, графиня вас ждет. Вы записаны на пятнадцать часов десять минут,— отрывисто проговорил секретарь и указал господину Хаджибеку на бордовое кожаное кресло.

Хаджибек сел, огляделся: приемная была невелика, но блистала безукоризненной отделкой, кресло, в которое сел господин Хаджибек, показалось ему необыкновенно мягким, от него вкусно пахло дорогой тонкой кожей. Господин Хаджибек вспомнил неказистые комнатки своего банка и подумал, что надо бы ему переехать в более благопристойное здание: клиент должен чувствовать, что банк — это серьезно...

Необыкновенно высокие массивные двери кабинета бесшумно отворились, и в приемную выкатился пунцовый от возбуждения, обалдело сияющий сицилийский банкир, так называемый Леонардо-кругленький, господин Хаджибек имел удовольствие его знать, он даже открыл рот, чтобы поприветствовать коллегу, но в это время секретарь громко сказал:

— Господин Хаджибек, пятнадцать часов, девять минут, тридцать секунд — проходите! — и приоткрыл высокую дверь.

Господин Хаджибек вошел. Перед ним простирался зал с подлинниками старых мастеров на стенах, с персидскими коврами на узорном паркете (господин Хаджибек понимал толк в драгоценных коврах), с китайскими напольными вазами, каждая из которых стоила состояния среднего буржуа. Далеко впереди за огромным столом сидела Мария. Господин Хаджибек дрогнул, но она поднялась, вышла из-за стола и двинулась ему навстречу.

— О, дорогой господин Хаджибек, как я рада вас видеть, прошу сюда! — И она указала на отдельно стоящий круглый столик и два кресла за ним.— Чашечку кофе?

— Нет-нет!

— Тогда присаживайтесь.

«О, Аллах, если в таком кабинете управляющая, то в каком же огромном сидит сам президент банка?» — подумал господин Хаджибек и ошибся.

Президент банка занимал более чем скромную эркерную комнатку всего в девять квадратных метров (не зря он называл ее каютой), с тремя высокими узкими окнами, с недорогим маленьким письменным столом, с дешевой настольной лампой в зеленом стеклянном абажуре, которую он бережно пронес сквозь многие годы и мытарства, словно это была лампа Аладина. Когда-то давным-давно, в самом начале века, в бытность его молодым офицером французского военно-морского флота первая и горячо любимая жена Матильда купила эту лампу на Блошином рынке* и принесла в их тесную наемную квартирку как

* Блошинный рынок в Париже — знаменитая барахолка.

предмет невероятной роскоши. Матильда умерла при родах, оставив после себя вполне здоровенького, крепенького сына. На десятый день после ее похорон будущий президент банка попал под трамвай, ему отрезало левую ногу по голень. С морской службой пришлось расстаться навсегда. Двадцатисемилетний морской офицер-артиллерист оказался в чуждой ему гражданской жизни, как парусник, выброшенный на скалы. Сына взяли на воспитание его престарелые родители, а он сам начал свою карьеру с нуля. С детства он мечтал стать адмиралом и возглавить флот, а стал финансистом и возглавил крупный банк.

Банкир Жак был из отцов-основателей, из тех, кто сколачивает свои империи на ровном месте. Он сразу понял, что маленькие деньги зарабатываются тяжким трудом, а значит, надо идти к большим — надо рисковать, надо ввязываться в авантюры, надо научиться играть по тем правилам, которые давным-давно есть в подлунном мире, надо научиться *торговать воздухом*. Это не только о себе, но и о таких, как он, сказал, кажется, Рокфеллер, или Морган, или кто-то другой из больших: «После первого миллиона долларов я готов отчитаться за каждый цент».

Первые деньги он получил от посредничества. Родной брат его покойной жены Матильды был коммивояжером по продаже тканей и как-то спросил у него между двумя стаканами красного вина: «Слушай, адмирал Жак (он дразнил его адмиралом), а у тебя нет знакомых в военном министерстве?» Знакомые нашлись — накануне однокашник будущего банкира по офицерской школе получил хотя и маленький, но очень важный пост в министерстве. Так оно и завертелось, так и пошло: сделка за сделкой, деньга к деньге. Будущий банкир не жадничал, никогда не забывал делиться и вскоре стал своим и среди военных, и среди промышленников. От материи на штаны и куртки перешли к вооружению, сначала легкому, а затем и тяжелому. К началу первой мировой войны Жак еще не был банкиром, но уже сколотил порядочное состояние. За годы войны он приумножил его в десятки раз, перекупил старый банкирский дом и стал тем, кем он и был сейчас.

Президент банка давно уже жил в других измерениях, чем многие обычные люди. Он любил эту маленькую комнатку (каюту), любил носить одни и те же истончившиеся от стирок мягкие фланелевые рубашки, одну и ту же приношенную обувь, легкие брюки из гардероба младших морских офицеров, так что в своем банке среди одетых с иголки клерков он выглядел как бедный посетитель, забредший туда по ошибке. Он ел очень мало и очень простую пищу. Словом, он уже давно достиг того уровня понимания жизни, который отвергает всяческую мишуру. Он терпел свою вторую жену из некогда знатной фамилии, терпел двух дочек от нее, терпел и оболтуса сына от любимой жены Матильды.

Незаурядность его спекулятивного таланта обнаружилась с первых шагов на новом поприще: он умел увидеть проблему там, где другие ее не видели, заметить свободную нишу там, где другие ее не замечали, умел вникать в самое существо проблем и двигаться как бы внутри них; умел соединять, казалось, несоединимые потребности и возможности, а главное, он умел объединять, казалось бы, совершенно далеких друг от друга людей, умел привлекать их к общему делу, заряжать своей энергией, своим азартом.

У него была хорошенькая тридцатилетняя содержанка с нежной кожей и яркими фиалковыми глазами, весьма неглупая и без особых имущественных претензий, которую он навещал раз в неделю. Другие женщины его теперь не занимали. Хотя, если говорить о женщинах вообще, то, конечно же, он был равнодушен к ним до сих пор. Так что появление в его банке Марии он отметил немедленно, и не просто отметил, а вызвал к себе управляющего и спросил:

— Что, у нас теперь конкурс красоты? Вы кого берете на работу? Немедленно рассчитать!

— Но, господин президент, она очень образованна, она работает безукоризненно!

— Да? — Президент сделал большую паузу. — Ну ладно, принесите мне ее досье.

— Слушаюсь.

Досье Марии Мерзловской смутило президента. Мало того, что она окончила математический факультет университета, мало того, что графиня, мало того, что дочь адмирала, так еще и бывшая вольнослушательница Кадетского морского корпуса... Нет, это было уже слишком, старик разволновался не на шутку.

— Пригласите ее ко мне.

— К вам? Сюда? — в испуге прошептал управляющий.— Когда...

— Прямо сейчас.

— Слушаюсь...— Управляющий, пятясь, вышел из каюты. Еще никогда никого, кроме него, управляющего, не приглашал президент в свою каюту. Рушились десятилетние устои, мир покачнулся в глазах управляющего...

Мария и президент банка проговорили больше часа. Она поразила его воображение. Во-первых, простотой в общении с ним, сильным мира сего, во-вторых, богатым французским языком, в-третьих, знанием морской службы — это была первая знакомая президента, которая понимала разницу между крейсером, эсминцем, линкором, тральщиком, транспортом и т. д. и т. п. Словом, они оказались «свои в доску», они даже выяснили, что, будучи морским артиллеристом, президент читал в специальном журнале статьи адмирала Герасимова, признанного корифея в морской артиллерии.

— Я его крестная дочь,— сказала Мария.

— О, лё парэн* Герасимов, о! — Президент Жак даже привстал со стула. Он никогда не бывал в России, но заработал на войне с русскими, точнее, на их защите от красных, много денег, очень много. Так что ни Архангельск, ни Ревель, ни Кронштадт, ни Севастополь не были для него пустым звуком, названия этих прославленных русских военно-морских баз звенели для него золотым дождем.

— Сегодня же переходите работать в мой секретариат.— Господин президент нажал кнопку — тотчас явился управляющий.— Так, сейчас же переведите графиню в мой секретариат.

— Слушаюсь.

— Раз в две недели менять профиль ее работы. Она должна ознакомиться, хотя бы бегло, с полным объемом наших возможностей. А потом посмотрим.

— Слушаюсь.

Решение президента было беспрецедентным. Еще никому не давалась такая привилегия, как ознакомление с банковскими делами в полном объеме. Цель этой привилегии была понятна управляющему: Мария ознакомится не только с делами банка, но и с людьми — сверху донизу, многих узнает лично, вот что особенно важно.

Четыре месяца Мария проходила насквозь все банковские подразделения, а на пятый месяц президент назначил ее управляющей всеми региональными отделениями и посадил в тот самый устрашающе роскошный кабинет, где и увидел ее господин Хаджибек.

XXVII

Мария не принадлежала к кладбищенским туристам, к тем, кто ходит обычно, сбиваясь в кучки, от одной знаменитой усыпальницы к другой, пока не прочешут все аллеи и аллейки. Она не любила бывать на мемориальных кладбищах, где покоились особо важные персоны, а когда ей случалось посещать обычные кладбища, то ее воображение больше всего поражала черточка между датами жизни и смерти на памятниках и надгробных плитах. Черточка — вот все, что оставалось от человека со всеми его радостями и мучениями, мыслями и переживаниями, глупостями и разумными поступками. При этом та же самая черточка на памятниках великим людям совсем не трогала ее сердце, почему-то

* Крестный отец (франц.).

в ней не было того скорбного смысла... Почему? Мария не знала, но это было именно так... Может быть, потому, что великие были бесплотными, их как бы отделила от обычных смертных дымовая завеса величия.

Сербская часовенка у ворот обветшала, написанные на ее стенах лики православных святых поблекли, да и само сербское кладбище, предварявшее русские захоронения, было весьма запущено... Сербы бежали сюда от балканской резни прежде, чем русские от своих обманутых, ополумевших собратьев; сербов в этих местах уже фактически не осталось.

Наши лежали у невысокой каменной ограды французского кладбища, из-за которой протягивались к ним корявые ветки оливковых деревьев, готовых жить и плодоносить еще сотни лет.

Здесь было много Марииных знакомых, были даже ровесники и помоложе нее... Тот маленький синеглазый кадет из Севастопольской роты, что простудился здесь же, на этом кладбище, под дождем, когда в первую осень все они хоронили жену адмирала Герасимова Глафиру Яковлевну. Да, тот кадет был на полтора года моложе Марии, ему тогда еще не исполнилось и четырнадцати, он так и не поднялся, так и истаял... «Боже, как же его звали? Кажется, Алеша... да, Алексей...» Он лежал в гробу такой маленький, такой худенький, с прозрачным личиком... а перед тем, как отойти, говорят, звал маму... Если она была жива, то там, в России, наверно, услышала его предсмертный шепот, не могла не услышать... Его хоронили в ясный, погожий день африканской зимы, а ночью гремела гроза, лил дождь, безумствовал дикий ветер, и крыша над их бараком трещала и грохала полуоторванными досками и кусками жести. Мария запомнила тот день и ту ночь навеки — днем на кладбище она наплакалась со всеми вместе, а ночью, лежа на узком топчане в своей узенькой отгородке, все шептала в подушку: «Мама, мамочка! Где ты? Мама!» — И не было ни слезинки, только саднящая боль в груди, только ком в горле; казалось, еще чуть-чуть — и удушит, а доски и жечь все гремели над головой, а ветер с Сахары все выл и выл... И она казалась себе такой жалкой, такой одинокой, и было так страшно, что она стала вдруг дрожать всем телом и продрожала и простучала зубами до полного изнеможения, до полного забвения — и все смешалось, и явь, и сон, и бред, и была какая-то секунда перед тем, как она провалилась в темную яму беспомыслия, была секунда, когда в ее сознании промелькнуло, что она умерла, что вот и все... Она проспала до полудня следующего дня, ее не подняли ни горны побудки, ни шум ожившей казармы, ни уговоры проснуться жены дяди Паши тети Дарьи. А когда она наконец проснулась и вышла бодрая, как ни в чем не бывало во двор форта Джебел-Кебир, в чистом небе сияло мягкое зимнее солнышко, было тепло, тихо, благостно, все кадеты и гардемарины сидели по своим классам, занятия еще не кончились...

Мраморная плита на могилке ее крестной матери Глафиры Яковлевны треснула в двух местах, да и другие надгробья и кресты стояли без призора, где-то покосилось, где-то надломилось, сухая бурая трава, росшая клочками по всему русскому и сербскому кладбищу, скрывала надписи на многих надгробьях, а через невысокую каменную ограду было французское кладбище — чистенькое, ровненькое, ухоженное с европейской тщательностью.

— Я попрошу вас, господин Хаджибек, подыскать постоянного смотрителя для сербского и русского кладбища,— сказала Мария, возвращаясь к машине.

— Будет сделано, мадемуазель.

— Чем раньше, тем лучше. Пусть наймет рабочих — нужно привести кладбище в порядок. За мой счет.

— Будет сделано, мадемуазель,— уважительно повторил господин Хаджибек.

— Спасибо. Через неделю я приеду сюда еще раз,— сказала Мария, заводя мотор.— Ну что, поехали смотреть порт?

— Да, мадемуазель, поехали. За неделю здесь все приведут в порядок, вы не беспокойтесь.

Машина резво набрала ход. Белая дорога часто петляла.

«Боже мой, какая же я дура! Что я буду делать с кораблем, с этой грудой стали? И сколько он сдерет с меня? Боже мой, какая я дура! Я ведь могу остаться без гроша...» — так думала Мария, глядя вперед, на уплывающую под колеса белую известковую дорогу. Думать-то она так думала, но считать, что ошиблась, не считала: она хорошо помнила тот холодок под сердцем, тот порыв безумной отваги, что всегда предвещал самые лучшие ее решения, самые нечаянные и самые верные. Так было и на этот раз, когда она сказала, что покупает линкор «Генерал Алексеев». Решение вспыхнуло в ней мгновенно, а значит, она попала в десятку! Конечно, она еще не знала, что будет делать с кораблем и во что эта затея ей обойдется. Не знала, но шестое чувство подсказывало: надо идти ва-банк! И она пошла.

— Ваша цена? — неожиданно спросила Мария, ловко вписывая машину в поворот петляющей дороги.

— Что вы сказали? — Господин Хаджибек сделал вид, что не понял ее.

— Сколько?

— А-а, вы про корабль?

— Да. Я про корабль. Сколько?

Господин Хаджибек помедлил как можно дольше и назвал цену.

Цена показалась Марии вполне приемлемой.

— Побойтесь Бога, господин Хаджибек! — воскликнула она с чувством.— Вы хотите ограбить незащищенную женщину!

— Вы считаете, это дорого? Мадемуазель! Там же сотни тонн первоклассного металла,— с неменьшим пафосом произнес господин Хаджибек, а про себя подумал, что его вполне бы устроила и половина названной им суммы.

— И половина — это слишком! — читая его простенькие торговые мысли, с искренним возмущением в голосе выкрикнула Мария, перекрывая шум встречного ветра и шелест шин; о, как она была в эту минуту прекрасна: лицо ее разгорелось, глаза сияли, яркие полные губы исказила гримаса такого презрения, что господин Хаджибек невольно смутился и подумал, что, наверное, действительно задрал цену, в конце концов кто еще купит у него сейчас этот корабль... Тем более что денежки свои он давно выручил, да еще и подзаработал...

Мария вела машину молча, не глядя на господина Хаджибека, так, как будто его вообще не было с ней рядом.

— Но, мадемуазель... — робко пробормотал господин Хаджибек.

— Если хотите получить третью часть от объявленной вами суммы, то можете получить ее сегодня. Это мое последнее слово.

Несколько минут они ехали в молчании, ждали, кто уступит.

— Сегодня мы не успеем оформить сделку, — наконец сдался господин Хаджибек.

— Значит, завтра. По рукам! — И Мария, сбросив скорость авто, крепко, по-мужски, по-купчески пожала короткопалую длань банкира Хаджибека и одарила его ослепительной улыбкой.

Оба остались довольны друг другом: Хаджибек тем, что продал ненужное, а Мария тем, что купила за бесценок корабль, на котором приплыла сюда, в Бизерту, пятнадцатилетней девочкой.

XXVIII

Сделка по покупке корабля состоялась, все было оформлено должным образом, и Мария Александровна Мерзловская вступила во владение линкором «Генерал Алексеев».

Через неделю она взяла роскошную машину господина Хаджибека и чуть свет отправилась в Бизерту. Ей хотелось увидеть свой корабль один на один, без соглядатаев.

Гигантский дредноут* стоял на самом глубоком месте бухты Каруба — осадка не позволяла ему занять более выгодную позицию по отношению к берегу. От высокого борта корабля еще падала на синее зеркало бухты огромная тень, едва не достигавшая причалов, и от этого сам корабль увеличивался в объеме и казался просто невероятных размеров. Мария взяла с собой бинокль, обретавшийся в ее пожитках еще со времен их прихода в Бизерту из Константинополя, тот самый бинокль, что подарил капитану первого ранга Петру Михайловичу адмирал дядя Паша. Добрейший Петр Михайлович не передаривал бинокль Машеньке, но и не отбирал — можно сказать, она его заиграла. Стыдно, конечно, но так вышло. Может быть, она и отдала бы бинокль хозяину, но Петр Михайлович вскорости после их прихода в Бизерту как-то внезапно уехал в Марсель, а оттуда уплыл за океан, в Америку, к родственникам. Так что все получилось как бы само собой: он не напомнил, она не предложила... Зато теперь этот цейсовский восемнадцатикратный морской бинокль стал для нее единственной реликвией тех давних лет, реликвией, которую она связывала не с Петром Михайловичем, а только с дядей Пашей, с кумиром юных лет, оставившим в ее сердце вечную память и вечную жгучую тоску об их несбывшейся близости.

Когда-то с борта линкора она рассматривала в этот бинокль берег незнакомой страны, а теперь смотрела с этого берега на свой корабль... Приблизенный в восемнадцать раз, так что видна была каждая заклепка бронированных листов корпуса, ее корабль был прекрасен! Сердце Марии сладко дрожало от гордости и отваги: Боже мой, если бы пятнадцать лет назад кто-то сказал ей, что она купит линкор... Нет, этого не мог предугадать даже провидец дядя Паша. Хотя он ведь что-то такое говорил... Да, он говорил, что в Тунизии ей суждено стать богатой... Прямо на нее смотрели орудия главного калибра, изнутри их черных жерл еще поблескивали серебром капли утренней росы; чтобы прочистить такой ствол, артиллерист взлезал вовнутрь и там чистил, как в штольне. «Так вот оно, мое богатство! — вдруг озарило Марию. — Боже мой, почему они не демонтировали орудия? Какие идиоты! Немедленно назад, на виллу, немедленно перечтеть договор купли-продажи — по каждой букровке...»

Через полтора часа она уже читала в своем кабинете на вилле господина Хаджибека нотариально заверенные документы о ее праве на собственность: «...собственностью госпожи Марии А. Мерзловской, помимо корпуса корабля, являются также все установленные на нем сооружения, приспособления, механизмы как гражданского, так и военного характера, все предметы, сохранившиеся на корабле на момент настоящей покупки...» Все! Все! Все! Это все, что требовалось доказать!

Мария передала через служанку, что ей нездоровится, и не вышла к завтраку. Не раздеваясь, в дорожном костюме с брюками галифе и в мягких полусапожках она лежала на тахте навзничь, отодвинув подушку, и в голове у нее от возбуждения не было ни одной мысли, ни единой, а только гул... только ошеломляющая пустота после нечаянной встречи с Ее Величеством Фортуной — лицом к лицу... Кажется, жизнь вдруг повернулась к ней... Да, этот факт теперь даже заверен нотариально. Она уснула и спала долго, пока не поскреблась в дверь младшая жена Хаджибека Фатима и не пригласила ее к обеду.

Стол под белоснежной скатертью был накрыт на три персоны и сервирован на французский лад. Прислуживал молодой курчавый бербер в белых нитяных перчатках, белых брюках, белых туфлях, в короткополой синей тужурке с золочеными пуговицами — точь-в-точь как в каком-нибудь дорогом парижском ресторане.

— Графиня, я хочу вам представить великого археолога Сержа Пиккара, — церемонно произнес господин Хаджибек, указывая на поднявшегося вместе с

* Дредноут (англ. dreadnought, буквально — бесстрашный) — название английского броненосца (постройки 1905—1906 гг.), ставшее нарицательным именем мощных линейных кораблей периода первой мировой войны. В первой половине XX века этот класс кораблей (линкоры) водоизмещением до 60 тысяч тонн составлял главную силу военно-морского флота. Можно сказать, что линкоры были предшественниками современных авианосцев.

ним из-за стола коренастого мужчину лет сорока с очень загорелым светлоглазым невыразительным лицом.

— Мари.— Она доброжелательно протянула ему руку для поцелуя.

Господин Пиккар склонился к ее руке так низко, что она смогла в упор разглядеть его черноволосую голову с круглой лысинкой посередине и лопухие, коричневатые от загара уши, шелушащиеся по краям нежной восковой кожицей. Губы у мсье Пиккара были сухие, Мария это отметила с одобрением, но он припадал к ее руке чуть дольше, чем требовали приличия, и она дала ему об этом знать едва заметным поворотом кисти. Мсье Пиккар расценил этот ее жест как щелчок по носу, шея его побагровела, он распрямылся с подчеркнутым достоинством и вызывающе взглянул в лицо Марии.

«Ишь ты, с характером дядечка!» — с издевкой подумала про мсье Пиккара Мария, отвечая на его дерзкий взгляд совершенно наивным сиянием своих глаз.

— Ну как вы нашли свой корабль? — спросил ее господин Хаджибек.

— Лом как лом, — с искренним равнодушием вздохнула Мария, первой усаживаясь за стол — она осталась в этом мире одна в пятнадцать лет, у нее были суровые учителя и недюжинные актерские способности.

— Не жалеете?

— Дело сделано — чего жалеть? Все-таки, слава Богу, я могу позволить себе такую причуду, как купить останки корабля, на котором приплыла в этот край. О, как вкусно пахнет! — восхитилась Мария, когда слуга поставил на стол блюдо дымящейся баранины с жареным луком. — Какая прелесть! — И она одарила юного бербера такой обворожительной улыбкой, что у того перехватило дыхание.

«Она кокетничает со слугой, а меня будто бы и нет рядом. Ладно... еще посмотрим... — думал мсье Пиккар, стараясь справиться с раздражением. — Мы еще посмотрим, графиня... еще посмотрим...»

— Так что это вы купили, графиня? — спросил он Марию как ни в чем не бывало.

— Графиня купила у меня дредноут, — ответил за нее господин Хаджибек, — корабль...

— Не корабль, а то, что осталось от него через пятнадцать лет. Я купила у моего друга господина Хаджибека несколько сотен тонн стального лома, — пояснила она, оборачиваясь к Сержу Пиккару.

— Надо отметить сделку шампанским! — наигранно весело предложил мсье Пиккар.

Подали шампанское в серебряном ведре с холодной водой за неимением льда.

— У нас, по русскому обычаю, принято чокаться, — сказала Мария, — вот так! — И она стукнула легонько своим бокалом сначала по бокалу господина Хаджибека, а затем мсье Пиккара.

— Хороший обычай, — сказал Пиккар, — звон бокалов услаждает слух.

Мария, не церемонясь, выпила свой бокал шампанского до дна — она знала, за что пила! Пила и думала: «Господи, спасибо тебе, Господи!» А перед глазами стояли жерла орудий главного калибра.

Мужчины последовали ее примеру и тоже выпили свои бокалы до дна.

Мария чуть захмелела, подобрела и попросила мсье Пиккара:

— Господин Пиккар, расскажите о своих открытиях. Например, расскажите мне о Карфагене, пожалуйста, я буду вам очень признательна.

— Рассказывать о Карфагене можно очень долго, — вдохновенно сказал мсье Пиккар. Его голубые глаза стали как будто бы больше, в них засветился живой огонек. — Карфаген — это моя тема, моя жизнь... Например, мало кто знает, что... — И тут он пустился в долгий и весьма красочный рассказ об отце Ганнибала Гамилькаре, о тех временах, когда Карфаген был могучим соперником Рима...

Мария с удовольствием слушала вдохновенный рассказ мсье Пиккара, от-

мечала, что многого о Карфагене она действительно не знает, что Серж Пиккар не так прост, как показался ей на первый взгляд, все отмечала, все слушала, а сама думала о своем. На «Генерале Алексееве» было пятьдесят трехорудийных башен — сто пятьдесят стволов... А почему бы их не установить на берегу?.. Ее крестный отец адмирал Герасимов вместе с ее родным отцом ведь демонтировали орудия с кораблей и установили их в береговой обороне Порт-Артура... Да, но кто их купит?.. Конечно, был бы жив ее благодетель банкир Жак... Был бы он жив, и она бы не оказалась сейчас здесь, в Тунизи... Ничего-ничего, надо искать ходы в военном министерстве Франции, надо ехать в Париж..

— В Париж,— промолвила она, забывшись.

— Что вы сказали, мадам? — удивленно переспросил ее мсье Пиккар, которому казалось, что она вся — внимание, что лучшего слушателя нельзя и придумать.

— Мадемуазель,— ласково взглянув на мсье Пиккара, поправила Мари.

XXIX

С молоком матери всосала Машенька уважение к военным людям. В те времена, когда она возрела в России, военная служба считалась привилегией — и важной, и почетной, и благородной. Все знатные фамилии неукоснительно отдавали своих сыновей в армию и на флот. Не зря самые любимые читателями, и в особенности читательницами, герои русских классиков — военные: Петр Гринев из «Капитанской дочки», Григорий Печорин из «Героя нашего времени», Андрей Болконский из «Войны и мира»... Даже штатский Чехов, и тот не обошел военных своим вниманием: «Дуэль», «Три сестры».

Повзрослев на чужбине, Машенька стала интересоваться: «Как же все это случилось? Как они упустили Россию?» Со многими участниками гражданской войны она переговорила с глазу на глаз, прочитала множество документов, воспоминаний. И пришла к странной мысли: русское офицерство подвело воспитание. Военные были воспитаны в духе благородства, чести, доблести, они знали, как воевать «по правилам», и не умели подличать: русские офицеры не смогли противостоять тем потокам лжи, вероломства, бесчестья и изуверской низости, что обрушили на них новые захватчики России. Например, они не были способны даже вообразить, что можно обнародовать Верховный указ о всеобщем помиловании тех, кто добровольно разоружится, и, едва приняв оружие, тут же начать расстреливать беззащитных тысячами, как это случилось в Крыму. Или соорудить первый в мире концлагерь за колючей проволокой, в чистом поле, как это было на Тамбовщине, согнать туда из окрестных деревень женщин, детей, стариков и расстреливать их из пушек шрапнелью* прямой наводкой. Да, русское офицерство и наша прекраснодушная интеллигенция оказались не готовы к расправе, не поверили, что в народе вдруг объявится столько способных к палачеству. Если бы палачами были лишь те, кого прислали в Россию в запломбированных вагонах, то ничего бы у них не вышло... Но, увы, слишком многие кинулись им помогать и служить, слишком многие почуствовали вкус к насилию и убийству. Пусть их одурачили, но какое это имеет значение? Интересно то, что и значительная часть русских эмигрантов не верила ни в крымскую, ни в тамбовскую, ни в другие расправы и ужасы. Слушали, кивали, а потом говорили невнятно: «Так-то оно так, да хорошо бы узнать от очевидцев...» Потом, во вторую мировую войну, эта история повторилась. Когда людям рассказывали об Освенциме, о том, что немцы сжигали в крематориях живьем, то слушающие обычно тоже кивали: «Так-то оно так, да хорошо бы узнать от очевидцев...» И не верилось им, что очевидцы вылетели в трубу... Да и как поверить? Разве какая-нибудь чеховская инсти-

* Шрапнель (по им. англ. изобретателя Н. Shrapnel) — артиллерийский снаряд для поражения открытых живых целей. Состоит из корпуса с помещенным в нем вышибным зарядом, поражающими элементами (пулями, стержнями, гвоздями и т. п.) и дистанционной трубки.

тутка, или студент, или Ионыч, архиерей или дама с собачкой, или подполковник Вершинин могли себе представить, например, такую картину... Петр Гринев, Григорий Печорин или Андрей Болконский предлагают своему противнику: «Бросай оружие и иди на все четыре стороны! Я тебя не трону, даю слово!» Противник бросает оружие, поворачивается спиной, чтобы идти на все четыре стороны, и тут же получает пулю в затылок от Гринева, Печорина или Болконского. Нет, такое и в голову никому не могло прийти, а вот *товарищам* пришло, и они легко преступили все запреты и заповеди. Преступник потому и называется преступником, что он преступает запретную черту, перед которой нормальный человек останавливается.

Подавляющее большинство борцов за светлое будущее действовало не под родными фамилиями, а под псевдонимами или под кличками. В эмигрантской прессе так и писали: «В России к власти пришли псевдонимы». Случайно ли это? Вряд ли. Осознанно? Скорее всего нет. Инстинктивно. Все крупные негодяйства в мире всегда совершаются именем правды, добра и справедливости. Ну как тут не спрятаться за псевдонимы?

Из русских классиков один Достоевский намекнул на *светлое будущее* России в своих «Бесах». Все другие промолчали, не поверили ему, не захотели поверить, побоялись разрушить комфорт сложившихся представлений о добре и зле. Хотя в Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля все они могли прочитать и, наверное, читали то, что было записано черным по белому: «Коммунизм — это учение о равенстве всех сословий и о праве на чужую собственность». Значит, и на чужую жизнь...

Достоевского у них в семье как-то не любили, он как-то не читался, не шел. И до сих пор Мария возила с собой из страны в страну только Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Чехова.

Какое чудо — книги! За каменными стенами виллы господина Хаджибека свирепствует песчаный бурян, ударяет пригоршнями песка в толстые деревянные ставни, подбитые войлоком. Еще минуту назад настроение у нее было отвратительное, голова ватная, но взяла томик Чехова, прилегла на тахту, раскрыла любимые «Три сестры», и вот она — Россия... и все забыто — и ветер, и песок, и жара, и сама Тунисия...

XXX

«ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; Маша в черном платье, со шляпкой на коленях сидит и читает книжку, Ирина в белом платье стоит задумавшись.

ОЛЬГА. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет...

Часы бьют двенадцать.

И тогда также били часы.

Пауза.

Полно, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

ИРИНА. Зачем вспоминать!

За колоннами, в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленьий.

ОЛЬГА. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.

ЧЕБУТЫКИН. Черта с два!

ТУЗЕНБАХ. Конечно, вздор.

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.

ОЛЬГА. Не свисти, Маша. Как это ты можешь!

Пауза.

Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта...

ИРИНА. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву...

ОЛЬГА. Да. Скорее в Москву.

Чебутыкин и Тузенбах смеются».

«А чему они, собственно, смеялись, эти Чебутыкин и Тузенбах? — подумала Мария, заправляя зеленую шелковую ленточку ляссе между страницами чеховских пьес.— Наверняка, как всегда у Чехова, каждый из них смеялся своему». Она закрыла томик и положила его рядом с собой на тахту, под бочок. Она любила читать лежа, валяясь полуодетая на тахте, — это было так уютно, так сладко, особенно с томиком любимого Чехова, как будто бы она у себя дома, в Николаеве... и вот-вот приоткроется дверь ее, Машенькиной, комнаты, заглянет мама и, ласково сияя своими необыкновенно светоносными глазами, насмешливо спросит: «Ну что, суфлер Маруся, разобрала пьесу, не собьешься, не перепутаешь роли? А вдруг у тебя в будке свет погаснет, помнишь, как зимой?» «Да пусть гаснет, хоть в суфлерской, хоть на сцене, хоть во всем городе! — запальчиво ответит ей Машенька.— Я всю пьесу наизусть знаю! Я все роли знаю! И за Ирину, и за Ольгу, и за Машу, и за Вершинина, и за Тузенбаха — за всех! Даже за Федотика и за Роде! И за этого противного Соленого! И за эту противную Наташу в зеленом поясе! И за всех других!» «Да,— скажет мама,— память у тебя славная. А когда подрастешь, кого бы ты хотела сыграть?» «Конечно, Ирину,— не раздумывая ответит Машенька,— она ведь самая младшая из трех сестер и в белом платье — мне к лицу белое!.. А папа будет на нашем спектакле в Морском собрании?» «Папа? Не знаю, если позволят дела». «А ты его попроси, ма. Все так хотят, чтобы он был». «Хорошо, я его попрошу».

Боже мой, когда это было и было ли вообще? Россия... любительские спектакли... отец адмирал, присутствия которого все так хотели, большой зал Морского собрания, суфлерская будка, оклеенная изнутри папье-маше, такая тесная-тесная, пахнущая мышами, такая таинственная и прекрасная суфлерская будка, и Маша в ней, с текстом в руках... И вот наконец третий звонок — «театр уж полон, ложи блещут». Пошел занавес, и на сцене три сестры: одна в синем, другая в черном, а младшая в белом платье... А между тем идет первая мировая война, русские воюют с немцами, и черноморский флот действует не только в Черном, но и в Средиземном море, и, как всегда, в России все говорят о светлом будущем, о том, что еще чуть-чуть, и жизнь наладится, и никто не чувствует, что все они ходят по краю, что вот-вот разверзнется бездна всенародного безумия...

Томик чеховских пьес под рукой, а за толстыми каменными стенами виллы Хаджибека воеет и воеет изнуряющий тело и душу сирокко — сухой, жаркий ветер Сахары. Сирокко несет потоки песка и пыли, яростные, звенящие потоки,

от которых ветки оливковых деревьев становятся с годами уродливо корявы и наклонены с юга на север, как будто причесаны стальной гребенкой.

Снаружи окно кабинета Марии плотно закрыто деревянными ставнями, подбитыми войлоком, а изнутри завешено тяжелыми портьерами, но все равно день и ночь слышно, как скребет песком и поддывает неутомимый сирокко. Мария думает сразу о многом: о маме, о сестренке — у нее ведь была сестра... Почему это была? Наверняка есть... Где они? Сколько она их искала... Наверно, не сели на корабль, не повезло, остались в России... А может быть, им и не так уж плохо сейчас... кто знает, как сложилась жизнь? Потом она вспоминает Бизерту 1922 года, первых лет изгнания... форт Джебель-Кебир, кипучую жизнь Морского корпуса. Да-да, в те годы она еще была именно кипучей — полной надежд на светлое будущее, полной молодой, нерастраченной энергии. А вокруг форта шел глубокий крепостной ров, широкий, как театральный зал, там, на свежем воздухе, они и ставили тогда «Трех сестер»...

«ТУЗЕНБАХ (Соленому). Такой вздор говорите, надоело вас слушать. (Входя в гостиную.) Забыл сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. (Садится у пианино.)

ОЛЬГА. Ну, что ж! Очень рада.

ИРИНА. Он старый?

ТУЗЕНБАХ. Нет, ничего, самое большее лет сорок, сорок пять...»

Она суфлировала этот спектакль в Морском собрании Николаева семнадцать раз, а сыграть так и не удалось — были барышни постарше... «Куда тебе в двенадцать лет — Ирину, ты что! Подрасти, дружок!» — помнится, осадил ее режиссировавший спектакль седовласый доктор из штатских, которого все звали «наш Станиславский». Ах, как она увлекалась любительскими спектаклями! В их театре было так интересно, не то что в будничной гимназической жизни — уроки, уроки, уроки!

Мария раскрыла книгу и прочла только что приведенную ею по памяти цитату из пьесы — да, все верно, она была хорошим суфлером. А сирокко все свирепствовал за окном, все бросал о ставни пригоршни раскаленного песка, все кружила и выла проклятая африканская метель.

XXXI

«ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого акта. Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Наталья Ивановна в капоте, со свечой; она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея».

А в глубоком и широком, как театральный зал, крепостном рву французского колониального форта Джебель-Кебир весело стучат молотки — гардемарины-плотники сооружают подмости. Здесь же, на выложенных диким камнем стенах рва, гардемарины и кадеты-художники натянули куски парусины и пишут на ней гуашью декорации. А на площадке надо рвом, у крепостного вала, поросшего жесткой, как проволока, серой кустистой травой, репетирует оркестр. Режиссирующий спектакль корпусной врач (опять врач, как и в Николаеве, наверное, у военных врачей жилка к режиссированию) когда-то окончил два курса Московской консерватории и не только знает и любит, но и сам сочиняет музыку. А оркестр у них в Морском корпусе отменный и хор великолепный — есть у мальчишек такие голоса, что просто чудо! Да и Машенька тут не из последних — Бог наградил ее и слухом, и голосом, пока еще не окрепшим, ломким, но в этой ломкости есть своя прелесть. Когда запекает она на марше своей роты, сердца кадетов замирают от страха — вот-вот сорвется милая Маша и пустит петуха! Но она вытягивает, и все, шагающие рядом в строю, счастливы, все улыбаются, все гордятся ею!

Над Черным морем, над белым Крымом,
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною градом,—

выводит Машенька их любимую, их страшную песню про них самих, песню, написанную корпусным врачом на стихи какого-то молодого эмигрантского поэта*, вычитанные в эмигрантской газете. Хорошо поет Маша, ее пронзительный и нежный голосок, да и слова песни трогают сердце каждого, и рота подхватывает припев с такой восторженной, такой горькой силою, что песня летит далеко-далеко:

И ангел плакал над мертвым ангелом,
Мы уходили за море с Врангелем.

И еще раз:

И ангел плакал над мертвым ангелом,
Мы уходили за море с Врангелем.

Песня летит с трехсотметровой горы, на которой расположен форт, давший приют Севастопольскому морскому корпусу; летит над серыми обветренными скалами, над светло-зелеными садами и виноградниками тунизийцев, над их более темными оливковыми рощами, над лазурным морем, над зальсинами прелестных песчаных пляжей, на которых так славно веселиться, над петлями известняковых дорог, летит чуть ли не до самой Бизерты — до белого города, так похожего на Севастополь, что лежит по прямой в трех километрах от прямоугольного, высеченного в скалах форта с его неприступными казематами, крохотные окна которых забраны литыми чугунными решетками.

Над Черным морем, над белым Крымом,
Летела слава России дымом.

И ангел плакал над мертвым ангелом,
Мы уходили за море с Врангелем.

...уходили и ушли. И слава Богу! Кто знает, были бы они живы в России? Вряд ли. Скорее всего вместе с десятками тысяч других в Крыму расстреляли бы их ночью из пулеметов и присыпали в траншее, вырытой ими собственноручно. А здесь продолжалась их жизнь, их молодость... цвели и плодоносили арабские сады. Ах, эти арабские сады и виноградники, сколько было связано с ними шкгоды! Да, они были кадеты, да, они были гардемарины, но все-таки они были прежде всего мальчишки, их тянуло на сладкое, и «обносить сады» считалось делом отваги, доблести и геройства. И тут их не останавливали ни тунизийские сторожа, ни злые собаки, ни угрозы карцера от корпусных командиров. Примерно через час после отбоя, когда затихала казарма, босые, с сандалиями корпусного производства в руках (эти сандалии на толстой резиновой подошве назывались у них «танками»), затаив дыхание, прокрадывались они на цыпочках мимо дежурных, ускользали из форта на волю, в сады... Машенька не участвовала в этих вылазках, ее подмывало, конечно, но она считала себя слишком взрослой, хотя и охотно принимала дары поклонников — и гроздь сладчайшего винограда без косточек, и румяный ароматный персик — когда что, по сезону...

А изнуряющий жаркий сирокко все скулил за окнами виллы Хаджибека, все полосовал зарядами песка и пыли деревянные ставни, плотно подбитые войлоком. Сирокко — ветер, при котором по арабским законам даже убийства бывают оправданы судьями,— ветер безумия. Из дома в такие дни лучше не выходить без особой нужды: взвесь мельчайших песчинок немедленно забьет глаза, уши, ноздри, будет скрипеть на зубах, просочится сквозь одежду и обувь. В такие дни у многих страшно болит голова, особенно у женщин. К счастью, Мария не ощущала этого на себе, конечно, состояние было чуть сумеречное, как гово-

* Стихи Владимира Смоленского.

рила она, «тупое», но в общем вполне терпимое, особенно сейчас, в доме за крепкими ставнями, за портьерами, да с томиком Чехова под рукой — чего Бога гневить?! Все очень даже неплохо. Непонятно, что делать ей с кораблем, с линкором, что стоит теперь на правах ее собственности в бухте Каруба, и, между прочим, за стоянку надо платить аренду местной военной администрации... Денежки небольшие, но если она ничего не придумает, то со временем только на этой аренде можно вылететь в трубу! Надо ехать в Париж, надо искать пути в военном министерстве...

В дверь поскреблись. Это у младшей жены господина Хаджибека Фатимы была такая манера — скрестись в дверь.

— Входите! — сказала Мария по-французски.

Обе жены господина Хаджибека довольно сносно говорили по-французски. Старшая жена похуже, а младшая почти совсем хорошо, все-таки она окончила французский колледж в городе Тунисе и даже бывала в Париже. С тех пор как жены поняли, что Мария не рвется в наложницы к их супругу, что она совсем не для этого приехала из Франции, они стали относиться к ней самым лучшим образом. Старшая жена Хадижа была бездетна, а у младшей — Фатимы родились от Хаджибека два сына — старший Муса и младший Сулейман, сейчас одному три, а другому два годика, оба очень хорошенькие, в мать, миниатюрные, нежные, с большими черными глазами, с тонкими чертами смуглых мордашек — прелесть, а не мальчики! Мария считалась их воспитательницей, но из-за текущих банковских дел пока еще не занялась ими как следует, зато сразу начала... говорить с ними только по-русски: для нее это была игра и радость, она поставила себе цель — научить мальчиков русскому языку, а арабский и французский они и так узнают, куда им деваться? Она решила устроить себе в доме Хаджибека маленькую Россию — главное, чтобы было с кем поговорить по-русски! Язык — это жизнь, это стихия, это основа основ всякой нации. Маленькие Муса и Сулейман могли спать спокойно: помимо арабского и французского им теперь был обеспечен еще и русский язык. Если уж Мария ставила себе цель, то она ее добивалась, так было во всем — кроме того, что принято называть личной жизнью... Она дожила до тридцати лет, а своей семьи у нее пока не было, видно, такая ее доля, однолюбая...

В доме Хаджибека Мария впервые столкнулась с арабской семьей так близко, вплотную, и она пришлась ей по душе. Марии нравились отношения между женами, как между старшей и младшей сестрой, — Хадиже было за тридцать, а Фатиме исполнился двадцать один год. Нравилась их любовь к детям, притом бездетная Хадижа считала мальчиков такими же своими сыновьями, как и Фатима, малыши звали обеих «мама». Фатима была с детьми довольно сурова, хотя и нежна, и заботлива в то же время, а Хадижа источала одну только нежность, она буквально плыла от каждого обращения к ней того или другого мальчугана. Хадижа руководила в доме прислужой и поваром, раз в неделю она ритуально ездила с поваром в Тунис за продуктами, за французскими сырами, кофе, чаем, сладостями и за местными сплетнями, она была из богатой берберской семьи и вела дом с привычным для нее размахом, за столом, как говорится, только птичьего молока не было. Фатима происходила из полукочевой бедуинской семьи, считавшейся бедной, хотя бедность у бедуинов — понятие весьма относительное: у отца Фатимы было четыре жены, а у Фатимы шесть сестер и четыре младших брата, и всем им были обеспечены и стол, и кров. В семье Хаджибека Мария как никогда остро, предметно почувствовала и осознала власть условностей: все, оказывается, зависит от правил, по которым живет общество: установили в мусульманском мире правило многоженства, и всем представляется вполне нормальным, когда у одного мужчины две, три, четыре жены. Главное — договориться о правилах. «Чеховским трем сестрам да одного бы мужа — какая прелесть! Например, Вершинина, а?» — усмехнулась Мария, откладывая книгу.

— Да,ходи,ходи,Фатима! Вот церемонная девочка!

Дверь наконец приоткрылась, и робко, бочком, в комнату вошла Фатима. Ее прекрасные черные глаза косили от боли и стали совсем тусклыми, помутнели.

— Болит?

Фатима кивнула, пытаюсь улыбнуться.

— Ложись, я тебя полечу.— Мария уступила ей тахту.— На спину ложись. Расслабься... постарайся совсем расслабиться. Закрой глаза. Спи. — И она стала делать ей легкий полувоздушный массаж висков, надбровных дуг, шеи. Это еще дядя Павел научил Марию лечить «наложением рук», что в то время называли знахарством. Он считал, что у нее есть та редкая энергия, которая была и у него. «Я тебя научу, Маруся, потому что тебя можно научить, а тысячу других я не смогу научить, потому что Бог не дал им той силы, что дал мне и тебе»,— так говорил дядя Павел. И она училась у него с восторгом и усвоила многие уроки, в том числе и уроки гипноза, это ей так же было дано, как и ему. Фатима легко вошла в транс.

— Спи, милая, спи. Чуть-чуть — и все пройдет, и голова у тебя не будет болеть. Не будет болеть голова. Не будет болеть голова...

Фатима была в забытии минут пять — семь, она очнулась бодрая, ее прекрасные черные глаза сияли.

— О, Мари! О, Мари! Я как будто заново родилась! Хадижа тоже хочет, но она стесняется. У нее тоже сильно болит голова.

— Так пусть приходит. Нет, не сейчас, а часа через два, я должна отдохнуть. А как мальчишки?

— Играют в детской.

В доме господина Хаджибека все было на европейский лад: детская, спальни, кабинеты, столовая, кухня в полуподвале и там же комната для прислуги.

— А когда наконец кончится сирокко?

— Еще девять дней. Мало. В пустыне сейчас плохо. Мои сейчас в пустыне. Скоро отец придет в гости, посмотреть внуков.

— Он у тебя настоящий бедуин?

— Самый настоящий! — радостно засмеялась Фатима, сверкая белыми ровными зубами.— Я у него одна в городе, все остальные в пустыне.

— Я обожаю пустыню! — сказала Мария.— Когда придет твой отец, ты нас познакомишь?

— С удовольствием!

— Я хочу попутешествовать по пустыне, он согласится быть моим проводником?

— Конечно.

— Договорились. Так пусть Хадижа приходит часика через полтора-два.

Как и вошла, Фатима так же бочком вышла из комнаты, осторожно приотворив за собой дверь, а Мария снова легла на тахту и открыла Чехова.

«ИРИНА. Бобик спит?»

НАТАША. Спит. Но беспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да все то тебя нет, то мне некогда... Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись пока к Оле!

ИРИНА (не понимая). Куда?

Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенцами.

НАТАША. Ты с Олей будешь в одной комнате, пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка, сегодня я ему говорю: «Бобик, ты мой! Мой!» А он на меня смотрит своими глазеночками.

Звонок.

Должно быть, Ольга. Как поздно!

Горничная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо.

НАТАША. Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. (Смеется.) Какие странные эти мужчины...

Звонок.

Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться... (Горничной.) Скажи, сейчас.

Звонок.

Звонят... Там Ольга, должно быть... (Уходит.)

Горничная убегает; Ирина сидит, задумавшись; входят Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин.

КУЛЫГИН. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер.

ВЕРШИНИН. Странно, я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженых...»

Да, ждали ряженных, но Наталья Ивановна отменила праздник, якобы чтобы не тревожить ее деток, а сама тут же поехала с Протопоповым кататься на тройке с бубенцами на ночь глядя... Незатейливая она, конечно, ни деликатности в ней, ни искренности, но ведь она рождает и воспитывает детей, она ведет дом, а три добродетельные сестрички все стонут: «В Москву! В Москву!» Как будто бы они не повезут в Москву самих себя, как будто бы зря сказано: «Везде хорошо, где нас нет!» — так думала Мария теперь, а тогда, в неполные семнадцать лет, в крепостном рву форта Джебель-Кебир, она горячо ненавидела Наталью Ивановну, презирала ее мужа Андрея, обожала всех трех сестер, милого старика Чебутыкина, некрасивого барона Тузенбаха, Вершинина... Что касается последнего, то Вершинин стоял для нее совершенно отдельно от других, словно на пьедестале, — играть роль Вершинина уговорили адмирала дядю Пашу. Вот в чем было счастье!

XXXII

«ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложиться спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в черное платье. Входят Ольга и Анфиса.

...НАТАША. Там говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят как ни в чем ни бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети.

ОЛЬГА (не слушая ее). В этой комнате не видно пожара, тут покойно...

НАТАША. Да... Я, должно быть, растрепанная. (Перед зеркалом.) Говорят, я пополнила... и неправда! Ничуть! А Маша спит, утомилась, бедная... (Анфисе, холодно.) При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

ОЛЬГА (оторопев). Извини, я тоже не понимаю...»

И далее Мария не читает уже все подряд и не сверяет с книгой, а так, выхватывает из памяти кусочки текста...

Она выхватывает из памяти кусочки чеховской пьесы, а сирокко все свирепствует за окном, все дует, все завывает, все скребется о ставни, все надеется ворваться в дом.

«...Ирина, Вершинин и Тузенбах входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

ИРИНА. Здесь посидим. Сюда никто не войдет.

ВЕРШИНИН. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! (Потирает от удовольствия руки.) Золотой народ! Ах, что за молодцы!

КУЛЫГИН (подходя к ним). Который час, господа?

ТУЗЕНБАХ. Уже четвертый час. Светает...

...ВЕРШИНИН. На пожаре я загрязнился весь, ни на что не похож.

Пауза.

Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в Царство Польское, другие — будто в Читу.

ТУЗЕНБАХ. Я тоже слышал. Что ж? Город тогда совсем опустеет.

ИРИНА. Мы уедем!

ЧЕБУТЫКИН (роняет часы, которые разбиваются). Вдребезги!

Пауза; все огорчены и сконфужены.

КУЛЫГИН (подбирая осколки). Разбить такую дорогую вещь — ах, Иван Романьч, Иван Романьч! Ноль с минусом вам за поведение!

ИРИНА. Это часы покойной мамы.

ЧЕБУТЫКИН. Может быть... Мамы так мамы. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет...»

По пьесе Чебутыкин пьян, но вопрос-то очень трезвый? Действительно, может быть, нам только кажется, что мы живем, что мы — это мы, а не инфузория-туфелька... Мария ощупала свои бедра, предплечья, грудь — все такое живое, упругое, теплое. И как же ему не быть теплым, если жизнь и есть сгорание; кто горит ярко, кто тускло, кто-то вообще тлеет, но горят-то все. Все, что еще мгновение назад вроде бы было твоим, сгорело заживо и тут же кануло в бездонную пропасть минувшего. Как писал Леонардо да Винчи: «Это вода в реке — последняя из той, что утечет, и первая из той, что прибудет». Пьесы Чехова тем и сильны, думала Мария, что в них вечные вопросы, на которые нет ответа, ставятся в обыденной жизни, и задают их друг другу не философы, а обыкновенные мужчины и женщины, способные думать и чувствовать. Конечно, есть люди первичных эмоций, такие, как Наталья Ивановна, а есть такие, как сестры Ольга, Маша, Ирина. Первые без затей и сомнений обладают своей жизнью, поглощают ее как продукт; все житейские проблемы они решают по мере их поступления и, как правило, только в свою пользу. Вторые сомневаются в себе, в своих поступках, задают себе и окружающим вечные вопросы, на которые нет ответа; они всегда только собираются, только настраиваются жить где-то в светлом будущем. Ах, это светлое будущее — сколько вреда принесло оно русским, эти вечные наши разговоры о светлом будущем, что-то вроде подслащенной отравы... И в 1917 году народ не белены объелся, а именно пустопорожних разговоров о светлом будущем. Русские классики тоже здесь поработали, тоже невольно приложили руку... Если бы Чехов...

В дверь постучали, но Мария не ответила, пока не додумала свою мысль:

...Если бы Чехов дождал до революции, то наверняка остался бы в России, и его бы шлепнули в Крым или сгноили в темнице в порядке благодарности за беседы о светлом будущем...

— Войдите!

Вошла старшая жена господина Хаджибека Хадижа. Она была не красавица, но и не дурнушка. Рослая, сухощавая, с высокой грудью, с несколько крупноватыми, но правильными чертами выбеленного лица и, что непривычно для здешних женщин, не с черными, а с серыми, небольшими, но очень выразительными глазами, светящимися живым умом. Господин Хаджибек побаивался свою старшую жену и советовался с ней по каждому поводу и без повода. «Надо спросить у Хадижи. Как скажет Хадижа?» — это вопрос-восклицание не сходил с его уст. Мария сразу смекнула, что к чему, и постаралась в считанные дни расположить к себе обеих женщин. А теперь, когда во время сирокко она начала еще и лечить их от головной боли, обе прониклись к ней глубочайшим почтением. Фатима была глупенькая, хотя и с большим чувством юмора, просто для нее вся жизнь еще была в диковинку, и она простодушно этого не скрывала. Хадижа отличалась ясным природным умом, была иронична, порой язвительна, умела и любила поговорить, так что иногда они с Марией болтали часами и обо всем подряд, как говорила Хадижа: «обо всем, что в рот попадет». Конечно, Мария в таких беседах была не бескорыстна — она ведь собиралась обосноваться здесь, в Тунизии, надолго, собиралась вести серьезные дела, а Хадижа хорошо знала

тунизийское высшее общество, все его пружины, была, что называется, принята в лучших домах, и с ее умом и приметливостью стала для Марии просто неоценимым осведомителем, притом совершенно добровольным и бесплатным. Десяток бесед с Хадижей ни о чем и обо всем дали Марии такое потенциально нужных ей людей, которое она бы не получила и за десять лет.

— Ты всегда читаешь, а я не люблю читать, — сказала Хадижа, трогая красивыми ухоженными пальцами томик Чехова.

— Это мой любимый писатель Чехов, ты когда-нибудь слышала о нем?

— Да, я смотрела в Париже его пьесу «Три сестры».

— Что ты говоришь! — воскликнула Мария. — А я как раз читаю «Три сестры», я даже играла в этой пьесе.

— Конечно, — сказала Хадижа, — ты можешь играть в театре, ты очень красивая. Я помню, это пьеса про военных, они ходят в мундирах, про русских военных.

— Можно сказать, что и так! — засмеялась Мария. — Тебя полечить? Ложись на тахту. Вот так. Расслабься, думай о чем-нибудь хорошем.

— Например, о чем? — спросила Хадижа, лежа с закрытыми глазами. — Ты знаешь, что для меня может быть только одно хорошее — сын или дочь. Все остальное у меня есть... Лучше дочь.

— Почему?

— Дочь лучше хотя бы потому, что точно знаешь, что нянчишь внуков своих, а не доброго путника, случайно остановившегося на ночлег.

— У нас говорят «прохожего молодца», о детях, не похожих на родителей — «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца».

— У всех народов многие поговорки совпадают, — не открывая глаз, улыбнулась Хадижа, — люди — везде люди.

Мария не была сильным гипнотизером, и ее любительские пассы совершенно не тронули Хадижу, в транс она не вошла ни на секунду, зато массаж ей помог.

— Ты сильная, — сказала Мария, — на тебя мой гипноз не действует.

— Да, в Марселе я была в цирке, специально три раза ходила на сеансы гипноза, и все без толку. Но голова сейчас меньше болит, чем болела, у тебя не в словах, а в руках сила. Спасибо тебе! Да...

— Ты что-то хотела мне сказать? — уловила ее замешательство Мария. — Я по глазам вижу. Говори, не стесняйся.

— Да... то, что у тебя тоже нет детей, мне понятно, Аллах не дал. Но неужели ты ни разу не была замужем? Ты требуешь от мужчин, чтобы они называли тебя мадемуазель, но ведь это можно только тогда, если девушка или женщина ни разу не была замужем. Как тебя понимать? Ты такая красивая, такая умная? Так не бывает...

— Бывает, Хадижа, все бывает на этом свете... Замужем я не была... Мужчины, конечно, встречались, но это не в счет... Я их не любила, а тот, кого я любила и люблю до сих пор... тот мне недоступен. Я люблю его с пятнадцати лет...

— Он женат?

— Да, жена, две девочки...

— А где он сейчас, в Париже? Ваши русские все в Париже.

— Нет, он где-то в Америке, даже не знаю, в Северной или в Южной...

— А что, их две? — удивилась Хадижа. — Америки — две?

— Две.

— А ты кого играла в пьесе?

— Я? Я играла младшую сестру Ирину.

— А-а, ту, что в белом платье? — вспомнила Хадижа.

— В белом платье. Мне было к лицу белое.

— Тебе и сейчас оно к лицу, — растроганно сказала Хадижа и погладила Марию по щеке. — Ничего, ты еще встретишь своего мужа.

— Вряд ли... Муж объелся груш, — добавила она по-русски.

— Что ты сказала? — переспросила ее любопытная Хадижа.

— Я говорю, мой муж объелся груш,— перевела на французский язык Мария.

Хадижа прыснула со смеху, ей очень понравилось, что муж объелся груш.

— А как твой муж? — в тон спросила Мария.

— Хаджибек?

— А у тебя что, еще есть?

Обе молодые женщины расхохотались с наслаждением, до слез.

— Хаджибек не объелся груш, но зато подарил новой губернаторше такую вазу, что на ней мои глаза остались! — вытирая слезинки, сказала Хадижа.

— Новая губернаторша? — с неподдельным интересом спросила Мария.

— Не совсем новая, они уже были здесь раньше, но потом его перевели на десять лет в Алжир, а теперь снова вернули к нам. Хаджибек очень доволен. Он знает губернатора еще с двадцатого года, с тех пор, как пришли в Бизерту ваши русские корабли.

— Генеральша Дживанши? Николь Дживанши?

— Да, кажется, так ее зовут.

— Боже мой, это же замечательно! — воскликнула Мария и чмокнула Хадижу в щеку.— Ты принесла добрую весть!

— Пойду, распоряжусь с обедом,— сказала Хадижа.— Еще раз спасибо!

Хадижа осторожно прикрыла за собой дверь. «Боже мой, Николь в Тунисе, какая прелесть! Все возвращается на круги своя...— думала Мария, примащиваясь на тахте с томиком Чехова в руках.— Какая же я дура, какая бессовестная дура, что не отвечала в Праге на ее письма... Обуяла гордыня... Спрашивается, за что я ее обидела? Как отплатила за ее добро?..»

Сирокко взвыл за окном с такой яростью, что Мария даже перекрестилась: «Чур меня! Чур!» И невольно открыла пьесу на том самом месте, которое она выпрашивала для себя у режиссера, умоляла отдать ей роль Маши только вот из-за этой сцены, из-за этих слов:

«МАША. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаяюсь вам и уж больше никому, никогда... Скажу сию минуту. (Тихо.) Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать...»

Пауза.

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... Вы его только что видели... Ну, да что там... Одним словом, люблю Вершинина...

ОЛЬГА (идет к себе за ширмы). Оставь это. Я все равно не слышу.

МАША. Что же делать. (Берется за голову.) Он казался мне сначала странным, потом я жалела его... потом полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками...

ОЛЬГА (за ширмой). Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу.

МАША. Э, глупая ты, Оля. Люблю — такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая... И он меня любит... Это все страшно. Да? Нехорошо это? (Тянет Ирину за руку, привлекает к себе.) О моя милая... Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет... Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все старо и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает, и каждый должен решать сам за себя... Милые мои, сестры мои... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...»

Ах, как она мечтала сказать Вершинину — дяде Паше — эти слова, сказать со сцены, всем, на весь белый свет! А там будь что будет!

Но режиссировавший спектакль корпусной врач наотрез отказал ей в желанной роли: «Ты что, милая? Нет-нет, будешь играть Ирину. Во-первых, ты самая младшая, а во-вторых, она в белом платье, а тебе очень к лицу белое — я так вижу!» Как и все режиссеры, он был деспот, и у него всегда на все про все был один аргумент: «Я так вижу», прекословить ему не имело смысла. Все дамы и девицы Морского корпуса (разумеется, родственницы офицеров, в строю корпуса была одна только Маша) принимали в спектакле самое живое участие. Кто шил

платья, кто занимался гримом, кто бутафорией, все они были заняты в основном обслуживанием женских ролей, а с мужскими режиссер решил просто: мужчины должны были играть каждый в своем флотском мундире — это решение режиссера вызвало шквал восторга и было сочтено исключительно талантливой режиссерской находкой. Поскольку Машенька единственная знала наизусть всю пьесу, она стала правой рукой режиссера, и ее участие в спектакле в роли Ирины никем не оспаривалось. На каждую другую женскую роль было по три-четыре, а то и по пять-шесть претенденток. Знание пьесы настолько выдвинуло Машеньку среди других барышень и дам, что она как бы тоже была в отборочной комиссии, а не один только режиссер. Мало кто хотел играть Наташу в зеленом поясе или старуху Анфису, все рвались на роли Ольги и Маши. Увы, так уж получилось само собой, что роль Маши досталась жене дяди Павла тете Даше — она была и моложава, и красива и когда-то в России тоже играла эту роль в любительском спектакле, так что все, как говорится, сошлось, и Машеньке ничего не оставалось... Глупо, конечно, что жена будет играть роль любовницы, но ничего не поделаешь — она и роль знает, и не без таланта...

XXXIII

«ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Старый сад в доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки — лес. Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили шампанское. Двенадцать часов дня.

С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие; быстро проходят человек пять солдат. Чебутыкин в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта, сидит в кресле, в саду, ждет, когда его позовут; он в фуражке и с палкой. Ирина, Кулыгин с орденом на шее, без усов, и Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотика и Родэ, которые сходят вниз; оба офицера в походной форме».

...Маленький рыженький кадетик, князь Александр Бакаров, которого Маша когда-то сбила с ног на радостях, что адмирал Герасимов разрешил ей быть в Морском корпусе вольнослушательницей, этот самый маленький кадетик отчаянно претендовал на роль барона, поручика Николая Львовича Тузенбаха-Кроне-Альтшауера. Рыжеволосый голубоглазый кадетик за девять месяцев на солнечной чужбине сильно подрос, вытянулся и даже почти возмужал, правда, его веснушчатое личико оставалось таким же по-девичьи хорошеньким, как и было.

— Эт-то что за красавчик! — возмутился режиссер.— И речи быть не может о Тузенбахе! Тузенбах некрасивый, десять раз сказано в пьесе. А эт-то что за иже херувиме?!

— А ме-ме-меня мо-мо-мож-но уху-уху-ухудшить! — взмолился маленький князь.

— Хоть заикаешься, и то слава Богу! — сказал режиссер.— Ладно, попробуем. Ухудшите его! — велел он гримерам.— А то, что ты заикаешься,— отличная краска. Тузенбах — заика! Это находка! Сам Станиславский бы одобрил!

Маленькому князю прилепили нос, скосили лоб, намазали широкие брови.

— Вот! Теперь вполне приличный Тузенбах, да еще натуральный заика — какая находка! Неплохо поработали, молодцы! — одобрил режиссер гримеров.— Будешь играть — решено.

Маленький князь летал на крыльях... Теперь, наконец-то, он сможет сказать Ирине (Машеньке) все, все, все о своей любви! Сказать со сцены — всем, на весь мир! Он знал свою роль назубок, да и не только свою, но и роль Ирины (Машеньки). Он ходил за Машенькой по пятам и просил:

— Да-да-давайте поре-по-порепетируем!

— А чего нам репетировать? Вы знаете свою роль, я знаю свою и вашу, кстати,— равнодушно уклонялась Машенька.

— И йия в-вашу ро-ро-роль зз-знаю!

— Ну вот и славно. Чего же нам репетировать — зря время терять? Будет генеральная — там и порепетируем.

— Ну-ну-ну ко-кк-когда же она б-будет, не-не-не-скоро! — У бедного Тузенбаха-Кроне-Альтшауера аж слезы наворачивались на его прекрасные голубые глаза, он был просто не в силах ждать, он изнемогал под спудом своей любви.

А Машенька даже и не замечала этого, она рвалась всей душой на репетиции в другие мизансцены — с Вершининым (дядей Пашей), а маленький князь только путался под ногами.

Африканские блохи были неистребимы, чихать они хотели на любую дезинфекцию, можно сказать, они лакомились ею. Зимой блохи вели себя более-менее терпимо, а летом заедали до такой степени, что в особенно жаркие недели весь Морской корпус дневал в классах под сводами цитадели, а ночевал в крепостном рву, благо он был так широк и огромен, что места хватало всем тремстам двадцати кадетам и гардемаринам; во рву устанавливались и ночные дежурные посты, и всё прочее честь по чести, как в казарме. Летом дул знойный сирокко, и во рву, на глубине десяти — двенадцати метров, хоть как-то можно было спастись от его обжигающего дыхания. Марии очень нравилось само слово *сирокко* — ей слышалось в нем что-то мистическое, вечное, чувствовался какой-то странный нерв в самой его звукописи. Кстати говоря, ей здесь все нравилось: и море, и ветер, и горы, и пустыня за ними, и одинокие ели и сосны по обочинам белых известняковых дорог, и темные пятна дикого камня, и густейшие заросли фиолетовой с изморозью ежевики, необыкновенно крупной и сладкой, которую арабы почему-то не ели; и ухоженные долины, полные плодов, как плетеные корзины маленького бербера — торговца фруктами, которые привозил он на двух резвых толстобрюхих ослах, увешанных по бокам пузатыми длинными корзинами. Чего в них только не было: апельсины, мандарины, груши, яблоки, финики!

Маленький торговец, путь которого лежал сюда из Бизерты, сначала заезжал в нижний лагерь Сфаят, где жили семейно офицеры корпуса, расторговывался там насколько возможно, а затем поднимался к крепости к гардемаринам и кадетам. Хотя денежек у тех почти не водилось, маленький бербер обязательно поднимался к ним с остатками товара — здесь были у него свои, нефинансовые интересы.

Маленький бербер в малиновой феске, белой накидке и голубых шароварах обожал все военное и мечтал стать солдатом, а еще лучше военным моряком. Видно, бушевали в нем гены его предков, великих мореплавателей — карфагенян. Он с восторгом смотрел на марширующие роты корпуса и не раз спрашивал: нельзя ли и ему поступить в Морской корпус? Он даже был готов ради этого выучить русский язык...

Оставшиеся в корзинах фрукты он тем не менее не раздавал даром так нравившимся ему кадетам, а старался на что-нибудь выменять, особенно ценил оловянные пуговицы с якорями, погоны, нашивки, похоже, все это пользовалось большим спросом у его сверстников там, внизу, в Бизерте.

У Машеньки с маленьким, хитреньким бербером были свои особые отношения. Он довольно бойко говорил на колониальном французском, и это позволяло им болтать о том о сем. Обычно Машенька появлялась на площадке перед крепостью уже после того, как все возможные обменные операции были совершены, и ослы, лениво жующие черными губами, уже печально поглядывали на своего повелителя: дескать, пора домой! Машенька приходила всегда с биноклем: то он висел у нее на шее на кожаной тесемке в футляре, то она держала бинокль в руках, а на шее болтался один пустой, вкусно пахнущий кожей футляр. Она заговаривала с маленьким торговцем о чем взбредет в голову и то и дело поглядывала в бинокль. Скажет фразу и посмотрит в бинокль на горы, на море, на Бизерту. А маленький бербер так и вертит шей, так и ловит каждое ее движение, пока наконец не сдастся и не попросит:

— Мадемуазель, можно я тоже посмотрю в бинокль?

— А чего в него смотреть? Ты ведь уже смотрел в прошлый раз,— равнодушно скажет актриса Маша.

— Я еще хочу! — облизнется маленький бербер и с трудом выдавит из себя: — Десять апельсинов, десять яблок, десять — всё!

— Ладно, пока, малыш! — скажет ему Машенька и потреплет мальчугана по смуглой щеке.

— Двадцать — всё! — прошепчет берберенок.

— Пока! Пока! — засмеется Машенька и сделает ему ручкой.

— Пятьдесят — всё! — с закипевшими в уголках черных глаз слезинками яростно воскликнет купец.

— Сто,— небрежно ответит Машенька и протянет ему бинокль. Рука ее висает в воздухе, купец медлит с ответом... Тогда она поворачивается и уходит.

— Хорошо! Хорошо! — кричит ей вдогонку маленький бербер в малиновой феске, белой накидке и голубых шароварах.— Сто! Сто!

Сделка состоялась. Купец разглядывает в восемнадцатикратный морской бинокль свою любимую родину, а вся Машенькина рота угощается фруктами прямо из корзин — кто там их будет теперь считать, эти фрукты! Ах, как сладко в лютую жару очистить пахучую, маслянистую кожуру апельсина и вонзить молодые зубы в сочную, сладкую, освежающую мякоть!

Если смотреть в бинокль на улочки и закоулки нижнего лагеря Сфаят, то хорошо видны не то что серые дощатые бараки беженцев, а и каждая курица, купающаяся в пыли. Кур и гусей в Сфаяте великое множество, и это понятно: они и яйца, они и мясо, они и пух, и перо, да и ухода особого не требуют. Есть в Сфаяте и многочисленные вольеры с кроликами, и свои козы, и овцы, и коровы, еще бы — столько людей надо прокормить! Есть здесь и своя пошивочная мастерская, где шьют все — от формы для кадетов и гардемарин до вечерних платьев для модниц Бизерты: наши русские дамы оказались замечательными рукодельницами, они и шили, и вышивали, и вязали самым чудесным образом. Была в Сфаяте и обувная мастерская, и прачечная при собственной бане, и переплетная мастерская, где переплетали старые книги и новые тетради для Морского корпуса, была и своя литография, в которой издавались, если можно сказать так громко, учебные курсы преподавателей Морского корпуса. Настоящих учебников не было и в помине, так что преподавателям пришлось написать по памяти и курсы русского языка, и литературы, и истории, и навигации, и баллистики, и высшей математики, и физики, и электротехники, и химии, и биологии, и многого другого. К счастью, уровень подготовки педагогов Морского корпуса был настолько высок, что их выученики потом блистали в лучших высших учебных заведениях Европы и Америки и многие стали со временем выдающимися инженерами, мореплавателями, архитекторами, как, например, маленький Тузенбах и прочая, и прочая... Еще в литографии печатался журнал «Бизертинский морской сборник» — отчет перед вечностью об их житье-бытье... Чего стоили одни названия его статей:

«Варфоломеевская ночь в Севастополе 23 февраля 1918 г. (Из воспоминаний очевидца.)»

«Морской центр в Сибири (1918—1919)».

«Краткая история о действиях Отдельного морского учебного батальона (армия адмирала Колчака, 1919 г.)».

«Нападение английских катеров на Кронштадт ночью 8 августа 1919 г.»

«Страницы Русского флота (очерк о подводной лодке «Тюлень» белого Черноморского флота, октябрь 1918 — апрель 1920 гг.)».

«Каспийская военная флотилия в период Гражданской войны 1920—1921 года».

«На эскадре (сведения о личном составе, приказы, хроника событий)».

«Наблюдения над течением в Югорском Шаре и их обработка (июнь 1919 г., ледокол «Иван Сусанин»)».

«Электромагнитный способ подъема затонувших судов»*.

* Названия статей цитируются по подлиннику.

...и так далее. Только из одних этих названий понятно, что «Бизертинский морской сборник» был не просто хроникой жизни колонии (что ели, как спали, кто что сказал, какая была погода), но хроникой работы ума и души изгнанников, хроникой их служения русскому флоту в далекой и жаркой Тунисии. Редакция «Бизертинского морского сборника» помещалась на подводной лодке «Утка», а редактировал сборник ее командир капитан второго ранга Нестор Александрович Монастырев*.

В бумагах Марии Александровны и по сей день сохранился первый номер «Бизертинского морского сборника» с редакционным вступлением, которое все кадеты и гардемарины корпуса знали наизусть, как «Отче наш», потому что учили его на уроках русской истории; оно было написано на больших листах картона крупными буквами и висело в каждом классе:

«Смутное время погрузило нас в самую глубину национального позора, но мы твердо уверены, что спустя немного столь же высока будет волна национального подъема. Нам на долю выпали тяжкие испытания, но наш долг выдержать их с достоинством и из смутного времени вынести чистыми заветы Великого Петра и своих незабвенных учителей.

Ушаков, Сенявин, Лазарев, Нахимов, Бутаков, Макаров и Колчак — вправе требовать этого от нас, на чью долю выпадет тяжкая работа по созданию флота»**.

Постановка пьесы «Три сестры» была приурочена ко дню Святителя Павла Исповедника — морскому празднику, который издавна почитался в русском флоте. По новому стилю праздник падал на 6 ноября, к этому дню и готовились. Ждали многих высоких гостей из Туниса, губернатора Бизерты и даже, по слухам, самого маршала Петена, еще недавнего главнокомандующего французской армией, прославленного на весь мир в битве с немцами героя Вердена***. Интересы Франции в Северной Африке были так велики, что пребывание в Тунисе с инспекционной поездкой столь знаменитого полководца никого не удивляло.

Петена очень любили в Морском корпусе: ведь это он велел вернуть русским их оружие, и теперь в пирамидах стояли настоящие винтовки, а не деревянные муляжи. Петен уже бывал в корпусе и нашел его состояние отличным: «Мы должны вас считать беженцами, но мы видим в вас образцовую воинскую часть». Вот и теперь его ждали как признанного корифея военного дела и готовились к его приезду по всем правилам флотской службы. Служитель библиотеки корпуса даже подготовил несколько французских книг о полководцах с тем, чтобы прославленный маршал оставил на них свои автографы.

Машенька давно уже выговорила себе право ходить в мужском кадетском обмундировании, поскольку женское не было предусмотрено флотской службой. В брюках, в матроске, в тельняшке, в общих для всех «танках» на ногах она выглядела заливчатски прелестно, тем более что она не обрезала волосы, а носила косы: то укладывала их под бескозырку короной, а то и выпускала на плечи. «Распустила Маня косы, а за нею все матросы!» — веселились при виде нее самые младшенькие кадеты, мелюзга хихикала и дразнилась, а старшие их братья по Морскому корпусу смотрели вслед Маше как замороженные, смотрели на нее, словно на явление природы, прекрасное и таинственное...

* Н. А. Монастырев (1887—1957) за труды по истории был удостоен «Пальмовой ветви» Французской академии наук. Подводную лодку «Утка» он привел своим ходом из Севастополя в Константинополь, а затем и в Бизерту. Умер в Тунисе. Журнал «Бизертинский морской сборник» печатался в литографии крепости Джебель-Кебир и рассылался в семнадцать стран, кроме Туниса: в Германию, Францию, Турцию, Сербо-Хорватско-Словенское Королевство, Чехословакию, Англию, Финляндию, Бельгию, Польшу, Эстонию, Латвию, США, Японию, Египет, Дальневосточную Республику, в советскую Россию.

** Цитируется по подлиннику.

*** Верден (Verdun) — город на северо-востоке Франции, на реке Мёз (Маас). С февраля по декабрь 1916 года здесь происходили кровопролитные бои между французскими и немецкими армиями. С обеих сторон было уничтожено по 350 тысяч человек. Верден не сдался, и это определило благополучие Франции на четверть века. Руководил обороной Вердена Анри Филипп Петен.

В дверь кабинета постучали, она тут же открылась, и в комнату к Мари вкатились крохотные Муса и Сулейман, а следом за ними вошла улыбающаяся Хадижа.

— Ах вы мои красавцы! — вставая с тахты, восторженно приветствовала их Мари. — Здравствуйте, дети!

— Здра! — вразнойбой отвечали маленькие черноглазые ангелята в белых пелеринках.

Мария подхватила на руки сразу обоих и расцеловала их смуглые чистенькие мордашки.

— Хотят к тебе. Все время Фатиму просят. Все время меня просят! Любят они тебя! Дети знают, какой человек хороший, а какой плохой. Хочешь таких?

— Хочу, конечно, — искренне ответила Мария, — но пока Бог не дал.

— Ты слишком переборчивая невеста, — сказала Хадижа с укором.

— Да. Мне не все равно от кого... Ты знаешь, дорогая Хадижа, на свете так много женщин, которые родят детей от тех, которых не то что не любят, но даже и не уважают, а бывает так, что и ненавидят всей душой.

— Я знаю, — печально проговорила Хадижа, — я сама такая, моя мама не навидела моего отца всю жизнь, и день его смерти стал для нее днем избавления. А злой сирокко все выл, все царапался, все скребся о деревянные ставни, подбитые войлоком.

— Стол накрыт, — сказала Хадижа, — пойдем покушаем, а малыши уже ели.

Господин Хаджибек уехал по делам в Италию, а без него обе жены и Мари обедали в малой столовой, без прислуги, по-свойски. Младшая жена Фатима с удовольствием подавала за столом, она была умелой, ловкой, как сказали бы русские, сноровистой, спорой хозяйской, и ей очень нравилось, что всё в ее руках делается как бы само собой, без малейшей натуги, да и компания была ей по душе.

— Я никогда не задумывалась, какая разница, от кого родить ребенка, — сказала Хадижа, видимо, помнившая все время об их недавнем разговоре с Мари. — А ты, Мари, мудрая, может быть, ты и права...

— Вряд ли, дорогая Хадижа... Гутта фортунае прэ долио сапиэнциэ (Cutta fortunae prae dolio sapientiae). Это по-латыни: «Капля счастья лучше бочки мудрости».

Младшая жена Фатима торопливо потупила страстно блестящие черные глаза и чуть облизнула полную верхнюю губку с легчайшим пушком на ней. Видимо, Фатиме было что сказать, но она не считала себя вправе вмешиваться в разговор старших, бездетных женщин.

Ползавшие по ковру возле стола маленькие Сулейман и Муса что-то не поделили и с ором вцепились друг в дружку. Фатима дала обоим по попке, подхватила их на руки и унесла в детскую.

Обед был очень вкусный, но есть не хотелось — сирокко так выл и так нудился за окном, что ничего не хотелось.

— Ладно, дорогие девочки, — сказала Мари, — пойду к себе в кабинет, по-валяюсь на тахте с русской книжкой. Так сколько дней еще будет дуть этот ветер? — обратилась она к Фатиме.

— Девять, всего девять дней! — радостно ответила Фатима. — Всего девять!

— Девять — мое любимое число, — сказала Мари. — Пока, до вечера!

В кабинете Мари прилегла на жесткую тахту, застеленную львиной шкурой, взяла в руки томик пьес Чехова...

«...Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная... Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет...» — говорил ей (Ирине) маленький барон Тузенбах, ухудшенный гримом. Говорил и... к ужасу режиссера, не заикался! Всегда заикался, на генеральной репетиции заикался, а на премьере маленький Тузенбах, с широкими бровями и скошенным лбом, вдруг перестал заикаться и говорил так чисто, с такой звенящей нотой в голосе, как будто бы шел по канату, натянутому над пропастью... Еще чуть-чуть — и сорвется, еще чуть-чуть... Но он так и не запнулся ни разу.

«Эх, что ни говори, а время было сказочное! — вздохнула Мари, потягиваясь всем телом на гладкой львиной шкуре. — Изгнание изгнанием, а юность юностью!» Как писал ее любимый поэт Алексей Константинович Толстой: «О, жизнь! О, лес! О, солнца свет! О, юность! О, надежды!» По правде говоря, печалиться об изгнании им было некогда: днем по восемь часов занятий в классах за железными столами, свезенными с кораблей, за досками, испещренными мелом: дифференциальными исчислениями, чертежами, формулами; а ближе к вечеру еще по два часа занятий физическими упражнениями: гимнастика, стрельба, бег, плавание, рукопашный бой. В бумагах у Мари, среди множества других фотографий, есть и такая, на которой сняты малыши самой младшей роты (некоторым из них не больше пяти-шести лет), изготовившиеся к рукопашному бою. Все они в белых матросках, коротких белых штанишках, с ними офицер в белой форме, и среди мальчишек одна девочка в матроске и в белой юбке, лет десяти — значит, кроме нее, Марии, была в кадетском корпусе и еще какая-то девочка? Но кто?

Да, время в Морском корпусе было спрессовано наставниками так, что на хандру не оставалось у воспитанников ни минутки. Чего только стоили учебные походы по Бизертинскому озеру на паруснике «Моряк»! А вылазки в пустыню: за цветами и травами для гербария, за змеями, тарантулами, сколопендрами, скорпионами, бабочками для коллекций биологического кабинета! С тех самых пор Мари не только не боялась пустыни, но любила ее. Дядя Павел подарил биологическому кабинету два микроскопа из своей коллекции, так что они уж рассмотрели всё капитально! Случалось, раскапывали в барханах скелеты верблюдов, и лошадей, и даже человеческие скелеты, многие из которых, по мнению их биолога, пролежали в пустыне сотни лет. Особенно удивительная находка ждала их вблизи руин древнего Карфагена. Там они откопали скелеты женщины и ребенка. Женщина прижала к груди ребенка, так они и остались в веках. Биолог определил, что женщине не больше семнадцати-восемнадцати лет, а ребенку около годика. Они сфотографировали свою находку множество раз, а потом по этим фотографиям в точности уложили скелет и скелетик у себя в биологическом кабинете на стенде, в закрытой витрине под стеклом, и назвали «Карфагенская мадонна».

Морской корпус и все сопутствующие ему гражданские лица готовились к празднику загодя и с большим размахом. Только ужин во внутреннем дворе цитадели предполагался на шестьсот персон. Порядок празднования определили следующий: в семь часов вечера спектакль «Три сестры», потом ужин при свечах и бал до утра. Гости стали съезжаться к шести. Французская администрация протектората и тунизийская знать прикатывали на «рено» или «ситроенах», а эксцентричная губернаторша Бизерты Николь Дживанши прискакала на белом коне; в алой амазонке и алой шляпе с алой вуалеткой она смотрелась необычайно свежо и молодо, глядя на нее никто бы не предположил, что даме уже под сорок. Губернаторшу сопровождал молодецватый рыжеусый адъютант на вороной кобыле.

Машенька пропустила не только приезд Николь Дживанши, но и самого легендарного маршала Петена, которого встречал почетный караул Морского корпуса. Машенька занималась с портнихой своим сценическим нарядом. Белое платье было не только узко в спине, но и адски жало в проймах.

— Я руки не могу поднять! Что вы наделали? Что теперь будет! Зачем вы без меня ушили? — едва не плакала Машенька.

— Ничего, растачаем. Растачаем, не переживай! — успокаивала ее грузная седая жена капитана второго ранга, ответственная за ее белое платье. — Давай, снимай, растачаем!

Они возились с платьем до второго звонка колокольчика, в который звонил специально отряженный кадет. Наконец Машенька кое-как влезла в платье и пунцовая, взвинченная еле-еле успела за кулисы к двум другим сестрам — Маше (тете Даше) и Ольге, которую играла жена режиссера спектакля, долговязая дама не первой молодости, играла, кстати сказать, замечательно.

Убранный по стенам цветами и травами, благоухающий крепостной ров был полон зрителей; в импровизированной ложе сидели старшие офицеры корпуса, маршал Петен, губернаторша Николь Дживанши со своим сухоньким, седеньким, неопределенного возраста мужем генерал-губернатором, другие знатные гости.

Зажглись направленные сверху на сцену снятые с кораблей прожектора, пошел занавес, и вот они — три сестры — в черном, в синем и в белом платьях, под небом Африки...

— А эта девушка в белом довольно хорошенькая, — наклонился к Николь маршал Петен, который в свои шестьдесят с гаком был бодр телом и духом и не отказывал себе в удовольствии поухаживать за женщинами.

— Хорошенькая? Да как у вас язык поворачивается, маршал? — порывисто прошептала кокетливая Николь. — Она не хорошенькая, она настоящая красавица! Какое лицо! Какие линии тела! Вы уж мне поверьте, я кое-что понимаю!

— Охотно верю. Вы ведь сама красавица, вам видней, — грубо польстил Анри Петен и слегка коснулся обнаженной полоски на ее руке — между перчаткой и платьем.

Неожиданно в воздухе пахнуло гусиными шкварками. Такой знакомый русскому нюху аромат становился все гуще, все ядренее — приготовления к пиршеству шли в цитадели полным ходом, и запахи кухни наконец доплыли до рва — театрального зала, наплыли и заполнили его весь сверху донизу.

— А жареные гуси — мастера пахнуть! — в полной тишине, негромко, но очень внятно произнес известную чеховскую фразу Вершинин (дядя Паша), стоявший за кулисами, невидимый из зала.

На секунду-другую воцарилась пауза, и зал покатился со смеху. Хохотали с наслаждением, до слез, хохотали все русские от мала до велика.

— Чему они смеются? — спросила губернаторша сидевшего неподалеку от нее адмирала Герасимова.

Продолжая хохотать вместе со всеми, он объяснил ей, в чем дело, на хорошем французском языке. Николь Дживанши в свою очередь объяснила причину хохота маршалу Петену, тот по-солдатски смачно потянул носом пахучий дух жаркого и тоже рассмеялся в свое удовольствие. Первая мизансцена спектакля была сорвана.

Только ко второму действию все кое-как наладилось.

«В Москву! В Москву!» — нелепо и печально звучало со сцены, а Москва была далеко-далеко, за морями, за горами и за темными лесами...

«МАША. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Златая цепь на дубе том... (Встает и напевает тихо.)»

Игравшая Машу тети Даша вела свою роль отменно, видимо, она как-то соответствовала ее общему душевному настрою. Это для Машеньки (Ирины) адмирал дядя Паша был свет в окошке, а для тети Даши никакой не адмирал, а просто муж с двенадцатилетним стажем, «муж объелся груш», которому она всегда могла спокойно сказать: «Павлик, помолчи, пожалуйста!» И он замолкал с покорностью человека, не помнящего себя неженатым.

А Машенька играла свою Ирину из рук вон плохо: краснела, бледнела, путалась в репликах, ни на секунду не забывала о том, как жмет ей в проймах белое платье и какая она, должно быть, жалкая, ничтожная на взгляд со стороны — из зрительного зала. Не раз и не два Машеньку (Ирину) выручал маленький барон Тузенбах, он действительно знал назубок ее роль.

Два акта пьесы прошли без перерыва, а после второго объявили антракт на тридцать минут (в основном для того, чтобы размялись поддремывавшие маршал Петен и его свита), публика была предупреждена о том, что третья и четвертое действия также пройдут без перерыва.

В юности парижанка Николь Дживанши была артисткой марсельской оперетты и твердо усвоила, что во время антракта знатные зрители должны идти за

кулисы, чтобы благодетельствовать господ актеров своим просвещенным вниманием.

В антракте режиссер жучил всех артистов по очереди:

— Дарья Владимировна, что-то мало в вас влюбленности в Вершинина, а? Надо поднажать! И вы, Павел Петрович, тоже немножко вяленький. Вы ведь влюблены в Машу. Не женаты с юности, а влюблены! Забудьте и про свое адмиральство, и про свою женатость!

— То есть как это, забыть про женатость?! — вступилась за Вершинина (дядю Пашу) Ольга (жена режиссера).— То есть как это забыть, что ты ему советуешь, Петрик?

Все дружно рассмеялись. Все, кроме Ирины (Машеньки), а Машенька подумала о том, что тетя Даша, наверное, и впрямь не любит дядю Пашу и вообще со своим маленьким, остреньким носом и круглыми глазами без зрачков похожа на курицу.

В эту минуту и впорхнула за кулисы губернаторша Дживанши. Она покровительственно поприветствовала всех, подняв руку в белой перчатке, и тут же направилась к Машеньке (Ирине).

— Я восхищена вами, дитя мое! — воскликнула губернаторша и полуобняла Машеньку.— Вы прекрасны! Какое волнение! Какое чувство! Сколько экзпрессии! Какой талант!

— Просто вы не понимаете по-русски, мадам,— отстраняясь от ее объятий, дерзко ответила Машенька.— Если бы вы хоть слово понимали по-русски, то сказать то, что вы говорите, могли бы только в насмешку надо мной!

— О-ля-ля, какой характер! А какой французский! У вас парижский выговор! Где вы учились французскому, мадемуазель?

— Дома,— буркнула Машенька и спряталась за спину режиссера.

Губернаторша стусевалась, она никак не ожидала такого приема. Шагнула было вслед за Машенькой, да запнулась о неровно прибитую доску на полу сцены, едва не упала — хорошо, ее успел подхватить за талию Вершинин (дядя Паша).

— Мерси, адмирал, вы тоже прелестны,— пытаюсь кокетливо улыбнуться, сказала ему Николь.

— Мерси, мадам! — ответил ей дядя Паша, помог выбраться из-за кулис и сойти со сцены в зрительный зал.

В начале третьего акта Николь Дживанши спросила адмирала Герасимова:

— Скажите, а кто эта девушка в белом?

— Наша воспитанница, графиня Мария Мерзловская, дочь моего друга адмирала, погибшего в России.

— Она сирота?

— Да, мадам, круглая сирота, если не считать меня,— я ее крестный отец.

— О, ле парэн! — изумилась губернаторша.— Какая замечательная девушка!

— Спасибо, мадам, я тоже так считаю.

Наконец наступило четвертое действие, последняя сцена с Вершининым, который пришел проститься в дом трех сестер Прозоровых. Бригада, которой командовал подполковник Вершинин, покидала город. Барон Тузенбах уже получил отставку и был в штатском. Он предложил Ирине (Машеньке) руку и сердце, она согласилась, и они собирались ехать на какой-то пресловутый кирпичный завод работать... А между тем Соленый уже вызвал барона на дуэль, и доктор Чебутыкин ждал в саду Прозоровых, когда его на эту самую дуэль позвуют в качестве врача... Ждал, читал свои вседневные газеты и не верил, что все взаправду, а не понарошку, что на дуэлях убивают... Вот и пришел Вершинин (дядя Паша).

«ВЕРШИНИН. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?.. (Смеется.) Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой. (Смотрит на часы.) Пора мне, пора! Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все

это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!

Пауза.

Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. (Смотрит на часы.) Мне, однако, пора.

ОЛЬГА. *Вот она идет».*

Конечно, Вершинин пришел проститься прежде всего с Машей, со своей возлюбленной...

«Маша входит.

ВЕРШИНИН. *Я пришел проститься...»*

Маша (тетя Даша) вышла из-за правой кулисы, протянула руки навстречу Вершинину (дяде Паше), чтобы сделать шаг-другой и упасть в его объятия... Но в это время из-за левой кулисы, едва не сбив Машу с ног, вылетела Ирина (Машенька), которой и не должно было быть в этой мизансцене... Вылетела в своем белом платье, бросилась на шею Вершинину и горячо, торопливо стала покрывать поцелуями его лицо, шею, плечи...

— Пиши мне... Не забывай! Пусти меня,— пытался идти по роли и в то же время вырваться из Машенькиных объятий подполковник Вершинин (дядя Паша в адмиральской форме).— Пусти меня!

И тетя Даша, и все прочие артисты оцепенели. А Николь Дживанши вскочила на ноги, стала бешено аплодировать и кричать: «Браво! Браво!» Поднялся и сам маршал Петен*, уверенный, что это и есть финал пьесы. Поднялись все. Все стали аплодировать.

Машенька хотела бежать со сцены, но ноги ее не послушались, она замешкалась на какую-то долю секунды, и режиссер-постановщик успел ухватить ее за руку. Ухватил цепко и громко, повелительно крикнул за кулисы:

— Кланяться! Всем артистам выходить кланяться! — Отыскал глазами Вершинина (дядю Пашу).— Вершинин, очнитесь, возьмите за руку Ирину! — добавил режиссер грозным шепотом.

Дядя Паша, полностью потерявшийся от внезапной атаки Машеньки (Ирины), автоматически исполнил режиссерскую волю. Рука у Машеньки была ледяная, а у него огненная, он стиснул ее руку надежно, зря она пыталась вырваться. Занятые в пьесе артисты послушно встали в ряд, взяли за руки и начали кланяться, как китайские болванчики. Все были под впечатлением столь неожиданного финала спектакля, никто еще ничего толком не сообразил. Было понятно лишь одно: режиссер спасает положение, уходит от скандального конфуза. Лицо и шея Вершинина (дяди Паши) стали почти свекольного цвета, левой рукой он держал за руку Ирину (Машеньку) в белом платье, а правой — Машу в синем (свою жену Дарью Владимировну), и сам он казался себе распятым между ними. А на левом фланге кланяющихся артистов глупо улыбался маленький барон Тузенбах, так и не убитый на дуэли Соленым.

Бурные аплодисменты зала и восторженный гвалт чудились Машеньке хохотом над ее выходкой... Прожектор, направленный на авансцену, слепил глаза, и зал казался ей шевелящейся черной дырой, исторгающей дикий гогот... Все смеялись над ней! Все ее презирали! Как она посмела? Отчего это она кинулась

* Маршал Петен еще был в ореоле славы, и никто не мог предвидеть, что в 1945 году на него падет национальный позор. Петен Анри Филипп (1856—1951) с молодых ногтей не любил Англию и был убежден, что «союз с Англией — это слияние с трупом». 22 июня 1940 года принял президентство во Франции и предложил немцам перемирие. Он пытался спасти свою любимую родину от полного разгрома, но исторически просчитался, не угадал... В 86 лет Петену было трудно управлять полупарализованным государством, и в том, что он взял это управление на себя, и состояла его роковая ошибка. В августе 1944 года он был удален в Германию, а в апреле 1945-го добровольно вернулся во Францию, чтобы предстать перед судом. Анри Филипп Петен был приговорен за измену Родине к смертной казни. Однако де Голль, служивший в первую мировую войну под началом Петена, заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Петен скончался на острове Иль Дью в Атлантическом океане, ему было 95 лет. Безусловно, маршал не мог быть предателем, как всегда, он выбрал политику, наилучшую для Франции, и просчитался.

вдруг на шею женатому человеку? А лицо бедной Дарьи Владимировны все в красных и белых пятнах, и глаза косят от позора... Какое бесстыдство, какое обезьянье бесстыдство — кинуться на шею чужому мужу! Отчего? Да разве можно объяснить? Весь спектакль она вела две роли — вслух Ирину, а про себя, в уме, в душе, роль Маши... Первую она исполняла формально, а второй жила, дышала. И когда Вершинин пришел навсегда проститься, когда она вдруг подумала: «Как же я теперь — без него?» — и случилось непонятное... Какая-то неземная сила вдруг взяла и вытолкнула ее из-за кулис, в чужую мизансцену, и бросила в его объятия... Боже, какой стоит гогот! Как они все хохочут над ней! Какой гвалт, какой гогот! Как от него спастись? Куда бежать?

После третьего поклона дали занавес, и вдруг небеса разверзлись, и хлынул ливень, и засверкали в стороне моря молнии, и грянул оглушительный гром. За ходом пьесы никто и не приметил, как подкралась к форту эта небольшая, но полная до краев туча.

— Льет как из ведра!

— Бегом, бегом в форт!

— Ой-ей-ей! — возбужденно запричитали дамы и, спасая свои праздничные наряды и прически, устремились вверх по лестнице, специально вырубленной в стене рва.

Гардемарины, кадеты, офицеры корпуса отступали под натиском ливня в стройном порядке: сначала дамы, дамы и еще раз дамы, затем маршал Петен со свитой, потом младшие кадеты, потом старшие, а когда очередь на лестнице дошла до гардемаринов, ливень внезапно кончился.

Во всеобщей суматохе никто и не заметил, куда девалась Машенька в белом платье. А между тем она выбралась изо рва совсем в другом его конце: если идти от зрительного зала по кругу, то в том месте, где ров ближе всего подходил к морю. Там был потайной лаз, крутыми ступеньками которого обычно пользовались кадеты, уходившие в ночи, тайком, для набегов на арабские сады и виноградники. Спуск из крепости по внешней стороне рва был очень крутой, но благодаря натоптанной дорожке Машеньке удалось спуститься, и она не упала, не разбилась об острые камни у подножия холма. Она спустилась кое-как, хватаясь за кустики жесткой травы, сбивая ноги, и пошла к морю. Она шагала как могла быстро, ни о чем не раздумывая, а только о море впереди себя как об избавлении от жгучего позора. Только бы уйти, только бы убежать от кошмарного гогота, что стоит в ушах и не отпускает ни на секунду: «Ха-ха-ха! Го-го-го! А-хо-хо! Ату ее! Ату!» Вперед, вперед, только вперед! Еще метров триста, и вон он, знакомый утес над морем.

Небо очистилось, светила желтоватая и яркая, как пламя, луна в голубом ореоле и было видно далеко-далеко вокруг, казалось, до самой России...

Все хлынули во внутренний двор цитадели к пиршественным столам, а Николь Дживанши обходила крепость вдоль рва, по кругу в надежде встретить юную графиню в белом платье, которая так взволновала ее и всем своим обликом, и финальной сценой. Николь не знала содержания пьесы Чехова «Три сестры», не поняла, что спектакль кончился раньше времени, но она чувствовала, что-то не так, что-то неладно! И вдруг, выйдя на ту сторону форта, что была обращена к морю, Николь увидела далеко внизу мелькающее среди камней и зарослей ежевики белое пятно. Николь присмотрелась и поняла, что это юная графиня... Николь была из догадливых и тут же кинулась к выходу из крепости, к лошадям, привязанным к поручню вблизи ворот. На ее счастье там оказался и ординарец, он как раз пришел сюда в поисках губернаторши.

— В седло! — скомандовала Николь, торопливо отвязывая от деревянного поручня своего белого жеребца.

— Что случилось, мадам?

— В седло!

Ординарец помог ей вскочить на коня. Сам отвязал свою вороную кобылу и взмыл на нее с лихостью настоящего конника.

— За мной! — скомандовала Николь и поскакала вниз от крепости по белой известняковой дороге к морю.

Дорога шла в обход, а Машенька пробивалась к утесу напрямик. Так они и сближались... стремительно и неотвратимо медленно, как во сне, когда хочется убежать и нет сил, и тебя настигают, настигают и вот-вот настигнут. Машенька ничего не видела перед собой, кроме зарослей ежевики, сквозь которые она искала проходы и продиралась, обдирая в кровь руки, ноги, плечи, вымазывая белое платье темным соком ягод. А Николь все нахлестывала своего жеребца. Наконец Машенька выбралась на чистое место и еле живая, покачиваясь, пошла к утесу — шагать ей до него оставалось метров семьдесят. А тем временем Николь и ее ординарец тоже вылетели к берегу моря, и уже лошади тяжело отбрасывали из-под копыт мокрый песок.

— Графиня! Графиня! — кричала Николь. — Графиня, остановитесь!

Но за шумом волн, и за шумом крови в ушах, и за тем гвалтом и хохотом, что преследовал ее беспощадно, Машенька ее не услышала. Наконец она добралась до утеса, взошла, пошатываясь, на самую его кромку. Взглянула мельком на белые гребешки волн, на свое изодранное в клочья белое платье в кровавых пятнах — нет, назад дороги не было. Машенька перекрестилась и бросилась головой вниз.

Через минуту, а может, и того меньше, Николь и ее ординарец подскакали к месту события. Спрыгнув с коня, Николь, не раздумывая, вошла в море, ординарец бросился за ней, еще секунд тридцать — сорок, и они уже вылавливали Марию в водах Тунисского залива. Ординарец губернаторши был ловким и сильным мужчиной. Вынеся Машеньку на берег, он немедленно стал делать все, что полагается в таких случаях.

— Наглоталась как следует! — перекрывая шум волн, крикнул он губернаторше, перевернул Машеньку лицом вниз, надавил, и вода хлынула у нее изо рта. Долго ли, коротко, но они ее откачали.

— Дышит, господи! Она дышит! — воскликнула Николь. — Какое счастье, что мы успели! Так, — обернулась она к ординарцу, — вы летите за авто губернатора — и никому ни слова! Подайте машину к берегу!

Ординарец ускакал во весь опор, а Николь продолжала отхаживать утопленницу, перетащила ее от воды на более сухое каменистое место. Шляпа Николь качалась на волнах, как странная птица, и ее уносило все дальше от берега.

Через четверть часа почти к самому берегу моря подкатило авто губернатора. Не приходящую в сознание Машеньку уложили на заднем сиденье, губернаторша примостилась рядом, взяла ее голову к себе на колени. И спасенная, и спасительница промокли насквозь, платье прилипли к телу, косы Машеньки отяжелели от воды, а прежде искусно взбитая прическа Николь сделалась совсем жалкой, и краски макияжа размазались по ее счастливому лицу. Дул свежий ветер, но Николь не ощущала холода.

— Так, мы поехали в Бизерту! Нужен врач! Нужен уход! Нужен покой! А ты бери моего коня и давай в форт. Скажешь, в чем дело, только адмиралу Герасимову, только ему одному!

— Есть! — козырнул ординарец, и водитель двинул авто в путь, в Бизерту.

А в форте Джебель-Кебир тем временем шел пир горой и музыканты настраивали свои инструменты, приготавливаясь к бальным танцам.

(Продолжение следует.)

От редакции. Специально для подписчиков «Октября» сообщаем, что заявки на книгу Вацлава Михальского «Весна в Карфагене» следует посылать по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28, стр. 1, издательство «Согласие». Просьба указать в письме свой домашний адрес, фамилию, имя и отчество. Для читателей «Октября» книга будет продаваться по оптовой издательской цене, которая значительно ниже цены розничной. Справки по телефону: 259-20-39, факсу: 959-20-47. E-mail: soglasie@mail.ru. <http://welcome.to/soglasie>

Жизнь и смерть поэта Шварца

ПЬЕСА

Действующие лица:

Валерий Шварц — старый.

Таисья — его жена, около 45 лет.

Черная маска — появляется в самом конце на 20 секунд.

В комнате есть большое зеркало, окаймленное фотографиями главного героя с «кем-то», так что когда он в нем отражается, а отражается он регулярно, это выглядит, как фрагмент иконостаса. Впрочем, и по стенам много фотографий, выглядящих фотографиями знаменитостей. Диван, кресла. Есть телевизор — развернутый от зрительного зала: когда Шварц или Таисья его смотрят, зритель наблюдает только их реакции. Магнитофон-радио. Как минимум два телефона — чтобы как можно короче было к ним добираться. Большой письменный стол, целая стена книжных полок. Какая-нибудь экзотика (она же при иной точке зрения — китч) типа ствола американской базуки, усохших до размеров кокосового ореха двух человеческих черепов, забальзамированной акульей головы, японских вееров, распластанной по стене сухой ветви дерева, огромной связки ключей, огромной линзы прожектора с маяка, нескольких дипломов в рамках. На диване, с книжкой в руке, дремлет Валерий Шварц, седой и, если позволительно так сказать, обдуманно патлатый. В противоположной стороне комнаты на гладильной доске расплющивает утюгом рубашки Таисья — огромная, с выпирающими из-под одежды грудями, ягодицами, животом, слоями жира на боках, с наросшей, словно бы второй спиной, толстыми ляжками.

Таисья. Шварц, ты розовые принял?

Шварц (сквозь дрему). Принял, принял.

Таисья. Две?

Шварц. Две, две. И еще две-две и еще две-две за вчера и за сегодня.

Таисья. Не надоело?

Шварц. Надоело, надоело.

Таисья. А зеленую?

Шварц. Три-три.

Таисья. Не надоело?

Шварц. Зеленую попеременно с красной. День зеленую, день красную.

Таисья. Не надоело придуриваться?

Шварц. А голубую?

Таисья. Голубую от потери памяти, зеленую для успокоения, красную для активизации, розовые от депрессии.

Шварц. Белую?

Таисья. Белая — антипсихотическая. От маниакальных явлений.

Шварц. Маниакальных явлений, увы, нет.

Таисья. Мания величия.

Шварц. Мании нет, только величие.

Таисья. И мании преследования.

Шварц. Зеленая от беспамятства, красная для вдохновения, розовая для восстания из мертвых. *(Окончательно просыпается.)* А противозачаточные? Почему я не принимаю противозачаточных?

Таисья. Куда интереснее, почему я их не принимаю.

Шварц *(садится; его речь сопровождается специфической жестикულიацией и гримасами, не всегда соответствующими содержанию, зато придающими неожиданную выразительность.)* Потому что Римский Папа запрещает. Специальной буллой. «Кондоминиум контрацептoрис». Городу и вселенной. А мне Папа сказал: можете. Вы лично — можете. Ты лично — можешь! И я ему: и ты, в обход буллы.

Таисья. А правда, почему ты не знаком с Папой?

Шварц. Я?! Мы с Папой объездили все кабаки по Аппиевой дороге! Он меня возил по кабакам, а я ему открыл двери во все лупанарии. Передел его в женское платье, как Ленин Керенского, и — Папа, прэго. Точнее, сам переделся: его с пятого на десятое узнавали, а меня — каждая латинская собака. Настоящая Папина фамилия — Ворошилов. А моя мать гуляла с красным комиссаром, с Климент Ефремычем. Ко мне Его Святейшество Понтификус только так и обращался: сынок.

Таисья. Багрова Папа принимал, а тебя нет.

Шварц. Багров звонил в Ватикан, в Римскую курию, клялся, что он католик. Для меня такая ложь, такое кощунство, такое «аще в анафему впадоша», неприемлемо. Я честный панмонголист. Мне из курии позвонили: а вы? Я говорю: пан-ман-га-лист! Они: а встреча с Папой? Я говорю: еще не время.

Таисья. Прими белую.

Шварц. Белая — вечерняя. А сейчас ночь, день — все, что хочешь, только не вечер. *(Поет для самого себя.)* Эх, да не вечерняя-а-я. Не вечерняя заря. Эх, да вы паденьте мне тройку серопегих...

Звонит телефон, два звонка, четыре: ни один, ни другая не двигаются с места.

Шварц. Возьми трубку. А то я возьму.

Таисья. Я тебе возьму! Человека надо выдержать. Как вино. *(Берет трубку.)* Да... Он работает, просил не отрывать... Жена... Таисья Шварц... Комитет по Государственным премиям? *(Меняя тон.)* Здравствуйте... Просто Таисья, конечно, — до отчества еще не доросла... Да?! А знаете, может, и нескромно прозвучит, но я-то думаю, что если кто и заслужил, то Валерий Шварц. Принявший лиру из рук Пастернака и Ахматовой и передавший Бродскому... *(Смеется скорее угодливо, чем искренне.)* Абсолютно. Абсолютно правы: и сам ею попользовавшийся... Две анкеты, так, две фотографии три на четыре. Четыре экземпляра последней книги, поняла. Последний сборник у него «Амальгама» — может быть, лучше «Избранное», как вы думаете?... И то, и другое? Давайте и то, и другое... *(Опять смеется так же.)* Абсолютно... Абсолютно... Именно: лучше больше, чем меньше... *(Смеется залиvisto.)* Лучше лучше, чем хуже. Именно. Абсолютно... Спасибо... Обязательно... Абс... Абсолютно... Обязательно... Подождите, он, кажется, встал из-за стола. Да. Сейчас передам ему трубку. *(Шварцу.)* Выдвигают на Госпремию. Давай, соберись. Сконцентрируйся.

Шварц снимает ближнюю к нему трубку.

Шварц *(в трубку.)* Да... Валерий Антоныч. Валерия Шварца знают званые, а Валерий Антоныча — избранные... Большая честь, большая честь.

Творческие мои амбиции вполне удовлетворены, о финансовых не будем говорить, нетрудно догадаться, но поэту много и не надо. А вот признание читателей в форме премии от государства украсило бы мой закат, украсило бы. Украсило именно так, как художник моего склада и калибра может мечтать в конце пути... Да, да, лиру, точнее две... Да, от Бориса Леонидыча и от Анны Андреевны. Из рук в руки... Да, Бродскому. **Одну** Бродскому, другую оставил себе... *(Улыбается.)* А это секрет. Какую кому — это знали только мы двое, да. Я и безвременно ушедший... Да. Для меня Ося... Анкеты-банкеты — это все по части жены. Спорт-охота-VELO-мото-фото — это все жена... Для вас Таисья — для меня Тася... *(Хохочет.)* Спасибо. И вам — всяческих. И всему Комитету — вся-чес-ких!

Таисья показывает жестами, что хочет еще что-то сказать.

Тася еще что-то хочет сказать.

Таисья. Два слова, точнее, два коротеньких вопроса. Нельзя узнать, кто еще среди соискателей?.. Пока нельзя. Нельзя — значит нельзя. А второй вопрос — муж ушел в кабинет, я хочу воспользоваться — нельзя узнать, какова сумма? Я имею в виду — денежное выражение премии. В уе. Нельзя? На нет суда нет. Считайте эти вопросы незадаанными... Спасибо... И вас... Обязательно. И вы... Абсолютно... И вами.

Оба кладут трубки. Таисья сразу набирает номер.

Тамарка, это Тася. Позвонили из Комитета по Госпремиям — Шварца выдвинули... Знаешь. Потому и звоню, что ты все знаешь. А кого еще?.. Этого козла?! Это он через нефтяников пролез. Он с ними в Сочи летал на самолете с ванной... А этот откуда?.. Из Улан-Удэ?! Никто ему не даст — из Улан-Удэ... Да хоть разгений! Дают только русским и евреям... Это еще кто такой?.. Из молодых? Молодой потерпит... Плевать на интеллигенцию — кому она нужна? Да будь за него хоть вся Академия наук — плевать... Марфу?! Это ископаемое?! Да она уже десять лет ничего не пишет... Мало ли что Шварц. Шварц — культурное явление, он может вообще в руки пера не брать... *(Слушает, не перебивая.)* Эти все не опасные. А нет Багрова?.. Вот это плохо. Ему могут. Точно. Плохо. Но не безвыходно. Ладно, вот что — сколько эта премия?.. Двадцать пять — тридцать?! Уе?! Ты уверена?.. Если что узнаешь, звони. *(Вешает трубку. Подходит к телевизору, включает. Некоторое время оба наблюдают.)* Да кому ваш Калининград нужен?.. Да кто вашего НАТО боится?.. Ну и что, что наводнение? Кончай про наводнение, кончай про землетрясение. Двигай, двигай... Во-от. «На соискание Государственной премии». *(Оба смотрят и слушают.)*

Шварц. Вот ему и надо звонить.

Таисья *(выключает телевизор, набирает номер по телефону. Шварцу).* Как, они сказали, фамилия? Челищев? Целищев? *(В телефон.)* Тамарка, это я. Дай Зойкин телефон, а?.. Чего я тебе?

Шварц *(снимает вторую трубку).* Ты ей Зойкин телефон, она тебе Зойкин телевизор.

Таисья. Шут гороховый изощряется, не обращай внимания.

Шварц. Изощряюсь в остроумии. «Шут гороховый» — это «жуть Гороховой». Там было Чека, на Гороховой: жуть. А Дзержинский — поляк — у поляков всё «вшистко-вшистко», шепелявят — передделал в «шут». Изощряюсь. Тамарка, давай я лучше с тобой буду жить... Как что? Во-первых, я получаю премию — считай, полсотни тысяч долларов. Во-вторых, я Шварц. Ты будешь спать с живой историей... Ну с полумертвой... А ты не знаешь, как спят? Похрапывая, посапывая, вставая ночью на горшок. По крайней мере выплещись. В общем, давай Зоськин номер... Зойкин — какая разница?

Тайся. Записала. Нам принесли билеты на показ Армани. Хочешь, возьму тебя вместо Шварца?

Шварц. Бери ночную рубашку и приходи.

Оба кладут трубки.

Тайся (*набирает номер*). Зоя? Прошу прощения за беспокойство, это Тайся Шварц... Вы в курсе, Зоя. Даже не знаю, с чего начать. Муж сейчас работает, в кабинете, я решила воспользоваться. Понимаете, не можете ли вы как-то донести до Целищева... Какого Щельцова?.. По телевизору сказали — Целищев... Его фамилия Щельцов? Неправильно произнесли? Уровень культуры!.. Абсолютно... донести до Щельцова, кто такой Шварц. Его место в нашей поэзии, в нашей и мировой. Все-таки получить благословение от Пастернака и Ахматовой, какие бы к ним ни предъявлять претензии, и благословить Бродского, пусть он и не вернулся на родину, — это не на каждом шагу валяется. Что касается его самого, то я решаюсь признаться: Россия для него важнее жены...

Шварц (*подсказывает*). О, Русь моя! Жена моя! До боли...

Тайся. ...ее судьба, ее слава. Дословно: о, Русь моя! Жена моя! До боли.

Шварц. ...нам ясен долгий путь.

Тайся машет на него рукой.

А лучше: я не первый воин, не последний.

Тайся. Сам он так никогда не скажет. Но я-то слышу: ходит по комнате и себе под нос: я не первый воин, не последний. Вот это какое-то, простите меня за откровенность, соединение величия и скромности. И наконец (*начинает всхлипывать*) жестокая правда, но это так: его дни сочтены. Он полон творческих сил, но смертельно болен. Он еще не знает, а мне врачи сказали. Он умирает мужественно и в то же время как ребенок. Как поэт! Протянет в лучшем случае полгода, и если не получит премии сейчас, то не получит уже никогда. (*Плачет.*) Не могу на это смотреть. Он так обрадовался, что представлен на соискание. Честное слово, как... Не могу найти слова. Да и вообще не могу говорить. Ребенок, совершенный ребенок. И воин, солдат. Не могу... Да, да... Спасибо, спасибо. Мне так нужна сейчас поддержка. Я вам правду скажу, Зоя: то, что вы теперь это знаете, мне уже достаточно. Я знаю, с кем я говорю, вы ведь сами пишете. Мне попадались ваши стихи, они ужалили меня. В конце концов дело именно в Щельцове. Хотя Шварц всегда говорит о нем с таким уважением, и мне очень хотелось бы, чтобы Щельцов вошел в наше положение через вас. Ничего другого не желаю, как чтобы он узнал это с ваших слов, в вашем сердечном изложении... Абсолютно... Абсолютно... Спасибо... В любое время... И вы... И вас... И вами... Шварц хотел вам, вам лично, послать «Избранное», но постеснялся... А «Амальгаму»?.. Обе: знаю, что это ему радость... И вас... И вы. (*Опускает трубку. Шварцу.*) Ставить надо на Пастернака, Ахматову, Бродского. Генеральная линия. Продумать как следует. Кончать импровизации.

На некоторое время диалог между ними должен состоять из слов «Пастернак», «Ахматова», «Бродский», употребляемых в функции разных частей речи. Что-то вроде:

Шварц, Тайся (*все равно в какой последовательности*). Пастернак был ахматый и бротый. Пасторный и ахматый. Ахматал меня. Не каждого, а тебя ахматал. И пасторил. Не бродско, но и не пастернако. Меньше всего ахматнически. Но в посторных ахматах. А Ахматова не могла бродскуить? Бродскитски пастерначить, я имею в виду. Так матово, хватово. Охмурять, ухмыляться, охмутать. Пасти по стерне, истерить. Бродить, бередить, бутерброд. Бродский, Бродский, Бродский. Ахматова, Ахматова. Пастернак и точка. Бродский.

Шварц. Я же шейный платок Пастернака ему послал. В Стокгольм, на Нобеля.

Таисья. Если бы! Это Пен-клуб послал. Шейный платок Пастернака Бродскому? Это Пен-клуб, десять раз уже напечатали, все знают, что Пен-клуб.

Шварц. Который был на Пасторе, когда он получил Нобеля?! Пен-клуб?! Это я послал! Броду в Стокгольм, на вручение Нобеля! И в Сен-Лоран, красный в белый горошек.

Таисья. Если бы! Сен-Лоран появился лет через десять после Пастернака. Бродский в интервью сказал.

Шварц. Ив. Ив через десять. Пен-клуб послал Ива. А это Жюль. Жюль Сен-Лоран. Я послал Жюля. И Оська получал золотую брошь из рук короля в моем платке.

Таисья. Если бы! Он был в черном фраке.

Шварц. А платок зашил в карман. У меня есть фотография кармана с зашитым внутри шейным платком. Тебя тогда еще не было. Жила у мамочки и ела сырковую массу.

Таисья. Я жила тогда у Олега.

Шварц. И ела сырковую массу.

Таисья. И лучше бы с ним и осталась. Морской офицер. Подтянутый, элегантная форма. Бархатный баритон. Сейчас уже адмирал.

Шварц. Облученный. Мужеская мощь — нуль. Только певческая.

Таисья. Тебе бы такую.

Шварц (*с интонацией заигрывания*). Таи-сья...

Таисья. Что-то быстро твои «таисьи» кончились.

Шварц. Из-за сырковой массы. Не надо было твоей мамаше меня сырковой массой кормить.

Таисья. Наворачивал, как миленький. Только успевала сумками носить. Молоко, сметана, яйца.

Шварц. Млеко-яйки, млеко-яйки. А зачем еще на молочном заводе работать?

Таисья. Она работала топ-менеджером.

Шварц. Подклеивала скорлупки кислой сывороткой.

Таисья. И твою мать кормила.

Шварц. Моя мать была звезда кишиневской оперетты. Она вращалась среди высшего комсостава, членов Политбюро, лучших из лучших.

Таисья. Моя была зато честная.

Шварц. Таи-сья. Моя твоей два пальца подавала.

Таисья. Твоя мать была сволочь.

Шварц (*лениво*). Молчи, сука.

Таисья. Твоя мать была сука.

Шварц. Это потому, что ты перед ней на коленях стояла.

Таисья. Чтобы не разрушать семью.

Шварц. Семейно. Чтобы меня захапать.

Таисья. Такое золото.

Шварц. Какое-никакое, а Пастернак-Ахматова благословили, Бродский благословился. Лиру дали и фотографию, где они вдвоем собирают ягоды.

Таисья. А сам-то ты кто?

Шварц. А сам я то, что ты у меня ноги мыла и воду пила, чтобы только я тебе дал переменить фамилию на Шварц. Как у тебя фамилия-то была, не помню. Жижиляева? Жидкоструева?

Таисья. У Олега была Кологривов, дворянская. Не Шварц пейсатый.

Шварц. Хулдомуев была у твоего Олега фамилия. Ты ему, кстати, позвони.

Таисья. С какой такой стати?

Шварц. Пусть военно-морские силы поддержат. Пусть где надо шепнет адмирал. Дескать, несем вахту, зачитываясь Шварцем. Госпремию ему ознаменуем сверхплановым проникновением в шведские территориальные воды.

Таисья. Как глазки разгорелись! Хвост распустит: поэт — то, поэт — се, по эту ничего нельзя дать, ничего нельзя отнять. А за Госпремией — ползочком на брюхе.

Шварц. Повторяй за мной, дура. Пока — не требует поэта — к священной жертве Аполлон — в заботах — суетного света — он малодушно погружен. Н-но! лишь божественный глагол... Как пробудившийся орел.

Таисья. А не стыдно? Государственная — ведь бывшая Сталинская. Который полнароду горло перерезал. Включая твоего папашу.

Шварц. «Полнароду»! А начал с кого? Я же первый от него пострадал. Как никто. Он же меня преследовал, как педофил пионера. Приплыл к нам в лагерь «Горнист» по Черному морю, увидел меня на линейке и — пл-ламя из пасти! Вот подайте мне этого мальчишечку и никого другого. Я говорю: товарищ Сталин, неудобно — октябрятский актив, комсомольцы... Он мне: Валерий! Я Берию брошу, Маленкова брошу, Лепешинских обеих, Ольгу-балерину и Ольгу Борисовну-академика, которая открыла, что живая природа образуется из неживой, уже, считай, бросил — только приходи ко мне сегодня в административный корпус. Я: Осип! Кончай! Мы не дети. Я будущий великий поэт Шварц... Он: по-о-а-эт?! И гекзаметром можешь? Я с ходу: о, Виссарёныч Иосиф, держав и пещер гладиатор! — И пентаметром? — Насморков гиперборейских, Ёсиф, ты осушител. Ладно, говорит, спасать надо паренька, гений нации, это же видно: привяжите меня к мачте и везите в Пицунду к Берии и Маленкову. (*Повторяет с грузинским акцентом.*) «Это же видно. Невооруженным глазом».

Таисья (*махнув на него рукой, укоряюще*). Циник. Уж вроде привыкла к твоему цинизму, а каждый раз с души воротит. Отца бы родного вспомнил, циник. Циничная твоя физия.

Шварц. Папаша был французский шпион, диверсант и саботажник. Откровенный враг оккупационного режима большевиков. Погиб в открытом бою с тоталитаризмом. Сталин ему слово, он Сталину пять, Сталин ему пулю, он Сталину дулю. Никто не знает, где отец кончил, как, с кем вместе, но песни о нем до сих пор ходят по зонам. (*Поет.*) «У костра чифирил я когда-то со Шварцем — он архангелу служит теперь ординарцем».

Таисья. Честное слово, я от тебя уйду. Ты мне душу — просто кислотой выжигашь. Хоть бы смешно было... Или интересно... Одно и то же каждый день, пятнадцать лет, одно и то же.

Шварц. Неужели пятнадцать? Как вчера было. Ладно, говорю, женюсь, уговорили, согласен. И твоя мать: позвольте вам руку поцеловать. Так и быть, женюсь — она чмок, женюсь — чмок, да женюсь же, женюсь — чмок, чмок.

Таисья. Ты хоть к кому-нибудь что-нибудь чувствуешь? Хоть к кому-нибудь из людей хоть какое-то тепло?

Шварц. Да я всего себя растратил на тепло к людям! Второй закон термодинамики. Энтропия мироздания непрерывно стремится к максимуму, отчего душа поэта изнашивается до минимума.

Таисья. Ты и про меня гадости говоришь.

Шварц. Про тебя?! Откуда ты это взяла?

Таисья. Мне передают.

Шварц. А ты верь больше.

Таисья. Сама слышала по параллельной линии.

Шварц. Подслушиваешь? Иногда говорю. Пусть люди меня жалеют. Да, умираю, да, жена со свету сживает. Сочувствуйте. Вознаградите за муки премией. Карта слезу любит. Это для них, для чужих. А для тебя — я хочу сказать, для себя — для нас с тобой — ты же воплощаешь мой тип женщины. Лапландско-украинский тип. Мой идеал.

Таисья. Про всех твоих жен это от тебя слышала.

Шварц. Это?! Что это?! У меня было семь жен, и у всех росла синяя борода. Отчего наши браки и не могли совершиться на небесах. Семь жен, не считая детей!

Таисья. Багров Бродского в ссылке навещал, а ты в это время по бабам бегал и по кабакам.

Шварц. С Папой Римским! Бродский один меня понимал и за это уважал.

Таисья. Все знают, что Багров к нему ездил, а ты в Союзе писателей водку пил.

Шварц. Я его тайно посещал. Об этом знаем только я и безвременно ушедший.

Таисья. Все врешь. Уже сам не знаешь, что было, чего не было. Багров написал, как пришел к нему в местную тюрьму, а тот выходит из двери под конвоем, и в руках два бидона: на одном написано «М», а на другом «Ж». А ты, как дятел: «я Бродского благословил, я Бродского благословил». (*Телефонный звонок, она снимает трубку.*) Да... Сейчас передам ему трубку. Только говорите короче, вы отрываете его от работы. (*Передает трубку Шварцу.*) Какой-то юный талант.

Шварц (*Таисье*). Поставь чаю.

Таисья уходит.

(*В трубку.*) Шварц слушает... Как вы сказали? Умелин? Не псевдоним?.. Фамилия уж больно значащая — как из Фонвизина. Милон Умелин. И что вы умеете, Умелин? Слушаю вас, смелей. (*Кладет трубку на тахту рядом с собой, идет к буфету, берет коробку шоколада, вынимает из нее конфету. Возвращается, прикладывает трубку к уху.*) Это все хорошо, а лучше прочтите стихотворение... Не мое же... Любое на ваш выбор. (*Слушает, сперва внимательно, потом отвлекается, включает телевизор.*) Всё? Ну что. Хорошее чувство языка. Прямо отличное. Отличный слух. Прямо замечательный. По первому впечатлению. Хотите напечататься? Если нужна рекомендация, напишите, что полагается, купите коробку конфет — шучу-шучу. Привезите, я подпишу... Уже печатаетесь?.. Уже три книги стихов? Тогда вы мне рекомендацию — я вам коробку конфет... Журнал «Золотое сечение»? Вас? Выдвигает? Любит? Любит и выдвигает? А я тут при чем?.. Да знаю я «Золотое сечение», как облупленных. У них меньшее так относится к большему, как большее к целому — правильно? Умелин, вы чего хотите? Чтобы я присоединился к «Кесареву сечению» и написал, что вы гений?.. О вас уже так пишут? Это плохой знак. Пишут только про то, про что хорошо получается писать... Так я в каких годах-то! Лучше оцените, сколько десятилетий обо мне не писали. Умелин, сынок, ты сочини-ка что-нибудь, чтобы все, кроме одиннадцати девочек, от тебя отвернулись — и чтобы никак было не сформулировать, что такое ты сочинил. А ко мне звони, если по делу. Нобеля могу устроить, как Бродскому, путевку со скидкой в Дом творчества. (*Опускает трубку.*)

К концу разговора входит Таисья с чайником.

Милон Умельев, из Вторчермета. Вторчермет и Интернет, сейчас в цене.

Таисья. Не Умелин?

Шварц. Очень даже умелин.

Таисья. Честное слово? Что же ты делаешь? Он же в списке на премию. Это тот молодой, за которого вся филология и интеллигенция во главе с академиком Лихачевым.

Шварц. А за меня солнцевская группировка и мировой сионистский центр.

Таисья (*набирает номер телефона. Шварц тем временем наливают себе чай*). Тамарка, опять я. Устрой ему срочно интервью — все равно для чего, только центральный. Не успела отвернуться, облажался. Расхлебывать, натурально, мне... Да ради бога: нравится — забирай. Только потому, что тебя люблю, не отдаю. А не ты бы — сама привезла в двух авоськах и в квартиру занесла. (*Кладет трубку.*)

Шварц. Рембрандт умирал в нищете, в полном одиночестве. Зато не слышал этого болотного чавканья. Пошлость засосала меня — как сказал мне шепотом Пастернак, показывая подбородком на своих баб. Юн был, не понимал тогда.

Телефонный звонок.

Танся (*в то время, как телефон продолжает звонить*). Неужели Тамарка так быстро обернулась? Только похвалы, понял? Первому Умелину. Молодой, надежда, заслужил. Потом Улан-Удэ. Само собой, старой карге. Козла из нефтяной мафии — посдержанней, но все равно одобрительно. Багрова, только если спросят, а так — вообще не упоминай. Себя не забывай, но и не трещи «я, я». С богом. (*Поднимает трубку.*) Да... Он сейчас работает, но для интервью радио «Ночная Москва», я думаю, с удовольствием оторвется. (*Передает трубку Шварцу.*)

Шварц. Шварц слушает... Почему «Ночная»? Сейчас же утро... Круглосуточно? «Круглосуточная Москва»?.. Вам в любое время. Я ваше радио выделяю за смелость и талант, мы с женой ваши слушатели... Да что вы! Пришлете недельную программу? Что ж, благодарствуйте... Да. Если у вас все готово, можно начинать... Раз-два-три, раз-два-три — хорошо? Начали. Добрый день, слушатели радиостанции «Ночная дева»!.. Сотрите и перепишите. Добрый день, слушатели радиостанции «Ночная Москва». Для меня большая честь оказаться в одном списке с самыми выдающимися поэтами сегодняшнего дня. Во-первых, молодой Умелин. Это золотое сечение современной поэзии. Меньшее в его стихах так относится к большему, как большее к целому. Разнообразие рифмы, богатая строфика, вся сложность русского синтаксиса. У него многообещающее будущее, и если он не получит премии в этом году — ничего, в его жизни будет еще много высших наград. Поэт из Улан-Удэ... Простите, никакой памяти на фамилии... Хансараев? Спасибо. Хансараев — это свежая, настроенная на диких провинциальных травах струя, так нам здесь в столицах необходимая. Теперь этот, нефтедоллары, короткая фамилия... Как? Ким, да. Про нефтедоллары, естественно, вырежьте. Открытие поэта состоялось несколько лет назад, и тогда награждение премией было бы гораздо уместнее, но следить за его развитием нам, читателям и почитателям, доставляет неподдельное удовольствие. Появление среди соискателей нашей старейшей поэтессы должно в какой-то мере уравновесить забвение ее имени в последние годы. Мы давно не видим, не слышим ее новых стихов, а жаль — по совокупности творчества она заслужила не только наше почтение, но и искреннее восхищение... Багров? А что Багров? Ах да, Багров! Мы вместе начинали, были самыми близкими друзьями, поэтому Багров для меня — второе я. Чеканные стихи, честное служение музе, не раз уже отмеченная скромность. Именно поэтому меня смутило то, что он пишет о Бродском. Ячество не украшает. Я навещал Бродского в ссылке тайно, репрессивные органы дышали тогда мне в спину, это знали только я и безвременно ушедший. Однажды он был заключен в местную тюрьму, по приказу из центра, разумеется. Я добился свидания с ним. Когда поднимался на крыльцо, он вышел из дверей под конвоем с двумя стальными баллонами — немыслимой силы был человек. На одном написано «кислород», на другом «выхлопные газы». Да, что было, то было... О себе? О себе предпочел бы не распространяться. О лире, которую я передал Бродскому, широкая публика знает не хуже нас с вами. А как я получал эту лиру из рук Пастернака и Ахматовой, уже слишком много сказано, чтобы повторять еще раз. Выражаю признательность жюри: столь точно и незашоренно выбирать кандидатов на Государственную премию! Благодарю за незаслуженно высокую оценку и моих трудов... Не за что... Присылайте, присылайте. (*Опускает трубку.*)

Танся (*восхищенно поднимает большой палец вверх*). Вот почему я тогда в тебя вцепилась! Стихи, конечно, твой поэтический дар — но стихи стихами, а

вот так умно все выложить... Мне не снилось. Тоже вроде не последний человек по этой линии, а так — знаю, что не смогу никогда. Я твой ум даже ставлю наравне с твоим талантом. А талант, поэтический дар считаю огромным — я так и в статье написала, помнишь, с которой к тебе пришла? (*Подходит к зеркалу, имитирует специфические жесты и гримасы Шварца.*) «Столь точно и незашоренно». «Настоянная на диких провинциальных травах».

Шварц. Статью написала, чтобы прийти, а пришла, чтобы захомутать.

Танся. Ну, и да, и что? Написала-то про талант, пришла-то к огромному таланту, быть рядом-то хотела с явлением русской поэзии, а не с алюминиевым олигархом.

Шварц. И дура.

Танся. И чего ждала, то получила. И тысячу раз уже тебе говорила. А что ты и так вот можешь — разобраться, обставить, пройти впригирку — этого не ждала. Как слалом. Этим ты меня и взял. (*Прижимается к Шварцу, ласкается.*)

Шварц. Таська, ты чего так жиреешь? Вон смотри. (*Показывает ей, захватывая в ладонь, складки на животе, с боков.*)

Танся (*кокетничая*). Не щекотись.

Шварц. Ты ведь когда в меня вцеплялась, половиной была. Модель. Лапландско-украинская модель. И точно под мою половину укладывалась. Тамарка под одну, ты под другую.

Танся. Конституция такая. Тамарка и сейчас стиральная доска. (*Отстраняется.*) Не можешь не испортить настроение.

Шварц. Маслом кашу не испортишь.

Танся (*отходит к книжным полкам, начинает делать упражнения аэробики, достает скакалку, пытается через нее прыгать. В промежутках говорит по фразе*). Тамарка — бэ... Моя подруга, потому... не говорю полностью... Путана... Тамарка в одно время с тобой... еще пятерых пробовала...

Шварц. Маслом кашу не испортишь.

Танся. А я тебя увидела... и у меня Олега больше не стало...

Шварц. Зато у Тамарки стало.

Танся. Тамарка — моя подруга, поэтому...

Шварц. А Олег — моя. Поэтому позвони-ка ему, не забудь.

Танся. Она пусть и звонит... Я жирная... Я твоей матери... земно кланялась... тебе ноги мыла, воду пила... Как болото, чавкаю... Тебя пошлостью засала... Тебя со свету сживаю... А позвони тому, съезди к этому — я!.. (*Останавливается, набирает по телефону номер.*) Олег, это Тася. Не забыл свою бывшую жену, товарищ адмирал?.. До малейшей черточки... Постоянно задаю себе этот вопрос. Может быть, и ошибка. Иногда нет сомнений — ошибка. Иногда думаю: все-таки я была балласт — у него свое плаванье... Как с тобой, никогда ни с кем... Вот потому и звоню. Он сейчас у врача, а мне врач уже все сказал. В общем, кранты. Речь идет о неделях, ну месяцах. (*Всхлипывает.*) Не обращай внимания. Вдруг сегодня позвонили, что выдвигают на Госпремию. Ну погремушка для младенца, но он и есть младенец. Засуетился, запыхтел: ладно, пойду к врачу, а то год уже из дому не выходит. Олег, я чего звоню. Ты никого из этого мира не знаешь — а вдруг? Ты заметный военачальник... А кого ты знаешь?.. Щельцо-ова?! Водку с ним пьешь? Так это же в десятку! Накрыл цель с первого залпа! Олежек, ты же рыцарь, ты лежачих не топчешь. Шварц повержен, не своди с ним счеты. Наоборот, покажи великодушие. Скажи Щельцову, что Шварц гений, что умирает. Что, между прочим, входит в жюри премии «Карнавал». У Щельцова есть эта Зоя, секретарша. Она пишет стихи... (*Посмеивается.*) Мы все знаем. И про секретаршу, и про хозяина. Замнем для ясности. Премия Шварцу — акт человеколюбия, внуши этому Щельцову. Шварц отзывчив, он может ответить, к примеру, «Карнавалом»... Поверь, не грубо. Поверь, не грубо: Щельцов поймет с полуслова — что я его, не знаю?.. При чем тут «лично»? При чем тут «лично»? У всех у вас мужиков одно в башке, без исключения. Я что, по-твоему, путана? Я его видела по телеку — поверь, он поймет с полуслова... Ой, что

ты, я растолстела! Две таких, как была. Тебе, тебе досталась лучшая моя пора... Шварцу немножко, самый конец, не ревнуй... И я... Так точно, мой адмирал... И я... Так точно... Абсолютно. Сто футов под килем! Целую. (*Кладет трубку.*)

Шварц. Ну это был сеанс! Флагман дал течь, голову на отсечение.

Таисья. Опустошена. Не ревнуй. (*Идет к буфету, вынимает кусок торта и жадно ест.*) Ты меня хоть раз в жизни ревновал?

Шварц. Таська, откуда ревности-то взялась?

Таисья. Потому что ни разу не любил!

Шварц. Ну уж ни разу! Я и сейчас тебя как-то такое люблю. А когда ты ко мне пришла, так, насколько помню, очень даже. Ты, конечно, была волчица, но ведь и дворняжка тоже. Нет, чего-то меня тронуло, насколько помню. Такая дворняжечка тепленькая, ушки прижаты, и зубки скалит. Везде носик сует и все боится, что не туда. Нет, я нежность чувствовал, определенно. Очень нравилось, как зубки скалила,— ждал, чтобы пришла и скалила. И при этом ушки прижимала. Вообще — ждал. Представь себе. Чтобы пришла.

Таисья. А Тamarку?

Шварц. Тamarку по-другому. Я человек долга. Назначена встреча — я жду. Но ты была дворняжечка, тепленькая. Я тебя ждал и не в назначенное время. Насколько помню.

Таисья (*подходит к нему, ласкает*). Плохо, что жиреют, дряхлеют. Не хватают, не тискают, не слюнявят. Не вопят стихи почему зря.

Шварц. Двух строчек придумать не могут.

Таисья. Не женят на себе. Не гоняются. Не лезут, когда их не звали. Не назначают время, не ждут в неназначенное. Не приходят, не становятся перед матерью на колени.

Шварц. Становятся полудохлой историей.

Таисья. Не скалятся, не лижутся, не хватают, не тискают.

Шварц. Это тело, Таисья. А есть дух! Пневма.

Таисья. Не задыхаются в пароксизме страсти.

Шварц. Спят, сопят... Это, впрочем, как раз неплохо.

Таисья. Не хотят поменять фамилию на Шварц.

Шварц. Выбивают себе премию.

Таисья. Монету.

Шварц. Зубы. Кишки. Пыль. Дух.

Звонит телефон.

Таисья. Давай, Шварц, получим тридцать тысяч уе и уедем на Кипр.

Шварц. «Эй, люди Кипра, поклонитесь леди!» И там ты меня зарежешь, как Дездемона Отелу.

Таисья (*берет трубку*). Таисья Шварц слушает... Он сейчас работает... «Золотое сечение»? Сейчас передам ему телефон. (*Зажимает трубку.*) Главный редактор. «Сечения».

Шварц. Как его зовут-то? Мы же знакомы.

Таисья. Кузьма Аркадьич.

Шварц (*снимает трубку*). Кузьма, ты куда пропал? Слушай, вы тут толкового паренька откопали, Умельцева, он мне звонил... Умелина. Я его отметил в интервью. Пять минут назад. Ты насчет него?.. Насчет и не насчет?.. Ты в жюри Госпремии?! Председатель жюри?! Ты? А Целищев?

Таисья (*зажимая свою трубку, выразительным шепотом*). Щельцов!

Шварц. Щельцов, Щельцов. Целищев — это мой друг, олимпийский чемпион... По стрельбе из лука... По стрельбе из лука по летающим тарелочкам. Что ты пристал? Он — чемпион, ты — председатель, а Щельцов — замминистра. Он и распоряжается, правильно? А жюри жюри. Я сам в жюри «Купола»...

Таисья (*так же*). «Карнавала»!

Шварц. Тьфу ты, «Карнавала»... Потому и звонишь?.. Ты мне «честно говоря» — и я тебе «честно говоря»: золотые твои слова! Умелин твой жидковат. На гос. Вы его раскручиваете, но сколько? Полгода? Я про него даже не слышал. А на «Карнавал» может потянуть. А «Купол» бы даже и выиграл... Нет, «Купола» нет, но если бы был, он бы выиграл... И я серьезно. В общем, Кузьма, я тебя понял. Называется — «методом подстановки и замещения». Он парень перспективный: разнообразие рифмы, богатая строфика, вся сложность русского синтаксиса. «А» относится к «б», как «б» к «а плюс б» — шестой класс, задачник Ларичева. Далеко не пойдет, а статейка тут, премия там (*на мотив арии Фигаро*) — премия, премия, премия... «Карнавал» — уе немного, тыща. Не все, Кузьма, на деньги меряется, в «Карнавале» главное — престижность. Из рук самого Шварца. Лира... Раз слышал, повторять не буду. Всё, заматано. У меня заматано, а у тебя-то схвачено?.. Как говорит моя жена — абсолютно... Так точно.

Шварц и Таисья опускают трубки.

Кузьма, Кузьма, не быть тебе говновозом, так и останешься весь век черпалой.

Таисья. Да ты почти что завалил все дело! Просто чудом из глубокой ямы вылез — дуракам везет. Кто тебя тянул за язык говорить Умелину, что ты о нем думаешь?

Шварц. Не что думаю, а что есть.

Таисья. Кто ты такой, чтобы знать, что есть? Он ему тут же перезвонил. Только и умеешь нести околесицу. Какой-то «Купол», какой-то олимпийский чемпион. Я со стороны слушала: маразм и наглость. Дешевая наглость и глубокий маразм. Что бы мы делали, если бы он этот вариант не предложил? Просто невероятное везение, и благодари бога. (*Крестится; скороговоркой.*) Благодений и даров туне, яко раби непотребные, сподоблшесе, владыко.

Шварц. Ты, Таска, грубое мясо-молочное животное и в литературной механике — профан. Умеешь заискивать, умеешь льстить, умеешь плакаться. Чтобы прописаться в Москве — годится, и не больше. Шварц — диктует. Шварц **должен** путать имена и названия, **должен** нести околесицу. Дыр-бул-шир, понятно? Не **Шварц** — поэт, а **поэт** — это Шварц. Полуземной, полунебесный, гонимый участью чудесной. Демиург. Ты и слова-то такого не знаешь. Я из трав и вер тарарахнул синзивер — а ты уж переводи. Для адмирала, для шеф-повара, для Зои и Перепетуи.

Таисья. Ты, Шварц, без меня сейчас бы в бомжатнике гнил.

Шварц. С Бодлером и Эдгаром По. Выдвинули-то не тебя, а меня — вот и думай.

Звонит телефон.

Таисья. А Кузьма, как ты думаешь, не перекинется?

Шварц. Ты что! Кристальный большевик. Немножко с концом советской власти не подфартило, а так — быть ему в ЦК.

Таисья (*снимает телефонную трубку*). Квартира Шварца... Радио «Дорога»? Что за радио «Дорога»?.. Для автомобилистов? А при чем тут поэт Шварц?.. От Тamarы?.. (*Прикрывает трубку, Шварцу.*) «Ночная Москва», выходит, сама по себе звонила. (*В трубку.*) Шварц сейчас работает, я узнаю.

Шварц. Бешеный спрос на Шварца. (*Снимает свою трубку.*) Здравствуй, «Дорога»... Да, так и начнем: здравствуй, дорога! Раз-два-три, раз-два-три — хорошо? Начали. Список соискателей — цвет русской поэзии сегодняшнего дня. Вяземский — Жуковский — Дельвиг — Языков. Багров. Вместе начинали, ближайший мой друг — второе «я». Иногда читаю его стихи и не знаю, им это написано или мною. Чеканные строчки, честное служение музе — и скромность, редкое качество для настоящего поэта. Мы с ним навещали Бродского в ссылке, ре-

прессивные органы дышали в спину. Поднимаемся на крыльцо, а он выходит из двери под конвоем с двумя воздушными шарами. На одном «С Восьмым марта», на другом «С двадцать третьим февраля». Что было, то было. Хансараев, Улан-Удэ. Свежая, дикая, степная, провинциальная — есть такое слово — **просо-одия**. Мы здесь в **Сити** — заждались. Цой.

Таисья (*прикрывая свою трубку*). Ким.

Шварц (*делая рукой знак, что так и надо*). Что я «Цой» — Ким! Ким. Открыли мы его дай бог памяти когда, тогда бы и награждать. Улита наша больно медленно едет. Сейчас поэт на распутье: то ли продолжать творчество, то ли окончательно уйти в нефтяной бизнес. Читателям-почитателям хотелось бы первого, да не соблазнился бы, боюсь, вторым. Нашел я в списке имя нашей старейшины. Для меня она Марфа, мы познакомились, когда ей было — неважно — Марфа и Марфа. Что сказать — справедливо. Забвения она не заслужила, а что новых стихов нет — так у всех поэтов бывает кризис, а у поэтесс особенно. Наконец, Умелин. Будь я в жюри, безоговорочно: пальму первенства — ему. Рифма к рифме, строфочка к строфочке, синтаксис — загляденье. Будущее многообещающее, хочу пожелать ему множить и множить — талант на трудолюбие, трудолюбие на талант... О себе? О себе предпочел бы не распространяться. Про лиру Бродскому все знают — убедился в поездках по стране и за рубежом. Как она мне досталась от Пастернака и Ахматовой, чего повторять? Последнее — жюри пронциательное и незашоренное. И немудрено, если в его состав входят такие люди, как главный редактор «Золотого сечения». За оценку моего **музыкального** труда — зёмно кланяюсь... Не за что, не за что... Программу пилотных передач? Не знаю, что такое, но присылайте, обязательно.

Оба опускают трубки.

Таисья. А все-таки лезть — рвотное.

Шварц. Кто понимает толк в жизни, специально глотает рвотное, чтобы есть не останавливаясь.

Таисья. По-твоему, не перебор?! «Такие золотые люди», признательность-проницательность.

Шварц. У тебя — был бы перебор. У Шварца — душевная щедрость. Поэт — щедр, пойми ты это. Живешь с поэтом четверть, считай, века, и как была Жижилева, так и осталась.

Таисья. А почему Цой?

Шварц. А догадайся.

Таисья. Подлец ты, Шварц. Я тоже подлец, но у меня подлости низкие. Поэтому что я сама такая. А у тебя — какие-то **специально** подлые. Ким, Цой — и не сказать, в чем дело, а точно знаешь, что подло.

Шварц. К поэту не прилипнет — очистительный эффект искусства.

Таисья. Ну? Ты видишь? Опять подлота.

Шварц. А «Шварц» и значит «подлец». На египетском.

Звонит телефон.

Вот что «Жижилева» значит, кто бы сказал.

Таисья. «Жижилева» значит «низкая душонка». Если за таким, как ты, охотилась, ниже не бывает. (*Снимает трубку*.) Таисья Шварц, слушаю... Ой, Тамарка, спасибо. Ты слышала? Это уже второе, первое было по «Ночной Москве»... Подожди, подожди... Тамара, да ты чего?.. Так сюжет же другой... Давай я его самого дам. (*Прикрыв трубку, Шварцу*.) Что ты ее не упомянул.

Шварц (*снимает трубку*). Сияние неутоленных глаз бессмертного любовника Тамары слушает... Паясничаю, но это — высокое паясничанье... Низкое у нас с тобой, Тамарица, позади... Где ты слушала? Это радио для автолюбителей. Ты что, в дороге?.. Говорил не для тебя, а для плавающих-путешествующих... Не

упомянул и не упомяну. Потому что не стану швырять самое дорогое к ногам черни... Паясничая, но это — высокое паясничанье... Живу с Жидкоструевой, но в глазах ты. Эротическое наваждение. Физически — Жижилева, метафизический — ты... Мало я тебе стихов посвятил? Хочешь жалкой радиопопулярности?.. Ну и снял посвящения, и что? Потому что не хочу бросать к ногам черни. Хочешь, я тебе все посвящу, где есть буква тэ? Отдельной книжкой — «Любовное наваждение», Тамаре Икс... Устрой новое интервью, я скажу, что моя муза — ты... Радио «Для тех, кто в горе»?.. «В море»? Отлично. Те, кто в море, узнают, как ты там, на суше... Не приставай — договаривайся с адмиралом Кологривовым... А то я не догадался! Договаривайся и включай радиоточку. *(Опускает трубку.)*

Танся *(опускает свою и с размаху бьет Шварца по шее, он еле уворачивается, она повторяет попытки)*. За музу!.. За эротическое!.. За Жижилеву!.. Жидкоструеву!.. Метафизику!

Шварц *(защищаясь)*. Останешься без Шварца!.. Без премии!.. Без перспектив!.. Без знания!.. пружин!..

Танся. За позади!.. За адмирала!

Шварц. ...человеческой!.. натуры!..

Танся *(останавливается; торжественно)*. Ноги об себя вытирать не позволю.

Шварц. Далась тебе ноги.

Танся. Да, Таська! Да, не Шварц! Да, жиртрест-мясокомбинат! Таська — дай лизнуть. Таська — сыром воняет. На всю школу, на все дискотеки, на весь университет. Да, да, да! Жижилева! Но не Икс! Не Тamarочка. Не матрешка. Не плешара.

Шварц. Ты чего сбесилась, шимпанзе?

Танся. Обрубок. С Кимом так разговаривай — и с Цоем. С Хансаревым из Улан-Удэ. *(Телефонный звонок; хватает трубку.)* Нет его дома! *(Швыряет трубку в гнездо.)* Моя мать воровала, но по-честному. А твоя...

Телефонный звонок.

...была Шварц! Шшш-варц! Понятно? Я твои стихи знаю наизусть. Все! Меня ими тошнит. От них! Специально учила, чтобы стать женой поэта.

Шварц. Мечтой. Возьми трубку.

Танся. Еще того лучше — мечтой! Мечтой поэта. Сам бери.

Шварц. Грязной мечтой поэта. *(Снимает трубку.)* Я... Ким? А голос похож на Цоя. Сто лет тебя не слышал, вот и путаю... Никак не разучусь шутить... Ты какой страшный стал! Возьми псевдоним — Ким Филби... За что за всё?.. За шутки заплачу, а за нефтяной бизнес денег не хватит. Если премию получу... Поэт, а такой страшный!.. Ни в каком ты не в бизнесе? Слушай, это серьезное дело. Я же не из головы выдумал. Все уверены, что ты с нефтяниками ударяешь по шампуню, а ты паладин рифмы и ритма. Ты дай опровержение по телевизору... Паладин, а страшный, как спецназ. Филби, ты чего мне грозишь? За мной три вокзала и израильский моссад. Не знал я, что ты с нефтью порвал, что теперь делать? Настройся на волну «За тех, кто в море» — я дам опровержение... Поэту не идет быть богатым. Особенно богатому... А я бедный. Пропусти нищего, защити убогого. А я тебе премию «Купол»... Новая... Я... Будешь первым... Да не маленькая. Скажи своим, чтоб подбросили, — станет еще больше. Главное, престижная... Скажи своим, чтобы поддержали Шварца в гос. Иначе говоря, чтоб не лезли, — этим и поддержали... Умелин, Марфа — декорация, Хансарев вообще для блезира... От Багрова держись подальше. Советую. Сам знаешь, мы вместе начинали — сейчас ему руки никто не подает. Он здоровается, ему не отвечают. Не хочу вас ссорить, а то бы сказал, что он про тебя говорит... Не хочешь ссорить... Не хочешь ссорить. Понял? Не-хо-ро-ссо. Давай, звони. *(Кладет трубку.)*

Таисья (смотрит на него со смесью недоумения и уважения). Я тебя, Шварц, иногда боюсь. А ты сам не боишься? Что застрелят?

Шварц. Песню не убьешь. У тебя, Таисья, большая активная масса, но нет в тебе искры божьей, понимаешь? Соображение есть, пылкость чувств, мышечная энергия — а таланта нет. Даже себя жалеешь по-сиротски, по-приютски. Все не хуже, чем у других, дак ведь и не лучше. (Начинает набирать телефонный номер.) Занято.

Таисья. Кому звонишь?

Шварц. Ты в рамках. Ну лауреат, ну Кипр. Ты нырни за. Повезет — и премию подхватишь, и мужика-стахановца, и анекдот про чукчу. Не повезет; так хоть выкупаешься. (Набирает номер, слушает, опускает трубку.) А какое счастье в рамках? «Муж умирает, скрасьте его последние дни». Неплохо, но слабо. Как в метро... У мужа вырос дубликат, помогите законной супруге. Уже интересней.

Таисья. Муж подорвался на чеченской mine, оторвало все хозяйство.

Шварц. Ну в этом направлении. (Набирает номер, слушает, кладет трубку.) Когда муж умирает, ум мужает. Вот и сообрази.

Телефонный звонок.

Таисья. Мужа выдвинули на Нобеля, неудобно, если получит раньше Госпремии.

Шварц. Муж изобрел средство от малярии, опробовал на себе...

Таисья. ...отметьте премией его новый сборник. (Берет трубку.) Секретариат поэта Шварца... Какой Роттердам?.. Ах, Роттердам-заграница! Айн момент. (Шварцу.) Роттердам, из-за границы. Там вроде по-немецки.

Шварц (берет трубку). Йа, фройляйн, дер гроссе поэтише Шварцкоф их бин хир... Шварц, яволь, коррекционе... Инглиш? Инглиш из майне второй языкцих, секундо спикинг... Фестивальрюх? Нот премиум? Нот пер нелле госпремиум телефонато?.. Фестивальрюх дер тутти-фрутти поэтике энегергционе?.. Йес, все время на немецкий сносит, дёйче алле цайт... Инглиш, инглиш, о'кей... Инвитейшн аугустус, понимаю, приглашение на август, чего же не понять! Визитору аугустус месяц. Ферштейн реализациум.

Таисья делает знаки.

Анфоченетли, онли виз вумен. Мит фрау. Уй, уй, уй, авэк фам. Си же морте, эль донато таблеторе... Йес. Таисса Шварцкоф. Шварц, Шварц. Май грэндфаза Шварцкоф, конфузиале. Аугустус, фестивальрюх поэтизмо, цвай персона, индид. Фэнк ю вери-вери, иф ю андестэнд вот ай мин. (Кладет трубку.) В августе едем на фестиваль в Роттердаме Эразмском. Кончил шикарно — «иф ю андестэнд вот ай мин».

Таисья. Это я тебя научила. Чего ты язык-то выучить не можешь?

Шварц. Язык, Таиссо Шварцкоф, не учат, а сосут. Высовывают и прикусывают.

Телефонный звонок.

Ты еще научи меня сну! И как потеть. И вдыхать-выдыхать. Меня — языку.

Таисья (берет трубку). Приемная поэта Шварца... Даю. (Шварцу.) «Для тех, кто в море».

Шварц. Раз-два-три, раз-два-три, проверка микрофона... Прямой эфир? Отлично... Сто футов вам под килем, те, кто в море. У нас на суше атмосферное давление в норме, единственный шторм, который прошел, — это выдвижение поэтической элиты страны на Государственную премию. Молодая золотая фанфара Умелин, многоопытная медовоголосая виолончель Ким, тихострунные гусли нашей старшей поэтессы. Умелин на всех парусах летит также и к премии

«Карнавал», которую у него, возможно, даже больше шансов выиграть. Поклонники энергоемкой лирики Кима ждут, что если не гос, то престижный «Купол» ему, во всяком случае, обеспечен. Наша Сафо обладает несравненной, как сказали бы на флоте, остойчивостью и солидным водоизмещением. Багров, продолжу в том же духе, погрузился в настоящее время, как глубоководный батискаф, в пучину морскую, пожелаем ему благополучного всплытия. И, наконец, Валерий Шварц, ваш покорный слуга. Погиб и кормщик и гребец, лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозой с моею верною музюю. Подруги поэта меняются, а муза — единственна. Мы с адмиралом Кологривовым проходили по океану жизни одними маршрутами: сперва он бросил якорь в некоей прелестной лагуне, потом я. Зато в другой я был первый, он последовал за мною. Сирены пели нам: имя одной — Тамара, другой — Таисья. Пусть ни которая не обижается — своим музыкальным слухом я обязан обеим. Абсолютным, замечу, слухом — почему и сумел безошибочно настроить лиры, врученные мне Ахматовой и Пастернаком, и передать одну из них Бродскому. Попутного вам ветра, вы, кто в море!.. (*Выдерживает паузу.*) Ага... Прошло?... Ну, попутного ветра. (*Опускает трубку.*)

Пауза продолжается.

Немного занесло. Бывает... В целом получилось. Понятно, что я хотел сказать. Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. Где мои голубые таблетки? (*Ложится на тахту.*) Я его знать не знал, помнил какого-то Хулдомуева, это ты мне брякнула — Кологривов.

Звонит телефон.

Бери трубку и расхлебывай. И не делай лица — никакой катастрофы не произошло. Ляпнул, но ничего ужасного. Поэт всегда впадает в транс, мир от него этого ждет. Вакхический транс для тех, кто в море.

Таисья (*снимает трубку*). Олежек? Слушал?... Ты видишь, как он разбалансирован. Распад организма и как следствие психики... Понравилось?! Ты шутишь... Про нас с Тамаркой?... Лагуна — красивое слово? А не повредит по службе?... Время гуманитарное, но ведь армия, дисциплина... Армия с человеческим лицом?... Что было, то было? Что было, то было... Да, в нашу гавань заходили корабли. В нашу с ней. Хотя для женского достоинства оскорбительно... Дело вкуса... Я говорю: публичность — дело вкуса... Время откровенное, но личного еще никто не отменял... Да, и женской скромности... Да, и стыдливости... Да, в женской природе... Да, женское достоинство...

Шварц. Проще, женщина, проще. По-военному.

Таисья (*в трубку*). Проще надо относиться? По-военному? Это ты говоришь?... Потому что и он говорит... Дать ему трубку?

Шварц (*снимает трубку*). Эмир-аль-бахр?... Это по-арабски. Начальник моря... Да давно уже надо познакомиться, условности мешали... Таисья — золото. Умница, энергичная, хозяйка. Золотая баба. Но баба — ты согласен?... Да мы уже поделили. Я тебе стихами скажу: любовью дорожить умеете, с годами — вдвое дорожить... Считай, что я... Любовь легко сыграть на флейте, но нелегко в футляр вложить... А чего ж не почитать? Приходи, захвати мензурку, пройдемся по местам боевой славы. Я тебе «Амальгаму» надпишу и заодно «Избранное»... Давай, Олег, ага. Олег Кологривов — красиво. Дворянская фамилия. Не Карамазов какой-нибудь.

Опускают трубки.

Таисья (*обескураженно*). А это-то зачем ляпнул, объясни. Больше ничего, как человека обделать. Или я опять глубины замысла не понимаю?

Шварц. С языка сорвалось. Я же говорю, где мои голубые таблетки?

Таисья. Хотя и правда — тебе всё на пользу. А я всё ошибаюсь, тоже правда. Думаю, раз адмирал, значит, потоньше, чем мичман. Один в один, прогресс ноль. Когда мичман, еще поделикатнее был, старался. «Время откровенное». Время такое откровенное, что поэт Шварц — свой в казарме, а ротный командир — у французских символистов. А все-таки ты поаккуратнее — нарвешься, не дай бог, на кого-нибудь, кто тебя и бесстыжей, и врет отважней, и хамит веселей. И перестанет этот перстень — как его...

Шварц. Поликратов.

Таисья. ...на тебя ишачить.

Шварц (*набирает номер*). Поликратов. Я тебе книгу подарю, «Летучие слова», а то неудобно: жена Шварца как-никак. (*В трубку.*) Алё, Марфа? Это Шварц. (*Таисье.*) Забыл, зачем звоню. (*В трубку.*) Звоню, чтобы услышать твой голос. Таисья с тобой поговорить хотела. (*Передает трубку Таисье.*)

Таисья (*ошеломленная и сдерживая ярость на Шварца — в трубку*). Я все Марфа-Марфа, а отчества... Ну, пусть Марфа. Просто хотела сказать, какое для меня счастье, что вас выдвинули на премию... Дерьмо? Премия, может, и дерьмо, а деньги... Деньги — самое? Знаю ли я, что деньги — мифологический заместитель экскрементов?.. Шварц мог бы научить? (*Прикрывая трубку рукой — Шварцу.*) Злобная-я! Кобра. (*Шварц делает рукой кругообразные жесты, как бы заводит машину.*) Мог бы, но не стал. Решил меня побережь... (*Шварц делает одобрителный знак.*) Сейчас у него узнаю. (*Шварцу.*) Она спрашивает, где вторая лира. Которую ты себе оставил.

Шварц (*берет у Таисьи трубку*). Что делать, Марфа, музыка отступила от меня. Как от Блока. (*Возвращает трубку Таисье.*)

Таисья. Это снова я... Ну да, брал же без расписки... И у Пастернака, и у Ахматовой... (*Шварцу.*) Она спрашивает: а у Блока?

Шварц. Скажи ей: таинственное брашно. Какие об этом могут быть записи?

Таисья. Он говорит: таинственное брашно, без записей... (*Шварцу.*) Она говорит: ну да, чтобы не было улик. Говорит: теперь понятно, почему ни у той, ни у другого ни в одном дневнике, ни в записной книжке ни разу Шварц не встречается.

Шварц (*выхватывает у Таисьи трубку*). Тебя больно много, змея! (*Возвращает трубку Таисье.*)

Таисья. Это я... (*Шварцу.*) Она говорит: много не много, а пять раз у него, три у нее... (*В трубку.*) У вас сейчас Багров? Кланяется? И от нас ему. Да, Багров встречается. Одиннадцать и двадцать три? Подумайте, сколько!

Шварц (*выхватывает у Таисьи трубку и брякает в гнездо*). Людей, которые меня не любят, я ненавижу. Я их обоих переживу и размажу по литературе — корочки никто не сколупнет!

Таисья. Ты зачем ее мне сунул?

Шварц. Догадайся. Ну? Аэробика мозга! Не все же через скакалку прыгать.

Таисья. Однако крыса!

Шварц. Вот мой народ, вот с кем я всю жизнь прожил!

Звонит телефон.

Если она, скажи: не тяни меня, Марфа, за струну — я не арфа. Она поймет. Была у девушки слабость.

Таисья. А если Багров?

Шварц. А если Багров, дашь мне.

Таисья (*берет трубку*). Да... Он работает, но попробую... Что значит «ни фера он не работает»? Вы что хамите?.. Здравствуйтесь. У себя на буровых так выражайтесь. (*Показывает Шварцу, чтобы взял трубку.*)

Шварц (*берет свою трубку*). Ким? А голос как у Багрова... На Таисью не

наезжай, Таисья золото... Всё, про буровые больше ни слова... Всё, забыли, что такое нефть, смесь углеводородов... Слушал? Ну? Энергоемкая лирика Кима. «Купол» у тебя в кармане... Как это нет никакого «Купола»?.. От кого?.. А ты больше их слушай, бензовозов!.. Всё, сорвалось с языка, про бензовозы ни-ни-ни... Вот что, Ким, «Купол» «Куполом», одни говорят — есть, другие — нет, а давай сделаем премию специально под тебя. «Тюльпан»... Ничего не **физжу**, абсолютно серьезно — ты что, по голосу не слышишь? Премию за поэзию земли. За поэзию четырех стихий. Не «Тюльпан» — «Чабрец». «Серебряный чабрец». Ты знаешь, как чабрец выглядит?.. Называется друг природы. Ветвистый стебель, узколанцетные листья, светло-лиловые цветки, чашечка колокольчатая, венчик двугубый, тычинок четыре. Двадцать тысяч уе. Я председатель жюри. Подберем десять геологов с гитарами, я подберу — чтобы с тобой соревновались. На день МЧС вручим... Министерство по чрезвычайным ситуациям... Как кто даст?! Твои... Сам знаешь кто. Сперва на роток платок, а теперь: кто?.. Объясни, обговори кому сколько чего — по-деловому. Проблемы твои, но небольшие. Скажи, что серьезно, а не шутки юмора — госпремия царя Артемия... Да не пугай ты! Ты со мной дружи, а пугай «Бритиш петролеум»... Клянусь, без задней мысли! Скоро «бензин» нельзя будет сказать.

Шварц и Таисья опускают трубки.

Как ты говоришь? Опустошена. Больше не зови. *(Пауза. Берет скакалку, приготавливается как будто для прыганья, неловко перекидывает шнур над головой, переступает через него, подносит ручку скакалки к уху, как телефонную трубку.)* Але, соедините меня с промискуитетом по государственным премиям. *(Таисье.)* Ничего не слышу на левое ухо. Какой-то Ким, какой-то Кузьма, юноша Умелин — за всю жизнь с ними меньше разговаривал, чем за эти полчаса. Мореплавателя не забудь из Адмиралтейства! Радио га-га, радио ду-ду! Это ты меня втравила.

Таисья. Я?!

Шварц. И изобретатель телефона Александр Белл.

Таисья. Я делала только, что ты просил.

Шварц. Я просил?! Я тебя просил звонить бабам на одно лицо с тобой и замминистрам на одно лицо с военачальником Олегом?! Ты еще Пастернаку с Ахматовой звякни.

Таисья. Не знакома. Могу только Бродскому. С Бродским все знакомы.

Шварц. Бродский мне сам *(показывает пальцем наверх)* звонит.

Телефонный звонок.

Ты, ты, сама, сама. С Марфой ты — вполне, вполне. Если она, скажи: не дергай, Марфа, мохер из шарфа. Мохер, шерсть была такая. *(Подходит к гладильной доске, начинает медленно водить утюгом по красной блузке.)*

Таисья *(берет трубку)*. Таисья Шварц... Узнала, Кузьма Аркадьич, узнала... Просто Кузьма? Тогда — Тася... Шварц отошел... Типун вам на язык: к каким праотцам? Просто вышел... Гарантии? Так вы же со Шварцем договорились... Увы, абсолютно согласна. Поэт и, как всякий поэт, ветрен. Но у него есть я... Конечно, никакого «Купола» нет, «Купол» — фрейдистские фантазии. Но «Карнавал» отходит вам, вашему Умелину — это я гарантирую. На девяносто девять процентов. Сто гарантирует не кто, как Всевышний, я на процент меньше. Займусь жюри — чтобы исключить случайности. Нельзя травмировать молодое дарование. Ритмическое буйство, богатство рифм, своеобразие синтаксиса — нельзя. В общем, может открывать счет в банке...

Шварц садится в кресло, прикрывает глаза.

Кузьма, мне вы можете довериться, как самому себе. Ни единой душе. Даже захотела бы — вы председатель жюри Госпремии: что я, враг себе?.. Клянусь... Тем более... Абсолютно... Умелин — женщина?! Поэтесса?! А как же по телефону... мужским голосом?.. Специально тренируется? Теперь понимаю почему, как натолкнулась на стихи, сразу подумала: абсолютно мужское дарование... Дорогой вам человек? Да этого одного для меня достаточно... Премия Ватикана за лучшие стихи не-католика? Что вы говорите!.. Сам Римский Папа... И я его понимаю. О его поэтическом чутье знаю со слов Шварца... Конечно, знаком и, я бы сказала, интимно. И я бы осмелилась сказать, он Папу и научил в стихах разбираться... Кузьма, о деле нам больше незачем разговаривать, я правильно поняла?.. Вы правильно поняли... Надо познакомиться лично... Нет, лично... Кто знает?.. Для «Золотого сечения»? Только если перепечатать мою раннюю статью о Шварце... С тех пор не писала, семейные захлестнули заботы... Как малое дитя. В стихах — воин, гладиатор, а так — малое дитя. Ну, поэт, вы же знаете... В любое время. *(Кладет трубку.)*

Шварц *(не открывая глаз)*. Что значит «нет, лично»?

Таисья. Он сказал: лично познакомиться — или интимно, как Шварц с Папой.

Шварц. А «кто знает?» про что?

Таисья. Шварц, а ты ревнуешь. Знаешь — как у Гогена.

Шварц. Я знаю, как у Гогена. Хм, Кузьма — неплохая партия, если я, например, к праотцам.

Таисья. Шварцик! Типун тебе на язык. Где, кстати, серые таблетки?

Шварц. А Умелин, значит, того. Сделал пересадку. Теперь ему, ее, ея, ей «Карнавала» не дать нельзя. Говорила ты — первый класс. Я бы, конечно, прибил «может открывать счет в сбербанке», но ты не я.

Таисья. Ты что! Я же так и сказала. Ты дремал, сквозь сон услышал и подумал, что самому на ум пришло.

Шварц. Ты сказала «в банке», а я «в сбербанке».

Таисья. Где же все-таки серые таблетки?

Шварц. Ты с серыми не торопись. Придет время, и без серых обойдется.

Таисья. Бытовая параноя, советское прошлое... В них же миллидоли кураре, укрепляет стенки сосудов головного мозга.

Шварц *(театрально смеется)*. Кураре! Стрела обмокнута в кураре. Уже не стеснясь. Паралич попеременно-полосатых мышц, смерть от удушья при полном сознании. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Таисья — не гони картину, механик.

Таисья. Миллидоли! Милли! *(Идет к магнитофону.)* Надо тоже с голосом поработать. Как эта Эллен-Цимбеллин. На всякий случай. На случай неполного сознания. *(Находит и ставит кассету, раздается «Издадека долго» в исполнении Зыкиной; подпеваает; выключает.)* Не, слишком на тебя не похоже. *(Меняет кассету, раздается «Лаллабай оф бедлэнд» в исполнении Эллы Фицджералд; подпеваает. Шварцу.)* Ты Элле Фицджералд лиру не давал?

Шварц. А вот слышишь коду на лире? Вот: дн-дн-дн, дн-дн-дн. Как думаешь, кто играет?

Телефонный звонок.

Из крематория, уже. Торгуйся, Таисья. Скажи: без пяти минут лауреат Государственной премии, гроб дубовый, но со скидкой. Скажи про этого, про Бродского, — Пастернака там уже не знают. Настаивай на бесплатном оркестре.

Таисья *(берет трубку)*. Тамарк?.. Не дозвониться?.. Кто звонил? Нам звонили. Не мы, а нам... Тамарк... Тамарк... Тамарк... Потому что гордыня... А меня не оскорбил? А я жена... А ты смиряйся, я же смиряюсь... Тщеславие. Че ты такая тщеславная, Тамарк? Ты такой не была... Самовлюбленность. Че ты та-

Входит Таисья.

Вот она, слава богу, пришла, передаю трубку. (*Передает трубку Таисье.*)
Зоя.

Таисья. В аптеку бегала. Укрепляем сосуды головного мозга... Кураре, но в миллидолях... Миллидо-оли... Абсолютно. Ну раз в аптеке продается... Абсолютно... Передали! Какая вы душенька! Честное слово, насяду на Шварца, чтобы выбил вам премию. «Карнавал» в этом году уже занят, а на будущий... Не скромничайте, ваши стихи ужалили меня. Не помню уже, в каком журнале, открыла и — ужалили. Так нам Щельцову звонить не надо?.. Сказал, что сам позвонит? Да что вы? Знаете, грустно: живем в одном городе и не видимся... Почему со Щельцовым — с вами. И со Щельцовым в конце концов тоже, почему нет?.. Спасибо... Конечно... Еще бы. (*Кладет трубку.*) Спасибо, абсолютно, еще бы, конечно, так точно, так далее. Я человек суеверный, но гос — тьфу-тьфу-тьфу, где тут по дереву постучать, — наша. За неполных полдня — учишь!

Шварц. Суеверие — пагубно. Суеверие и сквернословие. Пагубны. «Пагубны», пьеса для саксофона.

Таисья. Прими таблетку. И я, знаешь что, на углу тебе порнушку купила. (*Достаёт кассету; пока вставляет её и переключает телевизор, Шварц перематывает ленту магнитофона.*)

Шварц (*сидясь перед телевизором*). Роскошь — пагуба телу, разврат — душе. Па-а, гу-гу-гу, ба-ба-гу, ба-ба.

В том, что оба делают, глядя на экран, и как реагируют на фильм, главное — полная отчужденность от него. Разумеется, в зал не должно доноситься и никаких звуков с экрана.

Что-то это мне напоминает. Что-то вроде замедленной съемки. Созревание моркови и томатов. Смотри, смотри, исполины входят к дочерям человеческим. Кольхание штор. В ритме млекопитающих. Рекламный ролик.

Таисья. Подожди, так это и не порно. Подсунули, паскуды. Пойду верну... Или порно, как тебе кажется?

Шварц. А думаешь, созревание моркови и томатов — не порно? Подглядыванье же. Японская оптика. Ты посмотри через микроскоп «Ямаха» на штору, посмотри. Там такое увидишь!

Таисья. Нет, порно... Тебе *эта* нравится?

Шварц. Где-то я её видел. В сберкассе, что ли?

Таисья. А что ты думаешь: им же копейки платят.

Шварц. Этот — Багров в молодости.

Таисья. Багров был такой брутальный?

Шварц. Нет, изящный. Шейным платком похож. И глубокой, увы, бездуховностью.

Таисья. Не может развязать.

Шварц. Символ внутренней борьбы. Этот платочек еще себя покажет. В час сладостного бесчинства.

Таисья. Ты веришь, что у Цветаевой с этой, как её, что-то было?

Шварц. С Парнок? Не верю. Я у пионервожатой спрашивал. Она сказала: Валерий, такого не может быть.

Таисья. Ахматова ничего не говорила?

Шварц. Я Ахматову в глаза не видел.

Таисья. Шварц! Ты что?

Шварц. Девяносто девять — сто. Багров видел. И мне рассказывал.

Таисья. А ты?!

Шварц. Гляди. Я же говорил. Эта из сберкассы помогает. Развязала... Я? Я рассказываю лучше Багрова.

Таисья. Что?

Шварц. Всё... Это не порно. Мелодрама. Подсунули, ты права... Не волнуйся: Пастернака видел, не вру. Созревание моркови и пастернака, замедленная съемка.

Таисья. Совсем не разговаривают. Ты со мной разговаривал.

Шварц. Я всегда разговариваю.

Телефонный звонок.

Таисья. Совсем ты охладел ко мне, Шварц.

Шварц (*отвлеченно*). Я? К тебе? Нет, все-таки порно. Я к тебе не охладел. (*Похлопывает Таисью по бокам.*) Не охладел, но, как бы сказать, и не пылаю. Ты права.

Таисья (*не отрываясь от экрана, поднимает трубку*). Умелин? Шварца нет дома, но оставил распоряжения. С вами все в порядке, можете открывать счет в сбербанке... (*Постепенно, от фразы к фразе, ее голос становится ниже.*) Сказал, что вы многогранно одаренная... Почему в женском роде? Потому что натура. Многогранная. С одной стороны, глубокие традиции русской классики, с другой — вневременность, отказ от диалога с историей... Именно этими словами. Сказал, что в вас сошлись Инь и Янь, экстраверт и интраверт, мужчина и женщина. Выпуклость и округлость, мускул и мякоть. Кость и тина. Бас и сопрано. Верх и низ, он имеет в виду — радио и инстинкт. Вы сейчас не смотрите телевизор?.. Не важно, специальная программа... Так говорил Шварц. Он даже был в растерянности, все спрашивал: кто такой Умелин? А вы что скажете, Умелин? Кто вы в конце концов? Сами-то как считаете? Бас или сопрано? Кость или тина? Мускул-мякоть или выпуклость-округлость? Отвечайте. Я обращаюсь к вам, как женщина и мужчина к женщине и мужчине. Вы верите, что у Цветаевой было с этой?.. С Парнок, да-да, верите?

Шварц выключает телевизор.

С удовольствием... Ваши стихи входят в меня, как горячий нож в масло... Давайте... На вручении премии «Карнавал»?.. (*Холодно.*) Инкогнито так инкогнито, я сама против амикошонства. До «Карнавала». (*Опускает трубку.*) Из молодых да ранний. Ранняя. Подумаешь — журнальная фаворитка, всех дел-то. Ты сочини-ка такое, чтобы все, кроме психованных девиц, от тебя отвернулись и чтобы никому было не разжевать...

Шварц. Прожевать.

Таисья. Я говорю, не разжевать для читателей — что это ты сочинил. Правильно? И тогда звони к Шварцам.

Шварц. Ты че-то как-то это. Вдохновилась.

Таисья (*после паузы, во время которой может даже возвратиться к глазке*). Ты насчет Ахматовой так сказал?

Шварц. Уже и не знаю. Иногда — вроде видел, в другой раз — никогда, а в третий — пустота, и всё.

Таисья. Что же делать? Ты же историческое лицо. В конце концов лира.

Шварц. В том-то и дело. И спросить не у кого. Только если спиритически. Я умею.

Таисья. У Андрея Белого научился?

Шварц. У заместителя далай-ламы по духовным связям. (*Начинает задерживать шторы.*) Симпатичный парень (*показывает раскосость*), тридцати нет, чакры продукты, карма блестит, эгрегер разогрет немислимо.

Таисья. Ты всерьез? Не боишься? Ты же крещеный, Шварц!

Шварц. Вот именно: не я крещеный, а я крещеный Шварц.

Таисья задерживает шторы на другом окне, Шварц ставит на стол и зажигает свечу, комната погружается в сумрак, подсвечены только лица и единенные руки; и еще горит красным глазок магнитофона.

На змею помножен лебедь.
Трижды три выходит девять.
Три нужны, но хватит двух,
чтобы в воздух выпал дух.
Рот ко рту и руку в руку,
духа выдохнем друг другу.
К суше, водный дух, причаль,
дух воздушный, отвечай.

Голос (судя по всему, Шварца, искаженный записью на магнитофонную ленту, с завываниями). Кого — вам?

Шварц (Таисья). Кого? Ахматову опасно. Вдруг скажет: не знаю такого — мне будет неприятно. (В сторону голоса.) Кто поблизости.

Голос. Я — Эдуард — Багрицкий.

Шварц. Эдуард, чем докажешь?

Голос. Пе-ейте, коты-ы — ваше пи-иво — пропа-ахшее — по-отом и спермой.

Шварц. Эдуард, видел я когда-нибудь Анну Всея Руси или не видел?

Голос. Таис-с-ся! Не сжи-ва-ай со света Шва-арца! Не жги-и его таблетками, поняла? Ты, Таська, его угро-обить хочешь, отравить, а ты без Шва-арца — но-оль без па-альца! Поняла?

Таисья встает, распахивает шторы, задувает свечу.

Таис-с-ся! Но-оль без па-альца, це-ентнер са-альца.

Вмешивается невнятное бормотание телевизора.

Шварц (магнитофонным голосом). А зря-а ты, Таис-ся. (Обычным.) Буду тебе являться — отравленный — (магнитофонным) и души-и-ить.

Телефонный звонок.

Таисья (берет трубку). Отец Парфений! Как вы вовремя!.. Конечно, не дозвониться: нашего раба Божия на премию выдвинули... Потому и звоните?.. Молебен о ниспослании благ видимых и невидимых? Ну вы сами с ним договоритесь. Отец Парфений, а спиритизм, если в шутку, грех?.. Вы шутите. (Шварцу.) Говорит, не только не грех, а добродетель. Посмеяние блуда бесовского... Да... Да... Все... Все... Все — учить, учиться — никто. Абсолютно... Бегают по-козлиному по улицам, да, да... Как-то все не решусь. Вы бы лучше сами с ним, а?.. Передаю. Благословите, отец Парфений. (Передаёт трубку Шварцу.)

Шварц. Отец Портфельий, как дела?.. Нашими молитвами — тогда хреново. Музыка отошла от меня — как от Блока — а без музыки какая молитва... А это мы тебя так за глаза зовем — отец Портфельий, по-домашнему... А че ты такой важный, что и назвать нельзя? Дialeктическому материализму учился, таким не был. Конспекты не жалел, вся группа по ним сдавала, я первый. Паки и паки преклоняю колена... Молебен о ниспослании? Толково, толково! А нельзя по телефону?.. А благословлять можно?.. Тогда благослови на получение ниспослания... С чего вдруг?! Пожара нет. Ни разу не венчался, и ни с того ни с сего — под хомут... Браки, отец Пенетрефий, чтоб ты знал, заключаются на небесах. Или мы уже в браке, или не в браке — а отсюда туда подсказывать некрасиво... А мы и не в интимных... И не в супружеских... И не в близких... Как ваше преподабие учило — птичечками на веточках. Таисьячка на которая потолок, а я на прутике. Качаемся и поем люли-люли яко во псалтири и гуслех... Девять, не считая детей, — со всеми не навенчаешься... Отче Портфелие, ты святой человек — кто спорит? Ты священник милостью Божьей. Но также и отличник по марксистско-ленинской эстетике. Тоже немало. И немного. В самый раз. А я — поэт неизреченной Его же милостью. Молебен отслужи. Ничего в этом плохого. С

моей, несвятой точки зрения. Заочный. Без проповеди. А получу премию, обмыем. Отчистим и обмыем... Как спорхнет с сучочка, обмыу. (*Опускает трубку.*)

Таисья берет скакалку, но словно бы не знает, что с ней делать: несколько прыжков, растягивание, взмахи как кнутом, кружение над головой.

Мне говорить — уже шея болит. От исходящего звука. Язык-то к шее крепится, ты не знала? Леонардо да Винчи открыл. (*Изображает «человека» с чертежа Леонардо. Подходит к зеркалу.*) Какие-то желваки выросли за ушами...

Таисья. Жуешь много. За завтраком час, в обед — два и вечером два с половиной.

Шварц. Окова-алок.

Таисья (*в тон*). Огры-ызок.

Шварц. ...родимые пятна на висках. С чего бы, интересно, родимые, если сколько лет уже не рожаясь?.. Пуп скривился вправо. Грыжа, наверно.

Таисья. Неоткуда. Ничего тяжелей солонки не поднимаешь.

Шварц. Таська-Таська-Таська, рожу-рожу-рожу веселей! Уста, ланиты, бельма — веселе-ей! Чего злая? Чем недовольна? Я на молодке женился, на юнице, на отроковице, чтоб веселила мою старость. Чего я бате-то святому не так сказал? Тебе же не райское блаженство нужно. А премия. А премия — не по молебному ведомству.

Таисья (*спокойно*). Скотина ты, Шварц. Что ты с жизнью моей сделал?

Неожиданно отчетливо из магнитофона раздается голос Шварца.

Голос Шварца. Зоя. Грустно как-то... Я говорю: грустно стало чего-то... Метафизика — роскошь, вся... Немножко роскоши, а, почему бы нет? Много жизни — и немного роскоши, а? Масса физики — и чуточку метафизики, вы против, Зоя?.. При чем тут Таисья?.. Я ее боюсь, жутко... Представляете, я умираю, а передо мной она. Одна. А я — умираю. Ну момент такой, смерти. И никого — Таська. Ужас.

Пауза. Таисья отвлеченно продолжает манипуляции со скакалкой. Шварц, улыбаясь, разваливается в кресле.

Таисья. Нарочно оставил?

Шварц. Ничего тайного, что бы не стало явным.

Таисья. Думаешь, не уйду.

Шварц. Думаю, нет.

Таисья. Думаешь, из-за премии.

Шварц. Думаю, вообще... Из-за библиотеки.

Таисья. Умный-умный, а дурак. Я книг в руки не беру. Разве что, когда померешь, продать.

Шварц. Метафизической.

Таисья. Что «метафизической»?

Шварц. Библиотеки метафизической.

Таисья. Главное — сказать, да? Язык без костей. Метафизика-метафизика — как туману подпустить, так метафизика.

Шварц. Главное — сказать, да. Твой великий друг Бродский метафизикой называл все, что ему нравилось. А физикой — что не нравилось. Двойка была по физике, и за это выперли его из школы... Я — библиотека (*стучит пальцем по голове, по языку, по груди*). Я брал книги в руки — тебе и дотрагиваться не нужно. Книги, книги, книги, мои книги! Вот кого я хотел бы иметь перед глазами в минуту, когда стану хрипеть. Всех вместе — потому что каждую знаю, с каждой спал. С каждой жил, спал, вступал в предосудительную связь. Про каждую помню, как подходил на улице, заигрывал в трамвае, приставал, клеил, тра-

тил рубли и копейки, заводил домой. Что было в жизни — в них было лучше. Что было со мной — было в них. Девятьсот девяносто тысяч, не считая детей. Ничего не жаль, а вас — до воя!

Тасья хлещет скакалкой по книжным полкам.

Брось, Тасья, не ревнуй. Гоген с тебя картины не напишет, а без Гогена ты ноль без пальца.

Телефонный звонок.

Без Гогена, без Шопена, без Валерия Шварца.

Тасья (*поднимает трубку*). Тасья Жижилыева... Жена. Передаю трубку... Меня?.. Какой Хансараев? Ах, Хансараев, Госпремия. Я этим не занимаюсь... Не по этому делу?.. Вы?! Читали мою статью о Шварце?! Уважаете безмерно?.. Его? Так при чем тут я?.. Меня... Больше, чем уважаете? (*Садится в кресло, слушает.*) Не нужна премия... Отказываетесь... Считаете, что Шварц единственный заслуживает... Сколько отар?.. А в каждой?.. Ну да, зачем вам премия? Только при чем тут я?.. Один раз видели и читали одну статью. А я только одну и написала... Куда?.. В Улан-Удэ?.. Двести семьдесят один солнечный день в году... Байкал. Так я же замужем... Никаких туч, безоблачный брак... Н-не совсем. А вы женаты?.. Ну да, для вас не проблема. Для Шварца тоже. Выходит, для одной меня. Спасибо, Хансараев... Спасибо, Ульма, я подумаю... Абсолютно... И вас... И вы... (*Уже опускает трубку, снова рывком подносит к уху.*) Эй, Ульма! Я тронута. Вы меня тронули, Ульма. (*Кладет трубку.*) Двести семьдесят один день солнце.

Шварц. На что это ты сказала «не совсем».

Тасья. Он спросил, первый ли ты у меня мужчина... Двести семьдесят один. (*Плачет.*) Ну хоть один-то этот мог же быть попасмурнее. Неужели солнечных двухсот семидесяти не хватило бы?

Звонит телефон. Пантомима: Шварц и Тасья предлагают и убеждают друг друга взять трубку.

Шварц (*поднимает трубку*). Валерий Шварц внимает... Для кого Натаныч, для кого Антоныч — а кто говорит?.. Щельцов? А вы откуда знаете, господин министр?.. Зам? Не мелочитесь... Голос? Голос никого не напоминает. Шалапина — а так никого... Фамилия? Фамилия напоминает Целищева — олимпийский чемпион по поднятию гири, дружан мой... Бертольд? Погоди, погоди. Ну я Бертольд. Была такая кличка — Бертольд Шварц, школьные дела. А вы-то откуда?.. Говорит ли мне что-нибудь слово Хулдомуев? За партой со мной сидел?! А я весь день думаю: кто такой? с чего привязался? А он за партой. Виктор Хулдомуев. А вы-то?.. Во втором ряду у окна?! Я вам?! И какое прозвище?.. Чего вы меня экзаменуете? Ну какое? Как-нибудь «іцёлка»?.. Лещ?.. Лещ? В смысле дать леща... Я тебе?.. Давал леща? Щельцов, я тебя вспомнил! Леха Щельцов... Кеха? Кеха Щельцов — помню как облупленного... Это ты гигант, а не я... Это ты гений... Ладно, гений — я, но ты гигант... Хорошие шансы? Слушай, у тебя есть секретарша, Зоя, классная поэтесса. Я не я буду, если не выбью ей «Карнавал»... Кеха, ты обалдел. Какая коррупция?! Баба пишет классные стихи, слежу за ее творчеством с шестнадцати лет, с ее — и я не могу присудить ей жалкую тыщу уе?! Ты мне можешь, а я ей нет?! Давай, Лещ, сойдемся и обьемем. Встреча одноклассников. Я тебе «Амальгаму» преподнесу и «Избранное». Хулдомуев пусть приходит, адмирал... Кологривов, Кологривов. Он, ты, я — обьемем и обговорим... Супруга? Супруга моя Тасья — ей за мной как за каменной стеной. И мне за ней — поделом коту Тасья. (*Опускает трубку. Тасья.*) Ты поняла!

Тасья. Про Багрова он ничего не сказал?

Шварц. Про Багрова никто не может сказать. Багров — недосыгаемая высота, Монблан морали. В нашем навозе не копаются. Рыцарь добрых нравов литературы. Ему премию давать даже неудобно. Даже обсуждать неудобно.

Таисья. Надо было спросить.

Шварц. Я у самого Багрова спрошу. Час настал. Теперь безопасно. (*Тянет-ся к телефону.*)

Телефон звонит. Повторяется пантомима просьб и отказов взять трубку — правда, короче предыдущей.

Таисья (*поднимает трубку; низким голосом, имитируя интонации Шварца*). Шварц внепланет... Ким, ты меня сегодня задрочил... Не хотят «Серебряный чабрец» — значит, не хотят... Не дают — значит, не дают. Хочешь, попробуйся получить гос, я не возражаю. Я тебе сказал: проблемы — твои... Большие — значит, найди больших людей... Где, где — на бензоколонке, вот где... Совсем невменяемый стал. Че ты сквернослов такой? Че ты, сквернослов, угрожаешь? Я задействую органы правопорядка... Че ты меня русскому языку учишь? «Бензоколонка» говорить не запрещено. Бензозаправочная станция. Бензоколонка, бензоколонкой, бензоколонке. Женский род, первое склонение... Че у тебя словарь такой бедный? Ты же поэт. Бери пример с Цоя... (*Шварцу.*) Бросил трубку.

Шварц. Дай-ка. (*Набирает номер. В трубку.*) Угадай, кто звонит... Не быть мне богатым. Багров, ну чего, все стихи пишешь?... Читал. Неплохо, без подливки, конец — в яблочко. Надо и мне такое написать. А нельзя то же самое? Сейчас всем плевать, кто у кого спер. А не надоело? Еще стихотворение, опять стихотворение. А от меня музыка отступила. Как от Блока. Ты чего книжку последнюю не присылаешь? Наверно, все у меня скатал, боишься, разоблачу?... Тридцать рублей? Тридцать рублей — деньги. Где я их возьму?

Таисья (*зубами*). Правильно. Надо всем не давать забывать, что ты бедный.

Шварц. Объявить дефолт? Безжалостный ты. Сердце у тебя есть? И мелочный: у старого товарища нет денег, и жидишься книгу прислать... Про бидоны — у тебя. Ничего не говорю: про бидоны ты придумал... Ну не придумал — было: какая разница?... Ты видишь разницу? Крохобор... Что значит не мое? Не мое, а чье? Если ничье, так почти мое. А и не мое — что с того? Мое, не мое — крохобор... Ну платок, ну шейный... Не **Ива** Сен-Лорана, а **Жюля** Сен-Лорана... Я получил из рук вдовы — значит, она меня обманула... Чего ты так нервничаешь из-за тряпки драной?... Бродский — не клоун? Бродский — не клоун... А в карман, представь себе, зашил... Ну не зашил: какая разница?... Ну не в пятьдесят восьмом, ну в шестидесятом. Слушай! Ты гигант мелочности!.. Таисью не обижай. Таисью в обиду не дам. На меня, своего старого друга, который тебя в рифму сочинять научил, клеветчи, а женщину оставь в покое... Я серьезно говорю. Нелепое существо, нелепое создание. У тебя, Багров, один дефект, малюсенький, но есть. У всех по дефекту, у меня, например, что я себе жизнь сочиняю. Встречи, связи, свары, любви — с людьми, которых в глаза не видел. Не бог весть какой дефект, поверь. А у тебя — что ты, что такое «нелепое», никогда не понимал, не понимаешь, не поймешь. У тебя все — лепое. Стихи твои лепые. Вся судьба на зависть. А эта нелепая тварь, из простейшей лапландско-украинской плоти, это нелепое создание — **мое** создание. Главное произведение. Сочинение. Увы, главное. Может быть, единственное. И как мне тебе, альпийскому снегу, это внушить, не знаю. Сияй. (*Кладет трубку.*)

Пауза.

Таисья. Это правда?

Шварц (*на разные интонации*). Правда. Правда. Правда. Правда. Ты от меня, Таська, когда-нибудь правду слышала? Так что ж, все это неправда была? А? Раскинь мозгами, вруби интуицию. Правда. Правда. Не все может быть сделано,

но все может быть сказано. Не все сделанное может о себе сказать. Но **сказать** можно обо всем сделанном. **Сказать** — главное. **Сказать** — наслаждение. Сказать, сказать, сказать. Всю жизнь обожал сказать. Как я люблю — сказать! Таисья, какая это роскошь — сказать!

Таисья. Про что ты сказал «не обижай»?

Шварц. Твоя, говорит, **Таисья**, мне Бродский рассказывал, видела его десять минут, рта не открыла, а теперь «мы с Иосифом то», «мне Иосиф это».

Таисья. Я ни при ком не открывала. Думаешь, приятно, когда мы в гостях, — сидеть, молчать, приглядываться, может, что пригодится?.. Надо будет Щельцову сказать, что Багров с бензоколонок процент получает.

Шварц. Клеветчи, валькирия. Только пойми: клевета — не правда. Это над правдой надо поработать, чтоб была позабористей. А клевета чем бездарней, тем пронзительней.

Таисья. Жаль, что музыка отошла от тебя. Я твою музыку люблю.

Шварц. Ну не совсем, не совсем. Так ж-ж-ж-ж — еще жужжит. (*Читает стихи, не интонируя, не «подавая» смысл — только ритм и звук.*)

Да что, в самом деле, случилось?

Ну, рад умирать, ну, не рад,
ведь это от музыки чисел
свобода — не так ли, Сократ?

Ее еще нужно услышать.
Но если ты глоснешь, щегол,
не проще ли струнами вышить
для голоса темный чехол?

Не в такт и не счетом уйти мы
согласны — а с тем, что болит.
Не звук, а лучи паутины
покинуть — не так ли, Эвклид?

Не жалуйся, лютия, что узко
последнее было жильё.
Ах, музыка, музыка, музыка,
ведь я еще помню ее.

Пауза.

Таисья. Шварц, как это у тебя начинается?

Шварц. Когда. Не как — когда. Начинается? Сразу началось. Не помню, что-бы когда-то не было, помню, что уже было. Со мной — как с кем-то. А когда с кем-то — то обязательно со мной. Всё целиком, всё, что со всеми, — со мной. Только потому всё — что я. Шагаю, пульс бухает, колеса стучат, часики тикают, лист качается — изо всего мне слово, полслова, сложок. Ничего не уходит, никуда не ушло, никакого «когда» нет — я всегда уже родился, всегда ритм. Не Ахматова-Пастернак, а Шекспир-Данте. Они базарят, и я не меньше их. Втроем-вчетвером-впятером — кто подошел, с теми ля-ля-ля, ля-ля-ля. В школе, на воле, везде. Щельцова-Хулдомуева вижу, как в тумане, Портфелия — только почерк, Марфу — сквозь паранджу, а эти — локоть в локоть. Багров — порезче, Бродский — порезче, иногда наравне с ними, заодно со мной. Что раньше, что позже, непонятно... Чего-то я заговариваюсь. (*Свешивает голову на спинку кресла.*)

Таисья (*наклоняется к нему*). Шварц. Что ты? Где черные таблетки?

Шварц. Скушаны. Вместе с белыми. Дай просто валерьянки. В каплях.

Таисья. При чем тут валерьянка?!

Шварц. Догадайся. Бром с валерианой. В каплях.

Таисья. Я сбегаю к соседям. Не помирай. (*Выходит.*)

Шварц (*открывает глаза, берет телефонную трубку, набирает номер*). Зоя? Зоя, жизнь моя...

Входит человек в глухой черной маске.

Маска. Валерий Антонович Шварц?

Шварц (*кладет трубку в гнездо*). Нет.

Маска. Не фуфли.

Шварц. Честное слово. Натанович.

Маска (*вынимает револьвер с глушителем*). Сказано — к бензоколонкам не прикасаться?!

Шварц. Стойте. Сперва скажите: кто укусил Ахилла за пятку?

Маска (*стреляет Шварцу в грудь*). Бензоколонки — святое. (*Стреляет в лоб.*) Не за пятку, а за сухожилие. (*Уходит.*)

Входит Таисья, подходит к креслу, некоторое время смотрит на неподвижного Шварца. Машинально берет скакалку, делает два нелепых прыжка. Подходит к буфету, ест кусок торта. Берет телефонную трубку, набирает номер.

Таисья (*голосом Шварца*). Зоя? Зоя, жизнь моя, соедините со Щельцовым... Я?.. Только что? Это интересно. Нет-нет, не я. Я не... Ага... Лещá? Бертольд Шварц. Ты представляешь? Багров проник в архивы, взял дневники Пастернака и Ахматовой и отовсюду вымарал мою фамилию.

Занавес



Неприкасаемое

* * *

Когда-то небо было белым,
Все было в нем белым-бело,
На небе гуси голубели,
И в них шмаляли из стволов.

Тогда гусиные овалы
По перебитому крылу
Зеленой кровью поливали,
Должно быть, красную траву.

Авангардистские артели,
Смещая жизнь на полотно,
Меняли краски как хотели.
А смыслу было все равно.

* * *

Пахнет скошенная трава.
Пахнут колотые дрова.
Огонь не пахнет,
Но пахнет дым.
Пахнет кровь молодого барашка.
Пахнешь и ты, замарашка,
Чем-то своим.

* * *

Долго жить буду, Костя,
Долго, целую вечность,
Долго жить буду, долго,
Гораздо дольше, чем ты,

Но я буду жить раньше
На целое тысячелетье
И даже в памяти камня
Тебя не переживу.

Я буду идти на север,
Верить каждому шагу,
И, если кто-то из смертных
Ударит меня мечом,—
Пойди, помирись с ними,
Возьми за меня виру,
А после сложи сагу,
Если будет о чем.

* * *

Мои стихи. Однажды я увидел,
Как их читает через двести лет
Безногий мальчик в доме инвалидов
И слушает его слепой сосед.

В их жизни терпеливой, монотонной
Лишь смена простынь дней сбивает счет,
Вслед за старинной книгой телефонной,
Мои стихи, настал и ваш черед.

Они читали, строк не понимая,
Дивясь словам, которых больше нет,
И плакали, друг друга обнимая,
И это было через двести лет!

А я смотрел на них, немой от счастья,
Ненужных слов не проронил в ответ
На это запоздалое участие
К моим стихам, которых я поэт!

Я мог сказать: друзья мои, поверьте,
В сих стихах, в забытых письменах,
Я послан к вам, чтоб рассказать о смерти,
Но я смолчу о ваших именах.

* * *

Говорят, Стратановский — хороший поэт,
Я его как-нибудь почитаю.
Говорят, что неважно обут и одет.
Подошью, подобью, подлатаю.
Пьет портвейн, говорят,
Ну и пусть говорят,—
Я бы выпил сейчас хоть какого.
Он слова говорит не подряд, говорят:
Я и сам говорю бестолково.

* * *

Чем крепче Россию полюбим,
Тем легче умрем за нее
И тело младое застудим
В холодных объятьях ее.

По стенкам ползи, полусиний,
И девочек русских губи,
Но родину нашу Россию
С любого похмелья люби.

Эпоха сменяет эпоху,
Но русскому все нипочем.
Не думай, что русским быть плохо.
Не бойся. Не плачь ни о чем.

Девятое февраля

Флаги яркие несут,
Песни громкие поют:
Завтра Пушкина убьют,
Завтра Пушкина убьют!

Лучшее стихотворение Пригова

Не дай вам бог быть среди тех,
Кого народ не понимает,
Кого земля не принимает
И не преследует успех.

И если быть вам среди тех,
Кого народ не понимает,
То пусть земля не принимает,
Пусть не преследует успех.

А вдруг настигнет вас успех?
А вдруг народ запонимает?
А вслед земля запринимает
Не одного, а сразу всех.

* * *

Она была вдовой поэта,
Который жил давным-давно,
В музеях есть его портреты,
О нем снимается кино.

А путь его был очень долог,
О том поведала вдова,
А люди думали — филолог
Сказал привычные слова,

А люди знали — есть плохие
И есть хорошие стихи,
Есть книготорг, полиграфия
И нет поэтов никаких.

* * *

Был май и канун премиальных,
Тюльпаны давно расцвели,
И мысль была материальна
В самой атмосфере Земли.

Он шел с городского вокзала
По густорастущей траве,
Но мысль на лету замерзала
В холодной его голове.

* * *

Гуляет клещ энцефалитный
В лесах удмуртских весь июнь,
Еще неопытен и юн,
Единственный, почти элитный.

И я захаживаю в лес,
Имея праздный интерес.

И долго ль мне гулять по свету,
Решает клещ в минуту эту.

Наверное, я был прощен,
И мы не встретились с клещом.

* * *

Я поверил в существование
Параллельных миров,
В коммунальной квартире,
В один из таких вечеров.

Кухня была просторной —
Газ, телефон, свет.
Общий вид законный
Да сырой туалет.

Мы встречались на кухне
Каждый день на рассвете.
Ну — иногда — в ванной.
И — никогда — в туалете!

* * *

Ровным клином пять на пять
Птицы пестрые летят.
К сердцу родины летят.
И стоит мохнатый пахарь —
В центр ехарь, палкой махарь,
К парикмахеру его
Не заманишь калачом.

* * *

Однажды по знакомству
Я с немцем говорил.
Меня наш местный консул
За то благодарил.

Пропахший льном и сеном,
Весь в мире и в мечте,
Я ткнул ему на север,
И он меня ферштейн.

Я никогда на немцев
Руки не подниму.
Хоть всё они ферштейны
И гады потому.

* * *

И Шуберт на воде,
И Тюрин на машине,
И Гегель, вопреки снующий в пустоте,
Обмерили собой
Вселенские аршины,
Но ни одним из них
Я стать не захотел.

Быть может, прежде нас
Уже родился кто-то
И напечатался в газете областной,
И потому мы трудимся в субботу,
А Тюрин что, он старый и больной.

* * *

А в стихах у меня Мандельштама нашли,
Отловили и выгнали в шею...

Урок

Вот это — слой дорожного песка.
А это — благодатный черноземный.
А вот и глина. Не для мастеров.
Вот это? Я не знаю, что откуда.
А вот и наш — культурный, и под ним
Два путника скелетами своими
Все камни отлежали за сто лет.
Вот их-то нам и нужно. Для чего?
Сперва сложи в мешочек аккуратно
Сухие кости. Не смешай, смотри,
А то потом вовек не разберешься.
Культурный. Бог весть что.
За глиной — благодатный черноземный
И снова наш — дорожного песка,
Благословенный — будущий культурный —
Родной песок, где мы с тобой стоим.
А путников не помню звали как.
Должно быть, Пригов одного,
Другого — Гандлевский как-нибудь
Или наоборот.

* * *

Загляни в глаза чудовищ...
Н. Гумилев

В гостинной трали-вали —
Легко и на века
На скрипке Страдивари
Играет музыкант.

В казарменном подвале
Рогатый автомат,
Как скрипку Страдивари,
Примеривал солдат.

Один придет с концерта,
Другой придет с войны,
И будут оба-двое
Отечества сыны.

Солдат погиб с улыбкой,
И смерть ему легка,
А музыкант со скрипкой
Бессмертен на века!

Играй на скрипке, мальчик,
Да пальцы береги —
Найдется автоматчик
Из мальчиков других.

* * *

Я лиру завещал народу своему.
Пускай он сам себе теперь стихи слагает.



Вспышки

Светлые курчавые облака с серыми подбрюшьями неподвижны. Они висят на бледно-голубом фоне неба. Свежая, еще лишенная усталости, майская листва. Зеленое дрожанье прорезано белыми полосками березовых стволов. Ниже взгляд упирается в соседний дом. Он мешает мне. Из него торчат антенны. Что-то ловят. Рубчатый шведский пластик покрывает стены дома. Пластик очень ровный. Он прикрыл некачественный бурый кирпич, из которого на самом деле построен дом. Стенка как нарисованная. Но плохо, что антенны так торчат. И окна торчат. В них куски быта и какие-то не те предметы. Не от этого шведского пластика. Глухой желтый забор ничего не загораживает. Я смотрю через окно второго этажа и вижу весь соседский двор. Там кусты, мешки, клетки и табуретка. Панорамирую взглядом вниз и упираюсь в мою собственность. Мой участок размером десять на десять метров обнесен сеткой. Сетка называется — «рабица». На участке только трава. И много побегов будущих одуванчиков. Сорняк. Надо полоть. Траву полоть. Трава примята. Спят три больших собаки — отец, мать и взрослый сын. Отец и сын черные, мать желтая. Они сторожат поселок и живут при конторе. Но завтракать и отдыхать приходят ко мне. Звуков мало. Почти тихо. Деликатно журчит высокий самолет, взлетевший из Шереметьева, и посвистывает одинокая птица. Я бы сказал, что это поет иволга. Если бы я знал, как поет иволга.

На мне очки. Я снимаю их и прикрываю глаза. Я провожу рукой по лицу и поглаживаю отросшую за неделю жесткую бородку. Даже на ощупь — она совсем седая. Я почесываю голову. Волос мало, и кожа стала бугристая. Я вспоминаю. Перед премьерой «Горя от ума» я пошел бриться и стричься в парикмахерскую на Невском. Мастер сказал: «Я вас филировочными ножницами, пожалуй. Такие волосы надо не стричь, а разрядить. Вам надо полоть шевелюру». Полоть. Да, надо вырвать эти будущие одуванчики.

Я снова надеваю очки и поднимаю взгляд. Облака слегка загустели и поменили форму. Но ровный голубой фон по-прежнему хорошо освещен солнцем. Как театральный задник.

Я дождался. Я дошагал, доработал, дотянул, добежал. Я дожил до двадцать первого века.

ЧИСЛА

Я родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. В XX веке я прожил шестьдесят пять лет — две его трети.

Мои родители — Юрский (Жихарев) Юрий Сергеевич (1902—1957) и Юрская-Романова Евгения Михайловна (1902—1971) — оба люди двадцатого века.

Но мне довелось быть знакомым, играть на сцене и, смею сказать, дружить с людьми, родившимися в XIX веке. Это были: Елена Маврикиевна Грановская — знаменитая комедийная актриса. Она играла в нашей постановке «Горе от ума» Графиню — бабушку.

Могучие артисты Большого Драматического: Василий Яковлевич Софронюк — с ним играли в пьесе Артура Миллера «Воспоминание о двух понедельниках». Александр Иосифович Лариков — мы играли отца и сына в «Трассе» Игнатия Дворецкого. И, наконец, Фаина Георгиевна Раневская — несомненно, одна из величайших актрис века. В поставленном мною спектакле она сыграла свою последнюю в жизни роль. Это была пьеса А. Н. Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». Мы были партнерами и два года играли — она Фелицату, я Грознова — на сцене Театра Моссовета.

Постоянно играть на сцене я начал в 1950 году. На любительской и учебной сценах играл семь лет. На профессиональной с 1957 года — уже почти сорок пять.

В молодые годы играл очень много — до ста пятидесяти — ста семидесяти спектаклей в год. С 60-го года стал выступать на эстраде с отдельными номерами, а потом с сольными концертами. Их бывало до ста в год и более. Играл каждый второй день или чаще.

С 90-го года выступаю меньше — слишком большие по объему стали роли, и возраст дает себя знать. Спектаклей и концертов вместе бывает не более ста в год.

Общим счетом я за пятьдесят лет выступил на сцене примерно семь тысяч пятьсот раз. Я всегда служил в больших театрах. В БДТ, в Театре Моссовета, во МХАТе — где примерно тысяча зрителей. На гастролях залы бывали еще больше. Залы всегда (за редкими исключениями) были полны. Значит, число зрителей, перед которыми довелось выступать в пределах XX века, — примерно 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч).

Количество фильмов, в которых снимался, — тридцать пять.

Количество телеспектаклей и телепередач (не считая интервью) — около двухсот.

Количество городов, в которых выступал со спектаклями или концертами: в Советском Союзе — сто. За границей — сто. Количество гостиниц, в которых жил, — более четырехсот.

В молодые годы больше играл в своем театре, но гастроли и кино съемки обывали делать до тридцати тысяч километров в год.

Последние пятнадцать лет много гастролитировал и много работал за рубежом. Каждый год самолетом, поездом, автомобилем, теплоходом делал от шестидесяти тысяч километров до ста тридцати тысяч километров (1999 год).

Женат единожды. Жена — Наталья Максимовна Тенякова (Юрская). У нас одна дочь — Дарья. Она родилась в 1973 году в Ленинграде.

МАТЕРИАЛЫ

Дневник стал необходим, когда я начал самостоятельную гастрольную жизнь. У меня было много программ, и внутри каждой могли меняться отдельные части. Около пятидесяти авторов и более ста пятидесяти произведений были подготовлены в разное время. Меня площадки, меня города, возвращаясь

на уже знакомые сцены, надо было всегда предлагать зрителю смесь ожидаемого ими и нового. Старался не повторяться. Поэтому вел записи — где и что исполнялось, как было принято, как я сам оцениваю свою работу в этот день. Позже такие же заметки делал и по поводу спектаклей театра — кратко оценивал не только себя, но также партнеров и публику. Подолгу работая за границей (актером — во Франции и Бельгии, режиссером — в Японии), обязан был подробно описывать ошибки и достижения каждого дня в понимании языка и хода мыслей моих иностранных коллег. Далее записи стали действительно дневником — фиксацией ежедневных событий, включая температуру воздуха. Перечень дел и встреч. Оценки. Минимум размышлений. Несколько десятков толстых тетрадей скопились в нижнем ящике шкафа. Тысячи страниц записей рутинной жизни работника культуры последней трети XX века.

Приведя в порядок этот ворох важных и неважных свидетельств времени, я мог бы продолжить опыты моего однофамильца (а по некоторым сведениям — предка) С. Жихарева, который оставил два тома «Записок театрала» — ежедневные записи прилежного зрителя начала XIX века. Но вряд ли хватит у меня терпения хотя бы пролистать мои тетрадки. Оставим это. *Passons*, как говорят французы, — минуем!

Есть другой вариант — выделить все эффектное, что случалось. Знаменитые люди, известные женщины, великие города, шумные премьеры. Было, было это в моей жизни. Вообще говоря, недурная мысль! Но, пожалуй, такой ход годился бы для иллюстрированного журнала по соседству с роскошной рекламой, а также по соседству (что поделаешь — конкуренция!) с другим вспоминателем, у которого (это уж обязательно!) еще более козырные люди, еще более обворожительные женщины и еще более шумные премьеры. Может быть, не вступать в игру? Стоит ли ставить на кон то, что тебе действительно дорого?

Решено! У нас с вами, уважаемый читатель, серьезный и свободный разговор. Так продолжим его серьезно и свободно. Не будем стараться поразить друг друга и не будем пытаться объять необъятное. Разглядывая мой (наш с вами!) XX век, я хочу отдаться вспышкам чувства, которые вырвут из прошлого иногда заметные, а иногда совсем неизвестные фигуры. Я хотел бы освободить себя от хронологической последовательности. Очень желал бы слегка развеселить вас, потому что в МОЕМ XX веке мы много смеялись, и я хотел бы вместе с вами найти причину этого смеха на довольно сером и унылом фоне нашей неустроенной жизни. Теперь вот жизнь (в Москве по крайней мере и на телевизионном экране) стала гораздо более блестящей, и шуток больше, а вот смеха меньше. Не замечали?

Мы уже в диалоге с вами, дорогой читатель. Я не строю жесткого плана разговора. Я отдаюсь интуиции.

Внезапная вспышка освещает почти забытое мною лицо в знакомом интерьере.

ГРИМЕРНАЯ

Толя Гаричев

А на всем свете нет таких хороших примерных, как в БДТ! А из всех хороших наша была (нам казалось) лучше всех. Просторно — три стола по углам, а между ними шесть пар танцевать могут и не столкнутся. Огромный неподъемный диван с валиками, обитый черной грубой кожей. Когда-то грубой, но за долгие десятилетия сидения и лежания истончившейся до состояния нежной лайки.

Напротив дивана ростовое зеркало. Окошки, правда, небольшие, даже маленькие, но они все равно всегда закрыты тяжелой шторой. Возле шторы кресло такой ширины, что, если не очень толстые, двое могут поместиться запросто. Ну, столы стандартные — актерские с трельяжными зеркалами. Стулья обычные. Вешалки для костюмов. Но главное — потолок! Высокий, сводчатый. И коврик пыльный, и штора пыльная, и окна никогда не открывались, а казалось, что легко дышится из-за этого сводчатого потолка.

При входе справа стол Толи Гаричева. В глубине возле окон слева мой стол, а справа Олега Басилашвили. Это потом мы узнали, что бывают гримерные с душем, с туалетом, бывают на одного, бывают две комнаты на одного — со шкафами, с холодильником, с тренажерами. А бывает одна комната на шестерых. И на двенадцать человек бывает — мужчины и женщины вместе. Разное бывает. Но наша была — золотая середина. А простор — такого нигде нет! И потом, как это одному сидеть? Скучно же! Все дело в том, что нас трое. Каждый день, в разных костюмах, с разными лицами, в разных эпохах, но все те же трое.

Толя обладал невысоким ростом, упрямым выражением лица, соответствующим характеру, низким, тяжелым голосом и медленной речью. Еще Толя обладал талантом художника. Талант был самобытный и требующий больших плоскостей. Толя рисовал и писал красками яркие портреты, точные шаржи и абстрактные композиции. По убеждениям Толя был реалистом, причем реалистом именно социалистическим, а вот по манере живописи — безоговорочным модернистом. Это противоречие отразилось в прозвище, которое получил он в нашей гримерной, — Кафка Корчагин. Я потом много раз слышал это сочетание в применении к другим людям. Не буду качать права относительно приоритетов — точно знаю, что впервые сие было произнесено в нашей гримерной и именно в применении к Толе Гаричеву. Если бы вы, уважаемый читатель, взглянули на тогдашнего Толю, вы бы и сами тотчас убедились, что прозвище это принадлежит ему и никому больше. Одно время мы все трое принялись изучать популярную книжку «Азбука теории относительности». Мы с Басом (если вы догадались, что Бас — это Басилашвили, то я потрясен вашей сообразительностью), так вот, мы с Басом вычерчивали друг другу объяснения смены скоростей с точки зрения неподвижного наблюдателя и наблюдателя, находящегося в лодке. Мы безуспешно пытались понять, как и относительно чего искривляется пространство. Пока мы путались в азах науки, Гаричев завершил чтение книги, захлопнул ее и произнес медленным басом: «Ерунда! Морочит голову!» «Кто?» — вскричали мы. «Эйнштейн. И вся его компания. Морочат людям голову». «Ну почему уж так? — трепыхались мы. — Ведь если наблюдатель на берегу видит лодку с точки зрения...» «Вранье! — сказал Толя. — Нет никаких наблюдателей. Если я стою на берегу, то я стою на берегу, а если я еду в лодке, то я еду в лодке. И все! А они морочат мне голову».

Но это я так, к примеру, это все в скобках. А вообще-то Толя и артист был хороший на определенные роли, а как художник — говорить нечего. И, повторюсь, модернистский талант его и темперамент требовали больших плоскостей. Рисовал на изнанках афиш, когда удавалось достать картон, рисовал на картоне и все чаще поглядывал на пустые белые пространства стен и нашего сводчатого потолка. Мы откровенно ему говорили: «Толя, если ты распишешь фресками нашу гримерную, то рядом с яркостью твоих красок все остальное будет казаться серым и работать тут будет невозможно. К тому же тебя уволят из театра за порчу государственного имущества».

Толя отвечал: «Три первоначальных цвета (он говорил медленно и в разрядку, у него получалось — трипер...воначальных цвета) — красный, желтый и синий — должны звучать в своем естестве, а не в смесях. Отсюда и яркость».

Забегал Боба Лескин, скептик и ругатель, актер нашего театра и близкий наш приятель. «Сынок! — кричал Боба (так он называл меня).— Молодые! — кричал Боба (так он называл всех, в том числе своих ровесников, а сам он был участником Великой Отечественной и имел боевые награды).— Ой, мама, что делается! — кричал Боба.— Видели распределение на “Генриха IV”? Я опять играю “солдаты, ратники, путники, четвертый собутыльник Фальстафа”. Что делается! Как жить? Слушай, молодой! (Это Гаричеву.) Чем портить бумагу, поставь мне памятник во дворе театра. Будет называться “Памятник неизвестному актеру”. Сделай мой портрет из пустых бутылок!» И Толя Гаричев вполне серьезно отнесся к предложению. Присмотрел место во дворе, стал сговариваться относительно утилизации в художественных целях кусков старых декораций и реквизита.

Памятник не состоялся, и Толя снова поглядывал на белые просторы нашего потолка. И тогда возникла ИДЕЯ! Кажется, он ее первый и высказал: начать с того, что испортить белизну сводов нашими именами, написанными тремя первоначальными цветами — красным, синим, желтым.

И свершилось! Мы расписались каждый над своим столом. И сильно испугались. Потому что тогда это было не только не принято, но дико. Надо было искать поддержку. Мы позвали Виталия Павловича Полицеймако — знаменитого, авторитетного и Народного артиста, с которым вместе играли в спектакле «Океан». Народный артист посмотрел, потом надел очки и снова посмотрел, потом снял очки и сказал: «Хулиганы!» После чего и сам крупно расписался на потолке.

Так начиналось. А теперь это тот известный потолок, под которым Басилашвили ведет свою телевизионную передачу «С потолка». Еще раньше я посвятил нашему потолку целую главу в моей книге «Кто держит паузу». У нас стало много последователей, а потом и подражателей. Когда у нас среди многих сотен подписей появились раритеты, когда стали уходить из жизни те, кто, смеясь, залезал на стул, на стол, чтобы дотянуться, и, капая на себя краской, выводил бессмертное свое имя рядом с другими, сам потолок и эта гримерная приобрели музейно-сокровищный привкус. Жан Вилар и Константин Симонов, Генрих Бёлль и маршал Жуков, Булат Окуджава и Марк Шагал, Товстоногов и Солженицын, Аркадий Райкин и Эраст Гарин, Евгений Евтушенко и Юрий Любимов — все они оставили свои имена на этих стенах. И еще, еще многие другие. Любимов завел подобный потолок у себя в кабинете в театре на Таганке. Но начиналось-то у нас! Теперь-то это расхожее развлечение. В институтах, на телестудиях, в буфетах театров и т. д. — везде пачкают стены. Мне не раз случалось расписываться и сочинять настенные пожелания. Но знаю — сперва была наскальная клинопись, потом самоутверждения туристов в публичных местах, потом победные имена на стенах рейхстага, а следующие уже мы — впервые осквернившие потолок культурного государственного учреждения в период почти совсем зрелого социализма.

Мы с Басилашвили вышли в Народные артисты — так случилось. А наш друг Толя оказался в результате вне театра. Где ты, Толя? Я потерял тебя и, наверное, виноват в этом. Хочу хоть частично исправить строгие распоряжения Судьбы и рассказать читателям, как вначале было нас ТРОЕ. А в гримерной этой теперь не сидит никто. Там снимают телепередачи. Разве что я, приезжая на гост-

роли, играя на сцене БДТ, прошу по старой памяти открыть мне нашу прежнюю комнату и гримируюсь, поглядывая то в зеркало, то в неразборчивое уже плетение имен на потолке и на стенах.

ДИВЕРТИСМЕНТ

Фольклор шестидесятых

Зацепившись за тему, крючок воспоминаний вытаскивает из кладовых забытого целые связки вещей непонятного назначения. Одну связку предъявлю любопытствующему читателю, имеющему интерес к шуткам былых времен.

Пародия, насмешка, капустник постоянно бытовали в нашей гримерной. Одной из форм этого трепа была пародия на радио тех времен. Бодрый тон дикторов, фальшь текстов, отсутствие содержания, штампы речи как бы сами напрашивались на карикатуру. Тогда и сочинялись эти радиообъявления, доводящие до абсурда сообщения настоящего радио, которое мы хорошо знали, потому что сами на нем много работали. Коллеги весьма любили эти шутки. Сам Товстоногов слушал, просил повторять для гостей и очень смеялся.

Интересно, что скажет современный читатель?

Итак, несколько примеров без комментариев.

«Говорит Москва. Московское время 10 часов 25 минут. Передаем объявления.

Заводу “Электропульт” срочно требуются электропульты.

Союзу советских художников требуются СОВЕТСКИЕ художники.

Последние известия.

Из Ленинграда сообщают. Сегодня здесь сдана в эксплуатацию третья, завершающая, очередь канализационного трубопровода Москва — Ленинград. Начальник строительства товарищ Шалаев разрезал традиционную ленточку, и уже сегодня первые тонны московского дерьма хлынули в город над Невой.

Улан-Удэ. Фонтан нефти ударил вчера из новой, шестой в этом году скважины в советской Бурят-Монголии. Плановая добыча черного золота начнется уже в текущем году. Геологи намечают освоить еще несколько скважин. Будет своя нефть в автономной республике — бурят...монголы.

Ленинград. По инициативе Куйбышевского райисполкома в Саду отдыха, что на Невском, открыт “Однодневный концлагерь”. Здесь можно хорошо провести время, познакомиться с историческим прошлым нашей страны. Уже в первые дни в лагере побывали рабочие, колхозники, много интеллигенции.

Нью-Йорк. Сегодня здесь официально объявлено, что почетным ректором Гарвардского университета избран Олег Валерианович Басилашвили. Эта мера предпринята правительством Соединенных Штатов Америки в целях улучшения взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Олегом Валериановичем Басилашвили.

Париж. В прошедшее воскресенье состоялись дополнительные муниципальные выборы в департаменте Нижняя Луара. В условиях полицейского давления на избирателей пиррову победу одержал блок консервативных сил. Коммунисты уверенно набрали девять процентов голосов. Это почти на шесть процентов больше, чем если бы они набрали три процента».

Громогласные цирковые объявления: «Мировой аттракцион! Борис Шухер! Игра с паровозом!!!!

Единственный раз на нашей арене! Святослав Рихтер! Со своим любимым фортепьяно! Мировое достижение!!! Шопен!!! Шесть мазурок!!! Единственный исполнитель... Святослав Ри-и-ихтер!!!

Воздушный полет!!! Жиды порхатые!!!»

Вокзальное объявление: «Граждане пассажиры! Естественные отправления производятся с третьей платформы!»

Я ВАМ ПРИСНЮСЬ

Гай и Волков

Вспышка освещает два лица рядом. Гриша был постарше, Миша по-младше, но многое их связывало. Ну, прежде всего много играли вместе — в театре и в кино. Темпераменты разные. Миша — взрывной, иногда агрессивный, иногда «сжатая пружина», Гриша — уравновешенный, рассудительный (Боба Лескин дал ему прозвище Ребе — очень подходило). Противоположности легко уживались рядом. Оба были большими женолюбями и имели успех у женщин. Оба были любознательны, много читали и обожали спорить. Киноизвестность пришла к обоим особенно после двух фильмов про разведчиков, где «Сатурн» почти невидим, а потом возвращается. Но начали они свое парное партнерство, если не ошибаюсь, в моем телефильме «Фиеста».

Михаил Волков в роли писателя Джейкоба Барнса. Григорий Гай в роли его друга, тоже писателя, Билла Гортонна. Дивная сцена в романе Хемингуэя — ловля форели, большое пьянство и большой разговор двух друзей. Мне кажется, Миша и Гриша прекрасно сыграли эту сцену. Но — я уже писал об этом — фильм был запрещен по причине бегства за границу исполнителя роли матадора Михаила Барышникова. Велись переговоры. Доходили слухи. Было смутно. Шло лето 1971 года.

Мы расстались на время отпуска. Волков сказал мне: «Мы с Гришей все лето во Львове — будем сниматься в “Сатурне”. Хочешь, приезжай! Адрес простой — Львов, гостиница “Львов”».

Я никак не собирался во Львов. Ну, что ж, значит, увидимся осенью.

И вдруг — вот они начинаются странные повороты сюжета, которые так здорово подает Хичкок в своих фильмах — вдруг... нас с женой приглашают посетить с дружеским визитом Венгрию. И как-то неожиданно быстро все оформляется. Получены все разрешения. Обменяны деньги! У меня в руках заграничные паспорта и довольно значительное количество венгерских форинтов — валюта дешевая. Напомню: в те времена каждый выезд за границу — событие в жизни. Тем более частный визит! Это у нас с Наташей вообще впервые. Едем поездом. Волнуюсь: как это мы сами по себе едем заграничным экспрессом? Изучаю расписание — какие станции, сколько стоим. И ВДРУГ... вижу «ЛЬВОВ»! Прибываем в 6.30 утра, отправляемся в 7.20. Стоянка 50 минут.

План созрел не сразу. Но созрел. Только бы не опоздал поезд! Только бы не сократили стоянку! Колеса стучали, и сердце стучало.

6.30. ЛЬВОВ. Выскакиваю на перрон, насквозь пересекаю вокзал, выбегаю в город. Машу руками и добываю такси. «Гостиница “Львов”! Туда и обратно. Сможете подождать? Не больше десяти минут. Плачу вдвое». Едем.

6.50. Гостиница «Львов». Как ни странно, отель не спит. В холле кишит команда юных велосипедистов со своими машинами. Администраторша кого-то выписывает, с кем-то ругается. Никак не могу привлечь ее внимание. Теряю время. Еще не хватает от поезда отстать. Зря я шоферу вперед заплатил, может уехать, гад. Наконец выяснил: Волков — № 503, Гай — № 505.

6.57. Коридор пятого этажа. Стучу в № 503. Никто не открывает. Стучу громче. Без результата. Стучу кулаком. Высовываются головы из №№ 502, 508 и 511. Ругаются.

6.59. Открывается дверь № 503.

7.00. В № 503. Миша в трусах с большого недосыпа и, кажется, с некоторого перепоя. Глаз мутный. На то и расчет!

7.00—7.04. № 503. Я непрерывно бегаю по комнате от двери к окну и обратно и говорю не останавливаясь: «Мишель! Полный поворот. Я приехал с группой. Отлично, что вы оба здесь. Картину разрешили. Есть возможность переснять сцену ловли форели. На натуре. В Венгрии. Там есть река, которая впадает в озеро Балатон. Вылитая Испания. Я выезжаю в Будапешт. Группа остановилась на Железнодорожной улице, дом 52. Немедленно оформляем документы на вас с Гришей. Оператор Филиппов вас найдет. У тебя плохой вид. Надо будет набрать форму. Пока выпей пива. (Ставлю на стол две бутылки купленного в поезде пива.) Вторая бутылка Грише. Готовьтесь! Выезд в Венгрию на днях. С вашей группой договорюсь сам. Есть приказ комитета. Мы должны снять рыбалку — государственное задание в целях возвращения Барышникова. Оплата в валюте. Вот пока двадцать форинтов. Это тебе и Грише на двоих. Держитесь. Не имею времени. Найдете меня на Железнодорожной, 52. Полная готовность! Пей пиво, и до встречи!»

Волков, держась за голову, с трудом следит за моей беготней и не говорит ни слова. Впрочем, я и не даю вставить хоть слово в мой быстрый монолог. Под конец я машу двумя бумажками по десять форинтов перед его носом, открываю ящик прикроватной тумбочки, сую форинты туда и захлопываю ящик.

Выскакиваю из номера.

7.06. В такси.

7.16. Вокзал города Львова.

7.20. Отправление скорого поезда Москва — Будапешт.

Теперь (как и положено в фильме психологического ужаса) монтажно рассматриваем событие с другой точки зрения.

7.04. № 503. Волков сидит в трусах на своей кровати. Человек, похожий на Юрского, перестал орать и метаться по номеру. Куда-то убежал. Это хорошо. Голова болит, глаза не смотрят. Это плохо. На столе две бутылки пива. Это хорошо. Открывалки не видать. Это плохо. Миша сорвал крышку, зацепив ее за край стола, и выпил из горлышка теплого пенящегося пива. Стало противно. Посмотрел на часы.

7.11. Миша положил гудящую голову на подушку и уснул.

Монтажная склейка.

11.30 утра того же дня. Съемочная площадка на улице Львова. Снимается фильм «Сатурн» почти не виден». Гай и Волков в гитлеровской форме ожидают начала съемки. Ждать еще долго. Диалог.

ВОЛКОВ. Гриша, к тебе Сережа заходил?

ГАЙ. Какой Сережа?

ВОЛКОВ. Юрский.

ГАЙ. Куда заходил?

ВОЛКОВ. К тебе. Заходил?

ГАЙ. Когда?

ВОЛКОВ. Ночью.

ГАЙ (ничего не говорит. Смотрит на Волкова).

ВОЛКОВ. Будем переснимать ловлю форели. В Венгрии. Филиппов уже на Железнодорожной улице. Номер дома забыл. Но он там.

ГАЙ. Какой Филиппов?

ВОЛКОВ. Наш оператор.

Пауза. Двое, одетых в фашистскую форму, прогуливаются.

ВОЛКОВ. Он мне пива принес. Две бутылки. Очень теплое.

ГАЙ (*осторожно*). Кто принес пива?

ВОЛКОВ. Серега.

ГАЙ (*осторожно*). А где он сам?

ВОЛКОВ. Убежал. Торопился. Говорит, государственное задание. Надо Барышникова возвращать... из Америки.

ГАЙ (*после недолгого молчания*). Пойдем, кофе выпьем.

Началась съемка. Постепенно разошлись и очень неплохо работали до самого вечера. По дороге в гостиницу Гай объяснил Мише, что история с визитом Сережи ему просто приснилась. Миша признал, что это возможно. Но настаивал, что пиво было. Оба смеялись. Зашли в номер к Мише. Горничная забыла сделать уборку. Две бутылки стояли на столе. Одна пустая, другая полная наполовину. «Видишь?» — сказал Миша. «Да ты сам купил и забыл», — сказал Гриша.

«А вообще, конечно, здорово бы сделать “Фиесту” по-настоящему, снять на натуре сцену с форелью».

«Конечно», — сказал Гриша.

«А знаешь», — сказал Миша, — такой был яркий сон. Он все бегал и говорил, говорил... Потом говорит: вот вам двадцать форинтов... открыл ящик...»

Миша показал, как был открыт ящик, и ВДРУГ...

КРУПНО — на дне ящика лежат **ДВАДЦАТЬ ФОРИНТОВ**.

УЖАС охватил двух известных артистов. Иностранные деньги **САМИ ПО СЕБЕ** в ящике не появляются.

Встретились мы на сборе труппы осенью. Розыгрыш мой уже раскрылся. И это они сами поведали мне о своей реакции и разговорах. Может, что и присочинили. На то и актеры. Ах, какие хорошие актеры!

Вот вспоминаю — время было мрачное. Запрет «Фиесты», разброд в театре. А шутили. Не скучно было.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАКАЗ

Раневская

Если молодые люди XXI века, любопытствующие узнать, как и что было до них, попросят меня — назовите какую-нибудь особенность ТОЙ вашей жизни, которая теперь исчезла и которая ярко ее характеризует, я задумчиво похмыкаю, пожую губами, подниму глаза к потолку, а потом задам вопрос: «Вы знаете, что такое праздничный заказ?» Молодые люди пожмут плечами и сделают невинно отрицательное движение головой. Тогда я важно откинусь на спинку кресла, потру одну ладонь об другую, сплету пальцы в замок и начну.

«Праздничный заказ» — это мешок с продуктами. «Праздничный» — потому что он выдавался к праздникам. Праздниками (основными и определяющими) были 7 ноября — праздник Великого Октября (почему в ноябре празднуется октябрь — это другой вопрос, и оставим его рассмотрение до другого случая),

1 января — Новый год и 1 мая — День солидарности трудящихся. Именно к этим дням государственным служащим (не всем, но многим) выдавался мешок «с заказом». Это не было подарком. За продукты надо было платить. Но цена была вполне доступная. И не в цене даже была прелесть «заказа». Прелесть в том, что в обычных магазинах в те времена вообще ничего не было, кроме банок с морской капустой, томатной пасты и очередей за круто замороженными пачками «Пельменей русских». За водкой и более деликатными алкоголями бились (в буквальном смысле слова) в специальных отделах, полуподвалах, лабазах, и все равно только БЛАТ давал вожаделенную влагу в нужном для праздника количестве. «Заказ» же был похож на скатерть-самобранку. Там имелось... Впрочем, содержимое было весьма дифференцировано в зависимости от заслуг получателя. Поэтому там имелось — для одних шоколадка для внучки и пачка чая для бабули, а для других — корзина с фруктами, коньяком, шампанским, икрой, крабами, колбасами и коробками конфет.

Академический театр Моссовета занимал в этой пирамиде срединное положение. А верхушка театра — руководство и самые Народные, самые знаменитые артисты имели «заказы» даже чуть выше среднего уровня. Может, и без коньяка, но с водкой, может, и без баночной ветчины, но с тушенкой, может, и без крабов, но с банкой растворимого кофе. Короче, шикарный «заказ» — жить можно припеваючи. Недолго, правда, припевать, потому что весь «заказ» на один зуб. Ну да это уже детали!

Теперь вопрос: почему называлось это «заказ»? Кто заказывал? И почему в таком случае этот «кто-то» не заказал побольше? Но никто не заказывал. А что же было? Отвечу фразой того времени: «Разнарядка спускалась сверху при наличии прямых контактов и личной договоренности». Понятно? Если не понятно, найдите себе переводчика с древне-советского, а я двинусь дальше.

Мне благоволили выделять «заказ», одинаковый с Фаиной Георгиевной Раневской. Большая честь и большая моя благодарность распределителям. Теперь о технике снабжения. (Все, что я рассказываю, — это как документ с грифом «секретно», и прошу соответственно обращаться с этими сведениями.) Звонил Юра Проданов и говорил: «Для тебя есть талон на заказ. Удалось выбить очень приличный. Ты не представляешь, чего это стоило. Талон у меня. Зайди, возьми. Слушай, ты же все равно к Фуфе поедешь. Можешь ее отоварить? Возьми ее заказ и отвези ей, ладно?»

Комментарий: Юра Проданов — замдиректора нашего театра. Фуфа — прозвище Раневской. «Отovarить» — превратить талон в реальный мешок с продуктами. На талоне был указан адрес (каждый раз новый) и час, когда нужно явиться по этому адресу. Возле неприметной двери в странной задумчивости перетаптывалась группа людей с пустыми сумками разных размеров. Я присоединился к группе. Разговоры были на уровне шпионских паролей: «У вас на десять?» — «У меня на девять тридцать».

По синим с полоской идут греча и шпроты, а без полоски — сайра и макаронные изделия.

«А там кто? Майя Кирилловна?»

«Ее перевели. Она на Ермоловой, 21».

«А что-то давно никто не выходит».

«Тут выхода нет. Только вход. По пять человек. А выход на другую улицу. Через магазин».

Дверь приоткрывалась, и пять человек ныряли в подвал по выщербленным ступенькам.

И вот я подъезжаю на своих «Жигулях» модели 2305, цвета «рубин» к высокому, красивому и знакомому дому в Южинском переулке. Кстати, какое хорошее и очень московское название для улицы — Южинский переулок. В этом районе возле Бульварного кольца много было улиц, названных в честь крупных актеров, писателей, художников. Мелькали имена Станиславского, Качалова, Южина, Алексея Толстого, братьев Весниных. Были тут в названиях и Пушкин, и Герцен, и Чехов. Теперь нет этих имен. Есть только старинные — Денежный, Палашевский, Глазов. Конечно, дело принципа. Только вот ведь что получилось с этой заботой о старине: Чехова и Станиславского нет, а Андропов, Гречко и Косыгин остались. Станный получился баланс памяти для молодых людей XXI века, с которыми я сейчас беседую. Мне, молодые люди, случилось говорить на эту тему с мэром Москвы, при котором произошло это тотальное переименование — с Лужковым Юрием Михайловичем. Я спросил его, считает ли он это правильным. Он только рукой махнул, сказал: «Да, комиссия эта...» Не договорил и постучал выразительно кулаком по лбу. Но это отступление. К теме, к теме, к сюжету!

Подъезжаю я к дому Раневской в Южинском переулке. Был апрель 80-го года. Страна готовилась к Первомуаю. Потому и «заказы» были. А мы готовились к премьере пьесы «Правда — хорошо, а счастье лучше». Раневская только однажды согласилась приехать в театр на репетицию. Это было еще прошлой осенью на первой общей читке пьесы. После этого она ни разу не вышла из дома — ссылаясь на болезнь. С 11 утра до 2-х я репетировал с актерами в театре, а потом ехал к ней, один или с партнерами, и мы работали у нее дома. С некоторым ужасом я ждал перехода из репетиционного зала на сцену. Тут уж ее присутствие станет необходимым. И каждый день! Как преодолит она инерцию своей неподвижности?

Итак, я поднимаюсь на третий этаж.

«Входите! Дверь открыта! — кричит Раневская своим низким, стонущим голосом. — Я не закрываю дверь, потому что задыхаюсь. Здесь нет воздуха. Поглядьте моего Мальчика. (Мальчик — это собака, понурая и всклокоченная.) Он такой несчастный. На него наехал автомобиль. Я спасла его и выходила. Могу сказать, что я вскормила его. У меня, кроме него, никого нет. Я кормлю его печенью, и он за это терпит мое присутствие. Впрочем, нет! Он меня любит. Поглядьте его. Что это вы принесли?»

«Это, Фаина Георгиевна, ваш заказ. Я получил его на Цветном бульваре».

«Зачем же вы затруднялись? У вас столько забот! Вы усталый юноша. Впрочем, я вам очень благодарна. Что там в пакете? Конфеты? Это надо будет отдать медсестре. Она придет делать укол. Зефир? Очень кстати, это уборщице, она любит зефир. Боже мой, колбаса! Я не ем колбасу. Я говорила вам, что я вегетарианка? Ну, конечно, я вам много раз это говорила, но вы не хотите меня слушать и приносите мне колбасу. Что? Я не слышу, что? Это было в “заказе”? Ну да! Извините мою невежливость, я думала, это вы придумали принести мне колбасу. Кстати, заберите ее себе. Что, что? Вы тоже получили “заказ”? У вас уже есть колбаса? Но вы возьмите еще эту, и у вас будет две колбасы. Что? Мы сегодня будем репетировать? У меня нет сил. Я не спала всю ночь. Я была занята тем, что непрерывно принимала снотворное. И поэтому спать было некогда... Я ночью читала Маяковского. И плакала. Он чудный! Вот, видите, я написала на полях: “Бедный, бедный!” И Мандельштам очень жалко. А знаете, почему так жалко Мандельштам? Потому что его жена, Надя, была совершенно невозможная женщина. Большое несчастье иметь такую жену. Пойдемте завтракать. Вы отказываетесь

взять колбасу? Тогда угостите моего Мальчика. И погладьте его. А теперь помойте руки, он стал такой вонючий, и идемте завтракать».

В неожиданных переходах от темы к теме удивительно сочетаются искренность, спонтанность и готовый образ, в котором она живет постоянно. Конечно, она старая и больная женщина. Но она еще немного преувеличивает свою старость и свои болезни. Здесь нет корысти, здесь есть артистизм. Она НАСМЕШИВАЕТ над созданным ею образом совсем уж старой и совсем больной старухи. Она ПОКАЗЫВАЕТ эту глуховатость, забывчивость. Ее монологи бесконечно смешны, но она и сама (иногда явно, иногда скрытно) смеется над созданным ею персонажем.

Мы сидим на кухне. Пьем чай. Фаина Георгиевна говорит: «Ешьте творог. Я сама его сделала. Он очень полезный. Хотите, я научу вас делать такой творог? Из кефира. Это просто. Но если бы вы знали, как он мне надоел! Почему у вас такой усталый вид? Вы очень устаете. Вы, наверное, много халтурите? Вы выступаете с концертами, вы столько знаете наизусть! Как я завидую вашей памяти! У Качалова была замечательная память. Он мог читать ночи напролет наизусть до полного умопомрачения. Великие мхатовцы, я их обожала. Они никогда не позволяли себе... впрочем, нет, они как раз много халтурили — везде выступали с концертами... чудные, чудные... бедные, бедные... А знаете, почему театр сейчас в таком упадке? Дело не в актерах. Дело в том, что халтурщиком стал зритель — он смотрит что попало и всему аплодирует. Я не сплю ночами. Нет, я не думаю о театре. Я думаю о голубях. У них такие тонкие ноги, и зимой, в мороз, им некуда спрятаться. Я кормлю их, я бесконечно сыплю им еду на подоконник. Я открываю окно и простужаюсь. И потом болею целый год. Мне надоело притворяться здоровой. Вам я скажу откровенно, как моему режиссеру: я больна. Я не смогу играть в вашем спектакле. Вы выдумываете какие-то трюки, у вас вертится круг. Я мхатовка, я боготворю Станиславского, а вы... выблядок Мейерхольда, вот кто вы! Извините, извините мою несдержанность! Нет, нет, это было неэлегантно. И несправедливо. Простите меня. Я помню спектакль, на котором Шаляпин вышел на сцену, я видела его измученные глаза. Оркестр сыграл вступление, и он не вступил. Он молчал и набирал носом воздух. Оркестр снова сыграл вступление, и опять молчание. В зале стали шептаться. А он, такой большой, такой прекрасный, сделал странный жест двумя руками, открыл рот и прошептал: “Не могу”. И ушел. Я всегда это помню. Я так его понимаю. Вы совсем не ели мой творог. Вам не нравится? Мне тоже. Знаете, что меня привлекло в роли няньки и почему я согласилась ее у вас играть? Я вам скажу — она ДОБРАЯ. Когда она своей девочке, кстати, ваша жена мне очень нравится, мне с ней приятно репетировать, вы это скажите ей и еще скажите, чтобы она вас берегла, вы очень утомленный, так вот, нянька говорит у Островского: “Я для тебя готова в ни-и-и-иточку вытянуться!” Вот это — “в ни-и-и-иточку” мне так нравится. А я ни для кого не могу вытянуться в ниточку. Знаете, моя домработница, уходя в магазин, все перечисляла: сыр не забыть, сметану, кефир, хлеб, анчоусы для гостей,— а потом в дверях обернулась и говорит: “Да, кстати, Фаина Георгиевна, шоб ишо не забыть — у срэду конец света”. Спасибо, спасибо, что вы принесли мне “заказ”. Дайте еще кусочек колбасы Мальчику. У меня была на днях корреспондентка из какого-то журнала и сказала, что они хотят напечатать мои воспоминания. Я ей говорю: “Деточка, я странная актриса. Я не помню моих воспоминаний”».

Удивляюсь и испытываю чувство благодарности Судьбе — ведь Фуфа все-таки репетировала на сцене. И мы сыграли премьеру жарким июльским днем. И полтора года она играла Филицату без замены, только потом уступила роль Наталье Ткачевой.

А в тот день мы не репетировали. Мы готовились к празднику. Одним «заказом» жив не будешь.

Вы спросите меня, молодые люди: «Почему все-таки эти продукты назывались ЗАКАЗОМ?» А я отвечу на ваш вопрос вопросом: «А почему главный ПРЕДСЕДАТЕЛЬ всего в нашей стране назывался Генеральным СЕКРЕТАРЕМ? Не можете ответить? Вот то-то!»

ДИВЕРТИСМЕНТ

Ефим Копелян

Редко случалось, чтобы фантастическая популярность пришла к человеку, который настолько не заботился об этой популярности, как Ефим Захарович Копелян. Отсутствие суеты в жизни и на сцене было его отличительной чертой.

Ефим Копелян — прозвище Старык (не Старик, а именно Старык — через «ы») — любил компанию, но узкую, любил смешное, но скорее пассивно — больше слушал, чем рассказывал, играл социальных героев, но не брезговал комическими ролями и даже буффонадой, в партии не состоял, любых должностей, даже общественных, избегал.

Народ его обожал. Именно так — не только зрители, но НАРОД. Театр само собой — он сыграл много главных ролей в спектаклях одного из самых известных театров страны. Много сыграл в кино. Но было еще телевидение. И тут он был нарасхват. При этом — напомним — никогда никакой инициативы с его стороны: дескать, дайте мне эту роль! Никогда! Фима только соглашался. А когда в 73-м вышел суперсуперфильм «Семнадцать мгновений весны» и Копелян читал всего-навсего закадровый комментарий, в его ГОЛОС влюблялись не меньше, чем в самого Тихонова в роли Штирлица. Тогда Ефим Захарович получил еще одно прозвище — Ефильм Закадрович.

Фима был невероятно смешлив. В жизни это играло сдерживающую роль — актерское фанфаронство, самоподача, хвастовство в его присутствии были совершенно невозможны. Копелян начинал пожевывать свои усы и давиться смехом. И любая хлестаковщина увядала, вранье обнаруживалось. Короче, Копелян был моральным стабилизатором в актерском цеху.

Но вот его смешливость на сцене — это было серьезным испытанием для партнеров. Я с ним играл «Синьор Марио пишет комедию» (сто пятьдесят один раз); «Я, бабушка, Илико и Илларион» (двести двенадцать); «Три сестры» (восемьдесят восемь раз), не считая «Горя от ума», «Генриха IV» и проч. Я хорошо знаю, что такое, когда Копеляну смешинка в рот попала.

Идут «Три сестры». Первый акт. Кирилл Лавров в роли Соленого должен сказать: «Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет — потяни меня за палец». Лавров оговаривается: «Если же философствует женщина, то это уж будет — поцелуй меня...» Наступает тягостная и двусмысленная пауза, после чего Лавров, сдвинув все черты лица на одну сторону (чтобы зрители не видели) и с некоторым завыванием говорит: «...за па-а-алец!»

Копелян прихватывает зубами свои усы и начинает мелко трястись. Казалось бы, ну что ж, ну случилось, ну посмеялись. Хотя у Товстоногова такие вещи наказуемы. Но беда не ушла. На следующем спектакле Лавров только начал

говорить: «А если философствует женщина...», Копелян — полковник Вершинин — вскинул голову и стал всхлипывать от смеха. На третий раз Лаврову стоило выйти из кулисы, как Копелян, зажимая рот руками, кинулся в другую сторону. Я — барон Тузенбах — за ним, а он шепчет сквозь смех: «Я не могу на него спокойно смотреть». Вот так!

А когда в том же первом акте артист Штиль в роли Родэ вместо «Сегодня все утро гулял с гимназистами» сказал: «Все утро гулял с гимнастами», ну, сами догадайтесь, что было.

Копелян в разговоре, пародируя речи партийных руководителей: «Это мы сами решим!» — «А что скажут артисты?» — «Артист в театре роли не играет! Не имеет роли! Не играет значения!»

В коридоре: «Угостите сигареткой, Ефим Захарович. О-о! “Мальборо”! Где вы берете “Мальборо”?» — «Это вы берете. Я покупаю».

Копелян пришел к нам в гримерную с шарадой:

«Праздник светильников преисподней». Все вместе — «Ограждение возвышения». Что это? Ответ: «БАЛ ЛЮСТРАДА».

Наш ответ Копеляну:

Мое первое — «Африканец», мое второе — «Половина главного достоинства Копеляна», мое третье — «Важное достоинство девицы». Все вместе — «Дружеское пожелание». Что это? Ответ: «НЕГР УС ТИТИ»!

Когда хоронили Ефима Захаровича, вслед за машиной с гробом шла нескончаемая вереница машин с черными лентами на ветровом стекле. По обеим сторонам Фонтанки стояли толпы людей до самого Невского. Люди махали руками. Прощались. Многие плакали.

ОПАСАЙТЕСЬ ЮБИЛЕЕВ

«Маловато философской глубины,— сказал мне Директор театра в ответ на мое предложение поставить “Зимнюю сказку” Шекспира.— Мы посоветовались, и нам не рекомендовали. А вот о чем надо подумать, так это о шестидесятилетии образования Советского Союза. Нужна драматургия национальных республик. В министерстве очень поддерживают пьесу Ибрагимбекова, не хотите почитать?» — «Ибрагимбекова?» — «Ибрагимбекова. Называется “Похороны в Калифорнии”». — «Рустама Ибрагимбекова?» — «Рустама Ибрагимбекова. Азербайджанская пьеса. “Похороны в Калифорнии”. Если бы вы согласились ее поставить, зеленая улица по всем линиям. В декабре шестьдесят лет СССР».

Был апрель 82-го года. Я был полон режиссерского задора. И я хорошо знал Рустама. Могу сказать, что мы приятельствовали. И брата его Максуда я знал, и их семьи. Пьеса была странная — действительно про Америку. XIX век, некое выдуманное маленькое государство в горах Калифорнии. Правит диктатор от имени Вдовы. Она — Вдова — носительница начальной идеи этого ныне извращенного общества. А творец идеи — вроде бы азербайджанец, прибывший в Америку бороться за свободу. Считается, что он погиб. Но вот в городе-государстве появляется новое лицо — Путник. Мы начинаем понимать, что это и есть благородный основатель. На фоне многолюдной жизни ужасного города возникает любовный треугольник, осложненный борьбой за власть: Диктатор — Георгий Жженов, Вдова — Нина Дробышева и Путник — Сергей Юрский. Побеждает зло. Путник погибает. Вот такая пьеса.

Удивительно, что Министерство культуры так страстно рекомендовало эту пьесу. Ибрагимбеков, писатель весьма либеральных взглядов, в данном случае

написал произведение прямо-таки диссидентское. Это была политсатира, слегка прикрытая романтическим флером и тем, что это, дескать, не у нас, а «там» и не сейчас, а давно. То ли никто «наверху» не читал внимательно пьесу, а имя Рустама имело вес, то ли бюрократическая неразбериха зашла за критическую отметку, но факт остается фактом — мрачная пьеса о сгнившем тоталитарном обществе прошла все цензурные барьеры и выдвигалась как подарок к юбилею Союза Советских Социалистических Республик.

С художником Энаром Стенбергом мы обозначили жанр спектакля как «трагический цирк». Были клоуны — выжившие из ума местные жители, был укротитель — Шериф, была наездница — Проститутка, иллюзионист — Мастер гробовых дел. Путник и Вдова исполняли «воздушный полет», а диалоги Диктатора и Путника по мизансценам напоминали партерных акробатов. Сцена представляла собой арену. На ней были подвижные металлические лестницы и большие шары, какие бывают в цирковых аттракционах со львами и тиграми. Если добавить к этому, что было еще коллективное чтение страшной поэмы великого Эдгара По «Ворон», то вы догадаетесь, наверное, что наворачено в этом спектакле было порядочно. Боюсь, что даже слишком.

Путник читал, как заклинание:

«Стук неожиданный в двери дома мне послышался чуть-чуть.
“Это кто-то,— прошептал я,— хочет в гости заглянуть,
Просто в гости кто-нибудь!”».

А хор подхватывал:

«...Был декабрь глухой и темный,
И камин не смел в лицо мне алым отсветом сверкнуть».

Так собирались мы отметить декабрьский юбилей многонационального государства.

Сыграли премьеру летом и сразу уехали на гастроли в Ригу. Там «Похороны» шли на громадной сцене оперного театра. Признаться, публика принимала... не то чтобы прохладно, но... без восторга. Видимо, спектакль был перегружен формальными ухищрениями. Простоты не хватало. Впрочем, я сам был на сцене и не мог объективно оценивать ситуацию. Но определенно могу сказать: Жженовым как исполнителем главной роли, как партнером, как товарищем по работе я восхищался. Дробышева была трогательна в своей беззаветной преданности сцене, театру, роли. Были хорошие сцены у Шурупова — Шерифа, Дребневой — Китти, Беркуна — Гробовщика. Были мои тайные радости: «народ» на сцене был не массой, я попытался создать индивидуальность из каждой, даже совсем маленькой роли; Лело Зубир — индонезиец, политэмигрант, известный на родине актер, бежавший в Советский Союз от смертельной опасности,— он работал у нас в Театре Моссовета помощником режиссера, и вот я впервые вывел его на сцену и попросил говорить на его родном языке. Мне очень нравились его особенная внешность и пластика.

Семь раз мы сыграли в Риге. И на седьмой раз спектакль посетил большой московский партийный босс, отдохавший на Рижском взморье.

Мы тоже жили не в городе, а на взморье. Ночью, после спектакля, позвонил Директор и пригласил зайти к нему. Немедленно. Прогуляться по пляжу. Я явился. Директор сообщил мне, что партийный босс возмущен спектаклем, что пахнет антисоветчиной. Директор сказал, что, слава богу, больше «Калифорния» в Риге не идет и нам не придется заменять ее. С остальным разберемся в Москве.

Еще неделю играли другие спектакли. Купались. Пили водку. Настроение было возбужденное и отчаянное. Сказывалась усталость длинного бешеного года. Кончалось лето, и кончался сезон. Так получилось, что я уезжал из Риги последним. На машине. Володя Шурупов сказал, что одного меня не оставит, по-

ехал со мной. Я за рулем, он штурманом. Не гнали — спешить было некуда. Ночевали в деревне Кошкино в Латгалии. С утра опять двинулись. Эта неспешная тысячекилометровая дорога нас очень сблизила. Навсегда благодарен я Володе за эти два дня.

...вот и крест.
И смысл его — извечная попытка
Перечеркнуть
Все, что до нас существовало.
На двести тридцать первом
Унылом километре мы стоим
по-прежнему. И все еще вчерашний
спокойный вечер тянется к ночи.

В Москве министерство прислало нам сорок две текстовых и смысловых поправки по пьесе. «Убрать все аллюзии. Изъять ВСЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, употребляющиеся в советском лексиконе». Мы сидели с Ибрагимбековым и меняли текст. Мы репетировали переменные сцены. Артисты были терпеливы и понятливы. Изменников и перебежчиков не нашлось. Декабрь! Надвигался юбилейный декабрь. В ноябре мы решили дать наконец настоящую премьеру с афишей и всякой рекламой. Снова на широкой сцене Театра Моссовета построили цирковую арену. Натянули мрачное полотнище с огромной тенью конной статуи основателя выдуманного калифорнийского государства. Прошли генеральные репетиции. Премьеру назначили на 12 ноября.

10 ноября по радио заиграла траурная музыка и было сообщено о кончине Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Траур в стране, естественно, скорректировал репертуар всех театров. А уж мы-то с нашими «Похоронами в Калифорнии» стали совсем уж не к месту и не ко времени. Премьеру отложили до декабря.

Хорошо помню это смутное время. Мы не понимали еще, что кончается целая эпоха, что социализм не только прогнил, но треснул у нас под ногами.

Вспыхивает в памяти яркая картинка. Марк Розовский предложил сделать спектакль о Мейерхольде. Он — Марк — напишет пьесу, я сыграю Всеволода Эмильевича, а поставит представление Юрий Любимов. И будет все это в зале Чайковского — на месте, где Мейерхольд начинал строить театр своей мечты. Мы начали предварительные обсуждения. И вот я поехал на Таганку к Любимову для переговоров. В этот день было объявлено, что вместо покойного Брежнева Генсеком избран Ю. В. Андропов. Я открыл дверь в кабинет Любимова... и ахнул: стол, стулья, стены, кажется, даже потолок были покрыты ворохами сегодняшних газет с большими портретами Андропова. Любимов был возбужден и громогласен. Он потрясал газетой. Он кричал, что «вот теперь-то!», что «наконец, может начаться осмысленное время!», что «в первый раз принято правильное решение!». Андропов и его ведомство несколько раз в прошлом спасали Любимова и его театр от разгрома, и сейчас Мастер торжествовал и надеялся: «Вот теперь-то! Вот теперь-то!» Боже, как наивны мы были!

4 декабря была премьера «Калифорнии». Помню, что было большое стечение народа. Помню, что был Булат Окуджава, был Илья Кабаков. Было бурно. Хотя, признаюсь, мой спектакль, изначально излишне формальный и лишенный цельности, а теперь еще с десятками заплат, у меня у самого вызывал чувство неудовлетворенности. И все-таки... все-таки были долгие аплодисменты, было шампанское и всенощное сидение за столами всей труппой.

Музыканты дали зачин «цыганочки», прелестная Люда Дребнева вышла на середину, развела руки, прикрыла глаза, топнула ногой... и... (только не смейтесь — это не деликатно!) и сломала ногу. Это ж надо было ТАК топнуть!

Утро было невеселое. Люда — исполнительница роли Китти — оказалась в больнице на операционном столе. А у меня поднялась температура почти до тридцати девяти, и был поставлен диагноз — воспаление легких.

Я в отчаянии звонил директору — Льву Федоровичу Лосеву: «Что делать? Где выход?» Лев Федорович был более чем опытным руководителем — он умел предвидеть и чувствовать направление ветра.

«А знаете, — сказал он задумчиво, — может, это и неплохо? Лежите спокойно, поправляйтесь. И Люда пусть отлежится, и нога ее поправится».

«Но это же минимум месяц! — трепыхался я. — А юбилей СССР?!»

«А юбилей пусть идет. Понимаете, я не уверен, что нас поймут. Там все равно аллюзии торчат. Реакция руководства неоднозначная. Так что и Люда, и воспаление — это все, может быть, даже и к счастью».

В январе официально запретили три московских спектакля — «Бориса Годунова» на Таганке у Любимова, «Самоубийцу» в Театре сатиры у Плучека и «Похороны в Калифорнии» в Театре Моссовета.

Шел 83-год, потом 84-й. Была нервная нескудная жизнь со множеством забот, с затеями, попытками, крушениями, иногда и с успехами. Но «Калифорния» оставалась занозой в сознании. Самым мужественным и самым верным оказался Георгий Степанович Жженов. Периодически мы ходили с ним по начальственным кабинетам — объясняли, убеждали: это не про нас, мы же показываем ТО-ТА-ЛИ-ТАР-НОЕ общество, у нас же с вами НЕ тоталитарное общество, ну почему же вы принимаете это на свой счет? А нам отвечали: «Да ладно, вы же сами все понимаете. Я бы и не против, но... вы же знаете... Вот переговорите с тем-то и тем-то, и если они, то тогда я, хотя, если честно... (Ну, конечно, конечно, только честно!) если честно, то... бросьте вы это дело! Забудьте! Вам же легче будет».

Лев Федорович вызвал к себе. Он был черен. «Большая неприятность, — сказал он. — Вы, Сергей Юрьевич, оказывается, исполняете в спектакле еврейский гимн?!» — «Как? Где? Почему?» — «Вот и я не знаю, почему. Но мне позвонили из горкома и сказали, что у вас еврейский гимн».

(Видимо, я тоже стал чернеть лицом, и голова начала болеть.)

«Это псалом... спиричуэл... это негритянская христианская музыка... Это же Луи Армстронг поет... “Let my people go!” — отпусти мой народ!» — «Но там в начале слово “МОЗЕС”!» — «Ну?» — «Вот мне из горкома и позвонили, что Мозес — это Моисей!»

Мы добились! Представляете, мы с Георгием Степановичем добились!

«Наверху» предложили еще раз показать прогон спектакля. Мы постарели на два года. Откровенно говоря, нам самим уже ничего не хотелось. Но разрешили! Надо собирать людей... декорации. Тут выяснилось, что декорации исчезли. Кто-то приказал полотнища утилизировать, железо пустить на другие нужды. Кто? Да уже и не вспомнить кто. Кто-то!

Я пытался шуметь, качать права. И что-то зашевелилось. Наметили срок премьеры.

За месяц до назначенного срока умер Ю. В. Андропов. Снова были государственные похороны и траур в стране. А мы опять лезли с нашими «Похоронами в Калифорнии».

«Да вы нарочно, что ли? — плачущим голосом сказал мне начальник Управления культуры. — Забудьте навсегда! Занимайтесь чем-нибудь другим! С

режиссурой год-два придется пережить. А потом опять сможете что-нибудь поставить».

Я ждал не два года, а гораздо больше. Никто уже ничего не запрещал — началась перестройка. Ставь что хочешь! А вот почему-то не ставил.

Не тянуло!

ДИВЕРТИСМЕНТ

Миша Данилов

«Образованные на сцену лезут, из чиновников, из университетов. Совсем житья не стало», — жаловался Аркашка Счастливец в пьесе Островского «Лес». Как в воду глядел Аркашка! Сто лет спустя полезли отовсюду. Больше всего (почему-то?) из юристов. Но также из философов, из геологов, из медиков, из военных... А вот актер из астрономов был всего один — Миша Данилов. Не шучу, правда — Миша перебежал в Театральный институт с матмеха, с отделения астрономии.

Миша фигуру имел плотную, или, как говорят, корпулентную, пожалуй, скорее пузатую. Лицо имел широкое. Все Даниловы — и жена Лора, и дочь Катя — они такие... объемные. Общее прозвище знаете какое у них? «Слоны»! Понятно? Да что я вам рассказываю, вы же сами знаете Мишу! Один фильм назову, и сразу вспомните — «На всю оставшуюся жизнь», по роману Веры Пановой «Спутники». Он там доктора Супругова играл — неприятный такой тип с саквояжиком, а потом оказывалось — и доктор настоящий, и человек превосходный.

Мне приятно, что вы его вспомнили. Я бы мог еще десятки его ролей назвать и в театре, и в кино. Я все его роли знаю. Я очень любил Мишку Данилова. В моих постановках он вообще во всех играл, без всяких исключений — и на сцене, и на экране. Но перечислять не буду, а то захлебнусь в воспоминаниях.

А кроме этого, Миша еще великолепно (профессионально) рисовал, был мастером-фотографом (высший класс — выставочный), был знатоком и коллекционером джазовой музыки, был мастером-изготовителем курительных трубок. А еще (я об этом рассказал в главе про Товстоногова) Миша в молодые годы был алкоголиком, а потом НАВСЕГДА бросил пить. При этом не потерял юмора, любви к чтению книг, интереса к науке... Ну что еще сказать? Чудо! АКТЕР — НАЧИТАННЫЙ, НЕ ТЩЕСЛАВНЫЙ, НЕ ПЬЮЩИЙ, ДЕЛИКАТНЫЙ и при этом — ТАЛАНТЛИВЫЙ! Чудо, и все!

Мишина деликатность давала иногда неожиданные эффекты. Вот пара случаев.

Когда я приезжал в Ленинград, жил частенько у Даниловых. А Миша в Москве обычно останавливался у нас. Как-то раз приехал на один день, на съемку. Позвонил с вокзала: «Еду прямо сниматься, после съемки заеду к вам, увидимся перед поездом». Так и было. Явился часов в семь вечера — усталый, ноги болят, голова болит. Выпил большую кружку крепкого, почти чифирного чая. ЖалуетсЯ: «Говорили, роль молчаливая, даже текста не прислали, а оказалось, несколько страниц сплошного монолога».

Уехал Миша. А утром звонит из Ленинграда: «Слушай, Сереж! Я вчера был у тебя?»

Я говорю: «Был. Что с тобой, Мишель?» — «А ты случайно не помнишь, как называется фильм, в котором я снимался? Я тебе не говорил?»

Оказывается, только он вошел домой с поезда, звонок: «Михаил Викторович, это с Мосфильма говорят. Что же вы к нам не приехали?»

Миша чувствует — волосы на голове дыбом встают. Деликатно интересуется: «Не приехал?» Трубка отвечает: «Конечно, не приехали. Мы вас встречали, а вы не приехали». Вот Миша и стал звонить мне.

А случилось вот что. В «Красной стреле» актеров туда-обратно едет множество, и представителей киногорупп на перроне множество. И вот ассистентка видит знакомое, по экрану знакомое, лицо, говорит: «Здравствуйте!» Лицо приветливо улыбается и деликатно отвечает: «Здравствуйте!» Ассистентка говорит: «Пойдемте!» А Миша деликатно говорит: «Спасибо». И идет за ней к машине. Приехали в какую-то декорацию. Подобрали костюм. Роль эпизодическая, так что все на ходу. Режиссер объясняет: «Это кабинет следователя. Вы, значит, преступник, вот ваш текст... тут вообще-то много... но мы вам заранее послали...» Миша из деликатности кивает. Но в голове некоторое недоумение — текста не присылали, и, потом, договор вроде был о роли следователя, а не преступника. Но... вежливый человек всегда готов на себя вину принять. «Сам я, наверное, что-то перепутал», — думает деликатный Миша и начинает учить неподъемный текст и строить характер преступника.

К вечеру сцену сняли. Все довольны. Мише даже наличными гонорар заплатили, чего вообще говоря не бывает. Опять же из деликатности взял, поблагодарил и вопросов задавать не стал.

Оказалось, студия снимала приезжая — из Киева. Потому и платят сразу. Мишу они с кем-то перепутали, и он им очень подошел. А договоренность-то была с Мосфильмом. Но те чуть припоздали на вокзал, и вот их артиста умыкнули. А в той картине Миша действительно должен был играть следователя.

Другой случай расскажу в виде сценки и диалога.

Место действия — аптека на углу Невского и Конюшенной. Народищу полно. Миша стоит в очереди. Очередь извивается в три кольца. И вот через головы и плечи кивает ему, подмигивает и даже делает жесты ручкой крепкая женщина средних лет. Миша тоже вежливо кивает, улыбается. Движение очереди сближает их, и женщина с рыжими от хны волосами говорит: «Здорово, Данилов!»

(Ну, Миша, ясное дело, в ответ на такую фамильярность только мнется и улыбается. И думает: «Ну, понятия не имею, кто это такая!») «Как живешь, Данилов?» — спрашивает незнакомая женщина. (Миша пожимает плечами — дескать, когда как.) — Ты чего к нам не заходишь? (Миша вздыхает.) Там тебе что, больше платят? (Удивленный жест.) А у нас в парке тебя вспоминают. (Миша никак не реагирует.) Брызгунова сняли. Весь автопарк сейчас гудит. Ты заходи. (Пауза.) Слушай, а знаешь, почему я тебя называю Даниловым? (Миша делает заинтересованный взгляд.) Потому что ты похож на артиста Данилова. Знаешь ведь его? (Миша отрицательно качает головой.) Похож! Ну пока, Данилов. Заходи!

И напоследок. БДТ стал активно выезжать за границу. С «Ревизором», с «Генрихом IV», с «Историей лошади» много ездил и Миша. Жена Лора не раз говорила: «Купи себе там не фильтр к фотоаппарату, а новые брюки, на тебя смотреть противно». Миша приезжал с очередным фильтром или линзой. «А брюки?» «Лора, клянусь, в Японии только маленькие размеры. Моего не было».

В другой раз та же история, и Миша говорит: «Хочешь верь, хочешь нет, но в Будапеште брюк не было, только пиджаки, а пиджак у меня есть». Лора сказала: «Вот если из Аргентины не привезешь брюки, разведусь! И не вздумай врать, что их там не было!»

Приезжают из Аргентины. На Мише его прежние тертые штаны. Лора ждет объяснений. И Миша говорит: «Лора, Лора, не сердись! Врать не буду — брюки в Буэнос-Айресе были. (Пауза.) Но за ними такая очередь!»

АРТЕЛЬ

Я был не прав! Тысячу раз был я не прав, так раздраженно прощаясь с Парижем! Четыре с лишним месяца я прожил на Западе — Париж, Брюссель, Женева. И, конечно же, все было интересно и было немало хорошего. Мы все-таки сделали наш спектакль — «Дибук!», и он прошел договоренные пятьдесят раз. Я погрузился во французскую жизнь. С грехом пополам я много недель объяснялся и играл по-французски, русский же язык звучал только по телефону. Раз и навсегда сказал и записал я для памяти, что более красивого, более элегантного города, чем Париж во всех его проявлениях, нет и быть не может. Я влюбился не только в мосты над Сеной и улицы Латинского квартала, но и в улочки далеких окраин Обервилье и Фонтенэ о Роз. И даже в набережные скучного канала Урк с его грузовыми баржами и пакгаузами. Почему же я раздражался, прощаясь с этим городом?

Может быть, моя любовь не нашла ответного чувства? И я страдал от бессилия нарушить высокомерное равнодушие этой самодостаточной красоты? Иначе чем объяснить, что, пародируя Пастернака и глумясь над счастьем идти, засунув руки в карманы, по бульвару Сен Мишель, я писал:

Январь! Достать чернил и плакать,
писать о январе навзрыд,
Пока парижской жизни слякоть
Дерьмом летит из-под копыт.

Шли месяцы, и мой насмешливый стих заранее угадывал настроение:

Проплакать май, уткнувшись в локоть,
О том, что пролетел апрель,
И выдыхать густую копоть
Прошедшего... Париж (?) ...Брюссель (?).

.....

Июнь. Достать чернил... и вылить!
Не говорить и не писать.
Сидеть сычом, веревку мылить —
Все улетело в перемать!

Я улетал 9 мая, в день нашей Победы. Я сам удивлялся, с какой силой бурлили во мне патриотические чувства. Это был не восторг, а опять же раздражение — потому что у них тут была своя Победа, и она почему-то не совпадала с нашей Победой, а до нашей им как будто и дела не было.

Я совсем не спал последнюю ночь в моей квартире в картье Берлиоз № 12. Я собирал вещи и ликвидировал следы моего пребывания. Печали не было, было раздражение. Я писал:

Я никого здесь не оставил
И ничего здесь не забыл.
Я просто прибыл, убыл, был.
Запомню хлопающий ставень
Среди ночи, пустой мой дом.
Мы делали толково дело,
Был быт удобен. Надоело,
И вряд ли вспомнится потом.

Светало рано. Мягко прогромыхал по насыпи первый товарный поезд с минеральной водой «Эвиан». Я написал:

Мне жаль вас. Холодность сердец.
Житье без смеха и печали.
Так показалось мне вначале,
И подтвердилось наконец.

Неволю с волей перепутав,
Спеша в Москву, скажу всерьез:
Встречаю весело, без слез
Последнее в Париже утро.

И поставил точку. Я ждал администратора театра Бобиньи, который должен был отвезти меня в аэропорт. Я настоял, чтобы меня отвезли. Французы немного поудивлялись, но исполнили мою просьбу. Я привык к советским порядкам — гастролера должны встречать и провожать. Здесь гастролеру платили приличные деньги, и он сам должен позаботиться о себе. Правда, бывает еще дружба, любовь... Что еще?.. Привязанность, печаль расставания... но этого, видимо, не было.

Я улетел из самого прекрасного города мира и прибыл в тревожную Москву, от которой успел отвыкнуть.

Это было самое катастрофическое время для театров — весна 91-го. Залы были пусты. Люди ходили на митинги. Толпы слушали выступления экономистов в концертных залах и на площадях. Спектаклей смотреть не хотели. Кроме того, у людей не было денег на театр. Кроме того, возвращаться поздно из центра в спальные окраины было опасно. Нападали, грабили.

В этой обстановке Париж вспоминался сном, причем сном вдохновляющим. Играя вместе с французскими актерами, я, может быть, впервые осознал особенности НАШЕЙ театральной школы. Она не лучше французской — у них прекрасный театр и прекрасная публика, — но это все ДРУГОЕ. Наши зрители вкладывают в слово «театр» несколько иной смысл, они ходят на спектакли с другой целью. Впрочем, в данный момент они просто не ходили в театр. Это было непривычно и ужасно.

Усталости не было. Кипела энергия. Тогда я не сознавал, что это был шлейф влияния бодрящего духа Парижа, требующего деятельности и соревнования. Я выступил на новом для себя поприще — прочел пять публичных лекций в ГИТИСе, в большой аудитории для студентов всех курсов. На сцене в диалоге со мной на этих многолюдных собраниях была блистательная Наталья Крымова. Мы обсуждали кризис театра, перспективу театра, систему Михаила Чехова.

Я почувствовал, что соскучился по театру. Мой репертуар в Театре Моссовета к тому времени иссяк. Последние два года я занимался кино. Потом была Франция. Я оказался артистом без ролей. Среди разговоров и переговоров мелькнуло имя Гоголя и пьеса «Игроки». Я отбросил эту мысль — хотелось современности, все бурлило вокруг. Я все-таки открыл томик Гоголя...

Это была ослепительная ВСПЫШКА! Господа! Слово «господа» стало входить в лексикон нашей речи, вытесняя слово «товарищи». И гоголевский текст ТЕПЕРЬ можно было воспринимать как современный. Никакая не история — это современные обманщики и притворщики. Вот липовый полковник милиции — Кругель, вот фальшивый депутат и общественник — Утешительный, вот мнимый профессор — Глов, а вот ЯКОБЫ должностное лицо... И все — ВСЕ! — ненастоящие, все «делают вид!» Вот только кучер... Да что за проблема! Вместо кучера будет таксист, вместо полового в гостинице будет горничная — и все! Никаких изменений в тексте. Это не будет, как у Ильфа и Петрова: «Пьеса Гоголя. Текст Шершеляфамова». Текст будет Гоголя. А вот место действия — гостиница «Приморская» в Сочи. Время действия — сейчас. С приста-

ни будет доноситься: «Миллион, миллион, миллион алых роз» голосом Аллы Пугачевой. А по телевизору пойдут «Вести» с Флярковским и Киселевым. А потом запоем Лучано Паваротти «O sole mio», как он пел это на закрытии футбольного чемпионата.

Кто должен играть этого Гоголя, опрокинутого в современность? На этот раз я не стал мысленно распределять роли среди артистов своего театра. В стране был кризис. В театре был кризис. В мозгах был кризис. Все привычные механизмы и взаимодействия переставали работать. Я поставил вопрос иначе: кто лучше всех сыграл бы эту роль? Кто больше всего подходит внешне и при этом обладает юмором, мастерством, чувством стиля, заразительностью и... свободным временем, чтобы участвовать в этой затее? Согласитесь, не простая задача! И тут — впервые — пришло в голову: ведь у нас актеры ВЫСОЧАЙШЕГО класса; теперь, походив по парижским театрам, могу уверенно сказать: ВЫСОЧАЙШЕГО! Я знаком со многими из них. Да чего там, я знаю их ВСЕХ! Либо в кино когда-то снимались вместе, либо в концертах участвовали, или просто встречались. Но как жаль, что мы никогда не попробовали играть вместе в спектакле. А что если...

Первый, кому я позвонил, был Калягин. Без секунды колебаний он принял предложение играть в осовремененном Гоголе. Он сказал, что на ТВ играл Ихарева в «Игроках», но теперь ему даже интересно сыграть роль Утешительного. Время? Время найдем.

Я позвонил Жене Евстигнееву. С ним были знакомы гораздо ближе, но не виделись уже несколько лет. Женя пробасил: «Давай попробуем, съемок у меня сейчас нет, а с остальным разберусь».

Я еще не знал, ГДЕ мы будем репетировать и играть. Знал только, КОГДА — этой осенью! Были переговоры с разными театрами, с разными директорами и управленцами. И возник человек, который решил взять на себя функции продюсера. Новое тогда слово — ПРОДЮСЕР! Это не начальник над всеми, а деятель, который впрягается вместе с творцами и тянет общий воз. При этом понимает в финансах, имеет связи, реально смотрит на вещи, знает, что без романтических завихрений театра не бывает. Продюсером стал Давид Смелянский.

Память моя стала работать направленно и избирательно. Я вспомнил про замечательного работника, влюбленного в театр, бывшего когда-то заведующим труппой в Театре Моссовета. Александр Аронин его зовут. Не виделись несколько лет. Но, уходя из Моссовета, Саша оставил мне свой телефон — на всякий случай. Я позвонил и предложил ему заведовать будущей труппой, пока неизвестно из кого состоящей и в будущем неизвестно где выступающей с пьесой «Игроки» Гоголя. Саша сказал, что он находится на службе, но... в ответ на такое предложение немедленно оставляет эту службу и готов приступить к исполнению обязанностей хоть завтра.

Наташу Макарову я знал по Магнитогорску. Много раз гастролируя там, познакомился с этой очаровательной юной пианисткой. Прошло более десятка лет. Наташа жила теперь в Москве, и среди ее многих талантов проявился и талант организатора — мягко и покорительно умела общаться с людьми. Была толкова и образованна. Я предложил ей пост директора в несуществующем театре. Она согласилась.

Менее всего мы были знакомы с Леонидом Филатовым. Но он более всего подходил на главную роль — Ихарева. Мы встретились. Леня был погружен в сложные сплетения отношений внутри Театра на Таганке. Леня готовился снимать большой фильм по собственному сценарию. Леня много занимался литературной работой. И все-таки он сказал: «Да! Если будут твердые сроки, то да!»

Место, нужно было место! Вместе с Давидом Смелянским мы обратились к Олегу Ефремову. Я написал ему письмо. Потом был разговор. Конечно, сыграли роль и наши старые с ним дружеские отношения. Но главное — Олег Николаевич долгом своим считал поддерживать все, что имело привкус новизны, студийности, опыта.

МХАТ имени Чехова вошел в союз с нами! Мы будем репетировать во МХАТе и играть на сцене МХАТа! У меня кружилась голова от невероятности происходящего.

Я позвонил одному из «коренных» мхатовцев — Вячеславу Невинному. Я знал, что Слава НИКОГДА за всю жизнь не играл на сцене вне МХАТа. Но теперь, когда мы в союзе с его театром, может быть, он войдет в нашу компанию и сыграет роль полковника милиции (на самом деле мошенника) Кругеля? Слава сказал: «Оповестите, когда первая репетиция».

Шло лето 91-го. Прошел референдум о сохранении Советского Союза. Ельцин накачивал самостоятельность РСФСР. Горбачев вел борьбу на многих фронтах. Мир увлекался Россией и всем российским. Демократия взлетала на высоты и шмякалась о землю. А люди... массы людей... то есть не все массы, а массы в больших городах, особенно в столице, были исполнены надежд и предчувствия добрых перемен. Свободы нам, свободы, и все устроится! И в это время я вчитывался в Гоголя, и лезли в глаза слова проницательного автора, а может, и пророка: «Странно, отчего русский человек, если не смотреть за ним, делается и пьяницей, и негодяем? От недостатка просвещения. Бог весть от чего! Вот ведь мы и просветились, и в университете были, а на что годимся? Ну чему я выучился? Ничему. Так и другие товарищи».

(Это у Гоголя так — «товарищи», у Гоголя. Мы не подгоняли под наше время!)

«Эх, господа! Ведь вот тоже сочинители разные все подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названия поблагородней: пожертвование там... или там, Бог ведает, что такое, а на деле выходит — такие же взятки».

Вот тебе и Гоголь! Вот тебе и первая треть XIX века. Вечно, что ли, тексты будут современны? Может, и вечно. Потому и называется — КЛАССИКА!

Спектаклю решено было дать название «ИГРОКИ XXI».

Будущая труппа была названа «АРТель АРТистов». Одна из первых антреприз нового времени. (Если не первая!)

И с этим уехали мы с Теняковой в Сочи — в санаторий «Актер». Купаться, отдыхать, но, главное, завершить все литературные работы по «Игрокам». Были добавлены тексты из «Мертвых душ», из другой прозы. Но Гоголь — персонажи должны говорить только текстом Гоголя! Шел август, и Черное море было роскошно.

И грянул путч. Форосский пленник. Дрожащие руки однодневного диктатора Янаева. Ельцин на танке. Балет «Лебединое озеро». Появление радио «Эхо Москвы».

Немедленно вылететь из Сочи не представлялось возможным. В санатории водораздел рассек население — кто за Ельцина, кто за ГКЧП? С Теймуром Чехидзе, жившим двумя этажами ниже, объединились в нашем номере. Сидели перед телевизором, ждали новостей. На экране мелькали старые фильмы, и новости просачивались редко. Было тревожно. В ночь с 20-го на 21-е я писал:

Агония страны, гнойник прорвался внутрь,
Медикаментов нет, погибли все врачи.
Ну, что же, господин, товарищ или сударь,
Пора держать ответ, пора прозреть в ночи.

Не немцы у ворот, а собственные танки.
 Не Прага, не Кабул, захвачена Москва.
 Ну, что ж, проснись, народ! Тронь с мертвенной стоянки!
 Ты долго шею гнул. Ты слишком долго спал.

Финал был совсем патетический — такое было настроение:

Гражданская война? А что поделатъ, братцы?
 Все круглые слова да круглые столы.
 Накушались сполна! Пора за колья браться.
 Все отняты права, и скалятся стволы.

Я никому не показал эти стихи, но про себя был доволен, что они написаны. Волна отчаянного восторга, бушевавшая в столице, докатилась и сюда — под пыльные санаторские пальмы.

23-го мы все-таки оказались в Москве.

Толпа на Манежной площади была несметная, то есть во всю ширь от Александровского сада до гостиницы «Националь» и во всю длину от Манежа до гостиницы «Москва» стояли плечом к плечу. Шел митинг, и помост сделали у главного входа в Манеж. Я стоял там, где впадает в площадь улица Горького (это были последние дни, когда она называлась именем Горького — в прошлом и в будущем Тверская. Раз уж залезли в скобки, то не удержусь и замечу: это хорошо, что Тверская, но мне лично жаль, что имени Горького не осталось в Москве ничего, даже станции метро. Любят у нас поприжать того, кому недавно поклонялись). На помост вышли люди. Видно было плохо — далеко! Слышно тоже неважно — динамики настоящего качества не обеспечили. Говорил Михаил Сергеевич Горбачев, говорила Елена Георгиевна Боннэр. То, что доносилось до нас, было хорошо и правильно. Слова Боннэр мне всегда кажутся ценными — никаких общих мест, никогда. Был ли Ельцин, почему-то не помню. Кажется, на этом митинге его не было. Но все равно настоящим героем этих дней был, конечно, он. И еще три погибших парня. Им, собственно, и был посвящен митинг. Пролитшейся крови. Потом к микрофону подошел еще кто-то (не разобрать — далеко) и к чему-то нас призвал. Мы, то есть вся толпа, единодушно что-то ответили.

И тысячи людей тронулись к месту гибели трех жертв... восстания народа, что ли... или путча, или малокровной революции, или, как именовалось официально, защиты Белого дома. Мы двигались во всю ширь Нового Арбата. Местами звучала музыка. Местами пели. Иногда шеренга, человек в сто, бралась под руки. Лица были хорошие. Многие в очках. Много седых. Я присоединялся к разным группам, но долго не задерживался. Хотелось послушать толпу во всем разнообразии. Выкликали лозунги. За свободу, за демократию! Проклинали тех, по чьей вине погибли парни. Люди рассказывали подробности. Но подробности путались. Со слов очевидцев получалось, что танк шел вовсе не к Белому дому, а как раз перпендикулярно в сторону — по Садовому кольцу. И будто бы танк пытались поджечь, потом, на выходе из туннеля, накрыли чем-то башню, лишив танкиста видимости. И это были вовсе не те, погибшие, а совсем другие молодые люди, а эти попали по несчастью. А водитель танка ни в кого не стрелял, а выполнял приказ по передвижению и просто растерялся, когда на машину напали.

Мы шли, взявшись под руки, и пели песню Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья». Пели от души, но, так как слишком много народа пело, получалось нестройно.

Над злосчастливым туннелем начался второй митинг. Однако уже совсем ничего не было слышно. Я выбрался из толпы и пошел домой, благо недалеко — Гагаринский переулочек (бывшая Рылеева).

Чувствую, что отступление мое затягивается, но нельзя миновать важнейшей темы — необратимого перелома, который происходил в стране, в общественном сознании и в моем сознании. Мой XX век — мой тоже! Но ведь он наш, общий! Я искренне хотел быть со всеми. Или хоть с кем-нибудь. Но не получалось. На трибуны митингов меня не тянуло, а стояние в толпе утомляло, и никогда меня не охватывало общее с толпой чувство. В эти самые дни я создавал нашу актерскую АРТель, а все большие объединения вызывали отторжение. Как актер, я был человеком публичным, узнаваемым. Меня звали в разные собрания, движения, направления. Некоторым я сочувствовал. Но не мог преодолеть этого быстрого утомления от разговоров, программ и хоровых выкриков. Я мучился и при первой возможности убежал из толпы.

К 91-му году присоединю один более поздний эпизод, чтобы иллюстрацией подтвердить нелестное для меня, но искреннее признание.

Октябрь 93-го. Москва. Снова уличные события. Теперь не защита, а штурм Белого дома. Указ Ельцина № 1300 — фактическая отмена одной из ветвей власти. Макашов и Баркашов. Призывы Руцкого. Хулиганствующие толпы в Останкино. В вечерний час 3-го числа Егор Гайдар по телевидению обращается к нам, к гражданам: придите защищать демократию, выходите на улицу. Мы ждем вас у Моссовета.

Я верю Гайдару и прихожу на призыв. Толпа возле Юрия Долгорукого. Темно и очень холодно. Вижу Смоктуновского в кругу спрашивающих его, что делать, как защитить священные права свободы, частной собственности. Иннокентий Михайлович пытается что-то разъяснить, но чаще разводит руками. Кто-то кричит в рупор: двигайтесь к Спасским ворота. И я иду к Спасским воротам. Иду один среди нестройного множества людей. Хорошо помню — шаркают ноги. Множество ног. И холодно. Почему-то мы идем не через Манеж, а в обход — через Лубянскую площадь, Китай-город на набережную и, пройдя под мостом, по Васильевскому спуску к Кремлевской стене. И вот идем от Политехнического вниз, к речке. Сбоку от меня две женщины. Седые волосы выбиваются из-под беретиков. Руки в карманах курток. Стоптанные каблуки туфель — почему-то хорошо помню эти кривые каблуки. И одна пожилая в плохой одежде говорит другой пожилой в плохой одежде: «Вера Никитична, неужели ОНИ осмелятся закрыть частные банки?» Мне хотелось спросить их: «А вам-то что?» Но я промолчал, и мы шаркали дальше.

Встали полукругом у Спасских ворот. Нас было человек двести — триста. Трудно сказать сколько — площадь большая. Однако подходили еще. Опять скажу — хорошие лица. Но уже синеватые в свете фонарей, и к тому же холодно. Один старичок (очки, поднятый воротник пиджака, руки в карманах брюк) все перебегал туда-обратно и говорил: «Есть решение раздать защитникам оружие». Чего-то ждали. Ворота были закрыты. Потом одна створка отодвинулась, и сквозь щель появилось знакомое лицо — господин Костиков, пресс-секретарь президента, по профессии журналист и писатель, его часто по телевидению показывали. Мы сгрудились поближе. Старичок крикнул: «Когда будут раздавать оружие? Мы требуем нас вооружить!» Господин Костиков поднял руку и сказал: «От имени президента выражаю вам благодарность. Просьба сохранять спокойствие. Будут приняты все необходимые решения. Сейчас еще ничего не известно, но, как только будет известно, вы будете оповещены. А кто вам сказал, чтобы идти к Спасским воротам? Сбор же, по-моему, у Моссовета».

Я ушел, потому что продрог.

Зимой того же 93-го я пошел на собрание партии Гайдара «Демократический выбор России». Дело было в битком набитом актовом зале газеты «Извес-

тия» в Настасьинском переулке. Говорили хорошо. Страна шла каким-то зигзагообразным путем, но ДВР имел еще авторитет и множество сторонников. Предложили выступить и мне. Я рассказал о двух женщинах, которые в ночь с 3-го на 4-е октября так беспокоились о частных коммерческих банках. Зал слегка посмеялся. Но мне показалось, что с высоты сцены я различил в рядах и этих самых женщин, и старичка, склонного вооружаться.

Я вышел на улицу. Была сильная метель. А машины моей не было. Я заметался. Подбежал к милицейскому посту на Пушкинской площади и крикнул: «У меня машину угнали!» Милтон сперва меня долго не слышал, был занят разговором по телефону, а потом сказал: «Увезли вашу машину в отстойник за неправильную парковку». — «Куда?» — «А это я не знаю, у них разные стоянки». Я чертыхался, ругал вслух и социализм, и демократию, и милицию. Подошел парень в штатском. Сказал: «Я сотрудник угрозыска. Меня зовут Антон. Я вас видел в кино, вы с Высоцким играли. Я для вас все сделаю. Сейчас найду вашу стоянку». Он стал звонить по телефону, набирая десятки номеров и крича: «А ты у Витьки спроси! А он пусть Зурабу позвонит... Нет, сейчас!.. А я тебе говорю, сейчас!.. Ты “Место встречи изменить нельзя” видел?.. Ну и все, у меня тут человек оттуда. Все, через пять минут перезвоню. Пусть они расколуют Максима, он знает». Через два часа, к полуночи, на глухом пустыре в глухом районе, ранее мне неведомом, я нашел свою машину со сломанным замком двери водителя и небольшой царапиной на крыле. В жарко натопленной будке с меня спросили миллион (помните — тогда были такие деньги?). Миллион у меня был. Я крепко пожал руку Антону.

На митинги и собрания старался больше не ходить.

АРТель созревала! С Ленией Филатовым мы нанесли визит фантастическому художнику Давиду Боровскому. Невероятными его решениями сцены я восхищался неоднократно. Несколько раз я предлагал ему сотрудничество, но все как-то сроки не совпадали. В «Игроках», по моему мнению, категорически нельзя было допускать никаких символов, никакой мистики, которую нередко подпускают к Гоголю. Павильон — номер в гостинице. Юг. Берег моря. Лето. Очень светло. Но вместе с тем это должен быть Театр. На этот НОМЕР должно ХОТЕТЬСЯ смотреть два с половиной часа. А костюмы? Наши, современные, но ведь не просто же, как будто с улицы на сцену вышли. Так в чем же фокус? Не знаю! Потому я шел к Боровскому. И боялся, что он откажет, — слишком простая для него задача, слишком скучный реализм. Но он не отказался. В короткое время Давид сделал изумительный макет, от которого глаз не оторвать. Эта балконная дверь, этот душ вместе с сортиром, выгороженный фанерным закутком в углу, эти пропорции советской роскоши, этот теплый деревянный пол, приподнятый над сценой. Я был счастлив.

Когда роль дежурной по этажу обрела в моем воображении форму и законченность, я попросил Тенякову сыграть Аделаиду Ивановну. Я дал ей имя заветной, крапленой колоды Ихарева. Случайное совпадение, которое выясняется в первой сцене, и на Ихарева производит впечатление знака Судьбы. Придумалось и появление Аделаиды в финале — в совершенно ином облике: роковая женщина западного пошиба. Сюжет вполне оправдывал ее принадлежность к банде мошенников и соответственные доходы. Слов в роли было немного, но пантомимы обещали быть богатыми. Всем этим я соблазнял Тенякову. А она мне ответила: «Да что бы там ни было, я все равно собиралась это играть — надо же тебя выручать!»

Сашу Яцко я заметил с десяток лет назад, когда он, еще студент, блеснул на Всесоюзном конкурсе чтецов, исполняя Гоголя. С тех пор Саша стал заметным артистом на Таганке. Но после смерти А. В. Эфроса заскучал там. Я перетащил его к нам, в Театр Моссовета. И вот теперь пригласил в «Игроков» на роль жесткого мошенника Швохнева.

Шофера должен сыграть Андрей Сорокин, артист Молодежного театра. Кроме того, что он сын моей подруги, замечательного телевизионного режиссера — покойной Ирины Сорокиной, Андрей еще отлично сыграл эпизод куратора от КГБ в моем фильме «Чернов/Chernov».

Сроки определились. Первая репетиция 11 декабря. Всего репетиций сорок. Выходные дни определены заранее. Премьера на сцене МХАТа 25 февраля 1992 года.

Давид Смелянский и Наташа Макарова давили на мастерские, и дружили с мастерскими, и делали все, чтобы декорация (совсем не простая в изготовлении и совсем не дешевая) была готова не как обычно в государственном театре (ударные темпы, но с опозданием на полгода), а как положено в антрепризе, где за опоздание в готовности мы будем платить большие деньги, а задержка мастерских перекладывает материальную ответственность на них. Но не страх сработал, не страх! В мастерских видели наш накал работы, видели, КАКАЯ КОМПАНИЯ собирается, и они сделали как надо и к сроку.

Оставались две свободных вакансии. На роль Глова-младшего я пригласил Костю Райкина. Он был необыкновенно доброжелателен, но отказался — Сатирикон занимал все его время. По поводу сильно расширенной в нашем варианте роли аукционного служащего Дергунова я вел переговоры с Зиновием Ефимовичем Гердтом, с которым сохранил дружбу со времен «Золотого теленка». Зяма был сильно занят и неважно себя чувствовал. В результате не смог. Тогда был сделан резкий ход. Я предложил роль Дергунова Геннадии Хазанову. Гена был уже сильно знаменит, и имя его гремело. Но он был стопроцентным эстрадником — монологи, пародии, фелетоны. Имя Хазанова на афише МХАТа в пьесе Гоголя — в то время это был шок. Гена согласился немедленно и с великим энтузиазмом. На роль Глова-младшего я пригласил нового артиста — молодого Юру Черкасова из Театра Моссовета. Поглядел разок на маленького, живого, подвижного артиста со странной печалинкой в глазах и пригласил. Юра, узнав, в какой звездный состав он попадает, чуть не отказался со страха. Но, когда началось, надо было работать, бояться было некогда, и работал он отлично.

11 декабря мы расселись за большим круглым столом в комнате Правления в административном крыле МХАТа. Была читка по ролям. Конечно, сперва потрепались, и был рассказан целый ряд новых анекдотов. Конечно, пересмеивались и подкалывали друг друга. Но! Было ошутимо — эти театральные киты СИЛЬНО ВОЛНУЮТСЯ.

Все знали друг друга, но НИКОГДА не играли вместе. И не виделись давно. И даже первая читка — это представление. «Играть» еще рано, но кто как прочтет гоголевский текст — это заявка на соревнование «по гамбургскому счету». И «киты» ВОЛНОВАЛИСЬ, скрывая всячески свое волнение. А как волновался я... догадайтесь сами, дорогой читатель.

Мы читали. А острот-то у Гоголя... мало. Шуток-то у Гоголя вовсе нет. Какой-нибудь Задорнов даст Гоголю в этом смысле сто очков вперед. У Гоголя гомерически смешная ВСЯ ФАКТУРА письма. Вот ее и предстояло выявить по-юношески волнуемым мастерам.

И было сорок репетиций.

Вот в таком ритме эпического сказа мог бы я поведать о двух месяцах нашей работы. Не буду этого делать, но мог бы. Потому что сорок встреч с этими людьми были из счастливейших дней моей жизни. В репетиционном зале на седьмом этаже МХАТа, в громадной прямоугольной комнате без окон и с устойчивым запахом пыли, ежедневно было очень интересно и весело. Сочетание насмешливости и трогательности было во взаимоотношениях всех членов АРТели. Мастера были очень внимательны к работе другого. В такой компании гонор, премьерство были совершенно невозможны, потому что уровень каждого очень высок. Да и не такие это люди, чтобы заниматься самоподачей.

«А можно, мы еще раз этот кусочек пройдем, только без таланта, а?» — басил Женя Евстигнеев. Без таланта никто из них просто не умел, но выражение «без таланта» означало — без плюсов, без излишеств, рассчитанных на прием нетребовательной публики. «Без таланта» означало «на чистом сливочном масле», как любил повторять тот же Женя Евстигнеев. «Наигрыш» невозможен — нужно, чтобы любая заданная автором и режиссером невероятность была психологически оправдана. Но и простая «естественность», «как в жизни», тоже не годилась для этого спектакля. Поиск особого состояния возбуждения играющих по-крупному мошенников накануне большого куша, когда близкая удача ослепляет ум и искривляет реальность, — этот поиск и был нашей веселой работой.

Два занятных момента: после недели работы продюсер и зав. группой сообщили, как будут оплачиваться репетиции, а впоследствии спектакли (оплата, кстати, была сравнительно скромная). Леня Филатов, подняв брови, с искренней наивностью спросил: «А что, еще и деньги нам платить будут?» Второе — игра в карты составляет две центральные сцены спектакля. Когда дошло до разводки, выяснилось, что НИКТО из актеров в карты не играет. Самыми опытными оказались мы с Теняковой, потому что «заказной кинг» — наше любимое летнее развлечение. Пришлось обучать игре шулеров и мошенников.

Каждый из нас служил в других местах, мы все были сильно занятыми или, как сейчас говорят, востребованными людьми, но КАЖДЫЙ ДЕНЬ мы собирались на репетицию, и образовалось нечто подобное братству, художественной группе единомышленников. Мы не забирались в теоретические выси, мы называли это простым словом «артель». Но общий насмешливый, «гоголевский» строй мыслей по отношению и к окружающему, и к самим себе подвинул меня даже на написание шуточного манифеста нашей группы. «Документ» пародировал залихватские громогласные манифесты разных художественных групп начала века.

Было писано:

«Манифест АРТели АРТистов!!!

СИНТЕЗИРОВАТЬ из обломков ДРАМАТИЧЕСКИЙ театр!!!

Современный театр — суп, который не сварен.

Рок-ритмы есть, пантомима, акробатика есть, секс есть, раскованность есть, даже развязность есть! Свет есть! ОГНЯ НЕТ!!!

Огонь драматического театра — ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА В ФОРМАХ САМОЙ ЖИЗНИ!!!

(Пропускаю десяток строк с восклицаниями.)

Создать ансамбль из ярких индивидуальностей.

НЕ ЧУРАТЬСЯ гастролей — в стране и за рубежом...

во имя того, что влекло многие поколения наших отцов и дедов, во имя того, что называют и что действительно есть —

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР!!!»

Шутка! Розыгрыш! Приглашение к насмешливости!

Но я ошибся, я дал маху! Манифест поместили в программку спектакля. В ней все было шуткой — так мне казалось — начиная с названия «ИГРОКИ XXI». Тогда, в 91-м году, про будущий век еще не особо говорили, а мы горделиво забрасывали Гоголя в новое тысячелетие. В шутку! В насмешку, господа!

А получилось вот что. Точно в срок мы начали генеральные репетиции. Мы пригласили публику на эти репетиции. Мы пригласили критику! Пять дней мы играли для переполненного зала бесплатно. Пять раз был громовой успех. А на шестой раз, 25 февраля 1992 года, была премьера. И опять битковый аншлаг, перекупщики торговали билетами по пятерной и десятерной цене. Но!!!

К премьере вышло множество рецензий. И ВСЕ были либо ругательные, либо поносно-ругательные. Наш пресс-атташе Маша Седых только ахала: как это могло случиться? Людям же нравилось, почему такая злобная атака?

В атмосфере колоссального спроса на билеты, всегда переполненного зала, оваций в середине и в конце и непрекращающегося озлобления прессы прошли все шестьдесят представлений и полтора года жизни этого спектакля.

Мне трудно понять, что случилось. Могу только предполагать. Ну, во-первых, мои личные взаимоотношения с критикой, прямо скажем, не сложились после нашего переезда в Москву. Даже, несомненно, успешные «Тема с вариациями» с Р. Я. Пляттом и «Правда — хорошо, а счастье лучше» с Раневской, прошедшие СОТНИ раз с огромным успехом, в прессе подвергались поношению. В случае с «Игроками», я думаю, было три основных недоразумения.

Первое. Отдельные товарищи подумали, что мы всерьез мним себя реформаторами и обновителями русского театра. «Манифест» вызвал раздражение, а скрытая насмешливость всей постановки доходила до обычных зрителей, однако почему-то оказалась невидимой для некоторых специалистов. Не настаиваю, но предполагаю — дело в привычном для критики наличии ДЛИННЫХ указательных пальцев в современной режиссуре, указывающих, где, что и кем ПРИДУМАНО в спектакле. Отсутствие швов и белых ниток в нашем спектакле вызвало ложное ощущение, ЧТО НЕ ПРИДУМАНО НИЧЕГО.

Второе. Отдельные товарищи ошибочно решили, что это халтура. Им показалось, артисты играют сами себя, ходят, куда хотят, и говорят, что им заблагорассудится. Им показалось, что художник Давид Боровский на этот раз ничего не придумал и ПРОСТО расставил мебель по комнате. Они ошиблись, отдельные товарищи. Спектакль бы выверен до миллиметра, актеры (по крайней мере на первых представлениях) были ИЗУМИТЕЛЬНО точны в ритмах и движениях, которые были построены по всем музыкальным законам. Работа художника АБСОЛЮТНО выполняла поставленную задачу — гиперреализм без всяких подсказок и костылей для смотрящего, чтобы он понял, что это какой-нибудь «изм», а не живая жизнь.

Третье. Отдельные товарищи ошибочно предположили, что мы очень много заработали на этом спектакле. Это было не так. Было наоборот. Высокооплачиваемые артисты СОГЛАСИЛИСЬ получать весьма скромные деньги, чтобы участвовать в этом артельном спектакле. Театр окружили спекулянты и мошенники, желая заработать на таком собрании притягательных имен, однако мы ТОЛЬКО ИГРАЛИ МОШЕННИКОВ, но никак не были ими.

Женя Евстигнеев с блеском сыграл «академика» Михаила Александровича Глова... всего девять раз. 1 марта мы проводили его в Англию на операцию сердца. В Англии 4 марта Женя скончался в клинике. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище.

Потеря для России и для нас, в частности, была невосполнимая. В наш точно выверенный спектакль невероятно трудно было ввести кого-нибудь другого. Поэтому я оставил свое режиссерское место в зале и вышел на сцену в роли Глова. В этом составе мы и играли до конца.

Никогда в моей жизни не было столько счастливых совпадений, как на пути к премьере «Игроков», и я благодарен за это судьбе. Ужасные удары сопровождали жизнь этой злой комедии — смерть Жени, тяжелая болезнь Лени Филатова. По сравнению с этим обиды, нанесенные критиками, кажутся если не комариными укусами, то жалом осы. Больно, но вытерпеть можно.

Еще раз я вспомнил фразу моего любимого Ибсена: «Более всех силен тот, кто более всех одинок». Справедливо. Но в этот период я еще не был одинок. У нас была АРТель!

ДИВЕРТИСМЕНТ

Юрий Сергеевич

Это теперь просвещенные люди думают, что ВТО расшифровывается, как Всемирная Торговая Организация, в которую все мечтает вступить Россия. А пятьдесят лет назад ВТО — это было Всероссийское Театральное Общество. Основано оно было еще в конце XIX века с целью материального вспоможения несостоятельным актерам. Может быть, это единственная организация в России, прожившая БЕЗ ПЕРЕРЫВА более ста лет, пережившая революцию, сталинизм, хрущевское и брежневское времена, крушение социализма и перестройку. Горжусь, что три поколения нашей семьи — члены ВТО: отец, я и моя жена, а теперь дочь!

В курортном поселке Комарово (по-фински — Келомякки) на Карельском перешейке под Ленинградом слово «ВТО» знали все. ВТО — это Дом творчества актеров на углу Цветочной и еще какой-то дачной улицы. Двухэтажное уютное строение на одну семью, оставшееся от финнов, где теперь гнездились десятка три разновозрастных и разнополых актеров. Были еще два строения — столовая и административно-жилой корпус. Но это уже новострой барачного типа. Еще лужайка, волейбольная площадка и... все. Больше ничего. Ну, конечно, невысокий забор, которым все это обнесено.

А дело было давно, в середине 50-х, в *толькочтопослесталинские* времена. В строгое, значит, время.

И вот летом проводят свой отпуск на скромной этой территории творческие работники.купаются в Финском заливе (пешком до него 12 минут), гуляют между деревьями, пьют водку и, главное, разговаривают на разные темы. И разговоры эти очень интересные. Всем весело. Поэтому в домах творчества ВТО (во всех!) никогда нет никакой КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ. Затеяника или там аккордеониста — нету их. Отдыхающие сами себе культурная программа. Кино тоже не было в Комарове. И физзарядки не было. Был БЛЯМ — удар в рельсу, призывающий к обеду. Все! Среди отдыхающих был и Юрий Сергеевич с женой-пианисткой и сыном-студентом. Юрий Сергеевич был опытным отдыхающим. Он в первый же день срезал в орешнике палку и сделал из нее приличную трость, сложил из газеты наполеоновскую треуголку и надел ее на голову и в таком виде совершал длительные прогулки в окружении многих интересующихся, потому что Юрий Сергеевич был отличным рассказчиком и полемистом.

Прелюдия кончена. Начинается сюжет. Прибывает электричкой из Питера некий новый отдыхающий. Один. Одет как-то странно — отглаженные брю-

ки, пиджак, галстук, ботинки. В ВТО так не одевались. Там царил стиль — чем хуже, тем лучше. Люди здесь как раз отдыхали от пиджаков, галстуков и прочего. Так что на неизвестного новичка обратили внимание. И он обратил внимание, что дом отдыха какой-то ненормальный. И стал высказываться в столовой, и в гостиной, и при знакомстве с соседями. Говорил громким бархатным голосом, что, мол, непонятно, за что деньги берут, думал отдохнуть со знаменитыми актерами, с приятными актрисами, культурно потанцевать, а тут какие-то оборванцы шляются. Я заявлю, где надо, говорил он, что тут никакой просветительской работы не ведется, экскурсий нет, лекций по ознакомлению с окружающим краем и так далее. К Юрию Сергеевичу стали подходить многие (кстати, очень знаменитые, только одетые по-летнему) актеры и жаловаться: что же он нас донимает, этот тип?! Он же весь отпуск угробит! Надо что-то с ним делать!

И сделали! В столовой появилось объявление:

«ЗАВТРА после обеда вместо МЕРТВОГО часа ЭКСКУРСИЯ на тему СОВЕТСКОЕ КОМАРОВО В ДЕЙСТВИИ.»

Посещение железнодорожной станции, рассказ о репертуарных планах ленинградских театров, осмотр морских пейзажей, отдых под соснами».

После обеда у столовой собралась группа оборванцев. Экскурсоводом был Юрий Сергеевич (усы, борода, ореховая трость, газетная треуголка). Брюзгливый новичок в костюме присоединился от нечего делать. Дошли до станции. Экскурсовод доходчиво объяснил, что по решению руководства устроены две колеи. По одной поезда идут ИЗ Ленинграда, а по другой, напротив, — В Ленинград. Экскурсанты удивлялись и задавали вопросы: «А по какой именно колее туда, а по какой сюда?» Шли по лесу. Солидный человек с бородачкой в наполеоновской шляпе из газеты рассказал, что деревья посажены специально, чтобы была тень, под которой можно укрыться от палящего солнца. Экскурсанты восхищались. Пришли к морю. Шел разговор о песке, который специально насыпан, чтобы было мягко. Человек в костюме, видимо, окончательно убедился, что группа собрала полных идиотов. Потом экскурсовод попрощался с коллективом и пожелал всем не потерять свои пограничные разрешения, а то будут неприятности. Новичок поинтересовался: какие разрешения? На что? Экскурсовод показал в морскую даль: «Вон купол виднеется. Знаете, что это? Это Кронштадт! База! Это же пограничная зона. Вы что, не знали? Вы откуда сами?» — «Из Москвы». — «А сюда вы как попали?» — «На поезде». — «Билет сохранили?» — «Нет». — «Жаль. Там же, наверное, было пограничное разрешение. Здесь же запретная зона — Кронштадт виден».

Москвич побледнел: «Что же теперь будет?!» Юрий Сергеевич сказал: «Успокойтесь. Возьмите себя в руки. Я не думаю, что дело может кончиться катастрофой (они дошли до Дома творчества), но поменьше обращайтесь на себя внимание, далее — ни шагу в лес, ни в коем случае в станционный буфет, на море — боже вас сохрани, вот тут около забора гуляйте, может быть, все и обойдется». «Спасибо вам большое». — Иногородний потряс руку экскурсовода.

Занятно было наблюдать, как он молча гулял, руки за спину, вдоль забора, пугливо оглядываясь на встречных.

Три дня отдыха ему испортили. Потом хором и весело объяснили розыгрыш. Он посмеялся из вежливости вместе со всеми, но все равно ничего не понял. Ходил вдоль забора.

Ах, Юрий Сергеевич, Юрий Сергеевич, как жестоко вы поступили!

Отец сказал мне: «Да мне самому этого дурака жалко. Но надо же хоть на полгроша юмор иметь».

ПОЗНАВАЯ РОССИЮ

Кузьмич

Ехали долго. Но не так уж долго, чтобы все вокруг переменялось. А оно действительно переменялось. Наша машина не просто вздрагивала на трещинах и рытвинах дороги, а с трудом переползала из ямы в яму. Нас это не огорчало, это было то, что надо. Мы ехали снимать сцены в заштатном городе Арбатове и дальнейшее путешествие Остапа Бендера с компанией по центральной России. Знаменитый режиссер Михаил Швейцер «пробил» разрешение снимать обожаемый народом, но в те годы полузапрещенный роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Дело было летом 67-го года, а на экране нам надо было изобразить тридцатые или даже двадцатые годы. Никаких проблем — в этих местах Владимирской области, казалось, ничего не изменилось с XIX века. Обветшало только. Церкви без крестов, облупившийся, ничем не торгующий гостинный двор, покосившиеся домишки, дырявые заборы, пыль, а после дождя непроходимые лужи.

Город назывался Юрьев Польский. Город старинный и красиво расположенный, но забытый Богом, начальством и коммунальными службами. Гостиница была ужасна. Швейцер и Соня Милькина, его жена и сорежиссер, вместе со штабом съемочной группы вынуждены были поселиться в этом отеле с «удобствами» на другом этаже. А нас — артистов — распределили на постой в частные домики на соседних улицах. Жить нам предстояло в Юрьеве Польском месяца полтора-два.

Я абониrowал апартамент из одной маленькой комнаты в деревянном домишке. Хозяйина звали Кузьмич, и был он сильно пожилым и сильно бедным человеком.

Небольшое отступление на тему бедности. Бедными были мы все. Не одинаково, чуть по-разному, но все мои знакомые (актеры, режиссеры, художники, врачи...) были бедные. Это нас абсолютно не беспокоило. Беспокоило отсутствие денег на текущий момент. А если такие деньги были, то все в порядке. Я думаю, наш «Золотой теленок» получился такой хорошей картиной — а это фильм **ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ**, жизнь подтвердила, — что снимался он, с точки зрения бедных людей, которые не ощущали своей бедности. Замечаю, что нынешних поклонников романа интересует, как человек из ничего **СДЕЛАЛ МИЛЛИОН**. А нам было интересно, как человек решил сделать миллион, **НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО**. Вроде бы то же, но акценты разные.

Итак, мы были бедными людьми. Хотите личный пример? Пожалуйста. К съемкам «Золотого теленка» я уже достиг достаточной известности, а потому **ВЫСШЕЙ** ставки — сорок рублей за съемочный день плюс еще надбавки. И этих съемочных дней у меня было сто. Снимали картину два года. Вот я и получил за роль Бендера четыре тысячи рублей. Об автомобиле и мечтать было нечего. И параллельно был я ведущим артистом выдающегося театра. И все равно купить себе машину я не мог. Как же я умудрился через шесть лет все-таки заполучить в собственность «Жигули» ВАЗ 2101 — это отдельный рассказ и к моим ролям в кино отношения не имеет.

Но вернемся в Юрьев Польский лета 67-го года. В этом городке мы выглядели и сами себе казались богатыми на фоне совсем уже бедной окружающей нас жизни. С Леней Куравлевым, игравшим Шуру Балаганова, забрели мы как-то в местный краеведческий музей. В нескольких комнатах печально ютились немногочисленные экспонаты. Под надписью «Звери нашего края» стояла силь-

но тронутая молью троица — волк, лиса и заяц. Чучела скорбно глядели на нас пуговичными глазами. Худенькая гостеприимная хранительница провела нас в комнату живописи. Потемневший портрет висел на почетном месте. Прочли подпись: «НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО. XIX век (?)».

Посмеялись. Хотелось плакать.

Хозяин Кузьмич был беднее меня. Я чувствовал себя баринком и, как барин, раза три в неделю покупал «маленькую» водки и приличные пирожки с капустой в колхозной столовой деревни Сима. Приглашал Кузьмича вечером выпить-закусить. Вечеряли. Квакали лягушки. Кузьмич рассказывал:

«Жизнь сейчас вообще нормальная. Жить можно. Но люди... ох, если тебе, Юрьич, порассказать, чего тут бывало... Это страшное дело... Вот Василий Егорыч, который, бывает, заходит, видал его, это он меня спас. Если бы не он, меня бы уж, наверно, двадцать пять лет как убили бы... Знаешь, война началась, мобилизация там, сынов взяли, сестры мужа, ну ясно... А я по возрасту и по зрению не гожусь. Ага. Ну немец прет. Ага. Райком всех партийных собирает, так? А мы с Василием Егорычем оба партийные. Говорят, надо ополчение создавать из добровольцев. Сидим в детской школе, за партами. Говорят: пишите заявление на добровольцев, надо всем беспартийным пример подать. Ну один говорит: у меня детей четверо, жена совсем больная, и сам я по туберкулезу не подхожу, по легким, как я пойду, а они как? Ну тут многие загудели. Да я тоже — дом на мне, братьев забрали, отец старый обезножил, только сидеть может, куда я уйду? Вот... А секретарь говорит: запираю вас в классе на один час. Через час приду собирать заявления. Смотрите. Листочки нам роздали, ручки с перьями и заперли.

Сидим. Мужики говорят: ну как я пойду на смерть, что ли, дом оставлять? Думаем. Я все макаю перышко в чернильницу, а не пишу. Не знаю, как быть. Тут мне Василий Егорыч говорит: пиши, хочу добровольцем. Я говорю: как же хочу, когда не могу я хотеть? А он шепчет: пиши, хочу добровольцем. И сам тоже пишет. Ну я взял и написал. А другие — нет. Не можем, говорят, и не по закону, потому нет кормильца у семьи.

Вот... Пришел секретарь, собрал бумажки, говорит — идите, вам сообщат. И сообщили. Нас четверых, которые согласились, оставили тут, в тылу и должности дали как идейно надежным. А кто отказался, их всех записали добровольцами и в ополчение. Они все полегли. Там двое только живыми остались, но они уж теперь померли.

Так что я Василию Егорычу теперь по гроб жизни обязан — объяснил, что все надо добровольно делать».

Выпили. Кузьмич продолжал:

«Я ведь сам из Кольчугино. Тут-то я уж после оказался. А так — из Кольчугино. Отец мой там на металлургическом заводе с малых лет был. Это громадный завод был до революции еще. Ох, махина! Хозяин был у них хороший. Клуб построил. Спектакли играли, вот, как вы, артисты были свои. Культурно. И платили хорошо. Правда, и работали... от ночи до ночи. Но ведь и праздники бывали. Пасха, там, Троицын день, Рождество... чего еще... Это как закон — премию дадут, и гуляй. Гуляли... ух! Сильно. Отец мой не сильно был пьющий, он и в клуб ходил, а другие, конечно, сам знаешь. Но вот, говорят, в праздник пьяного никто не тронет. Наоборот, городской подымет, который валяется, домой отведет. Культурно. У нас в Кольчугино было как надо. А вот ивановские, ткачи эти, нет, с ними не дотолкуешься. Правда, ярославские еще хуже. Мы с ними всегда драться ходили. Ох, Юрьич, я тебе скажу, ярославские люди — это хуже евреев,

ей-богу. Грубые, хитрые. А в Кольчугино жизнь была настоящая. Все довольны были».

«Слушайте, Кузьмич,— сказал я.— Очень интересно то, что вы рассказываете. Но вы мне объясните: если так хорошо жилось, откуда же взялась эта революция? Мы же учили — были стачки, были забастовки, листовки. Выдумки это, что ли? Революция все-таки почему-то случилась?»

Кузьмич взвыл: «Да это все в Иваново! Все из-за них! Если б не они, ничего бы и не было!»

И опять выпили под пирожок.

Много лет прошло с тех пор. А на Кузьмича, если захотите, можно взглянуть. Я позвал его, и он записался сниматься в массовых сценах нашего фильма. Я его представил Швейцера и Соне. Ему даже дали солидный выход. Если будете смотреть «Золотого теленка», обратите внимание — первое появление в фильме Зиновия Гердта — Паниковского. Идет Паниковский, прихрамывая и почесываясь, по городу Арбатову (то есть Юрьеву Польскому), собираясь представиться сыном лейтенанта Шмидта. Навстречу ему идет местный мужик с пустым ведром — плохая примета. Гердт в сердцах плюет в это ведро. Так вот, мужик с ведром и есть мой Кузьмич.

Интересно, как там теперь в Кольчугино при капитализме?

ДИВЕРТИСМЕНТ

Уроки аристократизма

Мы были в Англии. Сперва один день в Париже, а потом двадцать один день в Лондоне. Париж нам обломился, потому что в Лондон прямого самолета не было из Москвы. Представляете, как давно это было? Очень давно. В 66-м году, в мае. Большой Драматический театр из Ленинграда показывал на сцене лондонского Олд Вич театра две своих постановки: «Идиот» Достоевского и «Я, бабушка, Илико и Илларион» Думбадзе и Лордкипанидзе.

Рассел-отель на Рассел-сквер — это самый центр Лондона. Там мы жили. Мы не получали гонораров. Мы получали суточные — три фунта четырнадцать шиллингов в день. Это было много (для нас!). Билет в дорогой кинотеатр на премьеру «Доктора Живаго» стоил десять шиллингов, ботинки можно было исхитриться купить за фунт. Национальная галерея и Британский музей — бесплатно. Завтрак в отеле был роскошный — из четырех блюд. На обеде сэкономили. Ужинали в недорогих ресторанчиках. А водка и легкая закуска на ночь — все свое, в номере.

А еще иногда бывали приемы. Классные! Наш театр принимали на высоком уровне. Были даже званы всей труппой в Уайт-холл. Сами понимаете, это уже уровень правительственный — с мажордомом в белых чулках, выкликающим фамилию каждого входящего в зал. Мы и королеву видели. Ей-богу! Я сидел в десяти метрах от нее в Виндзоре. Финальный матч на кубок по конному поло. Играли Англия с Индией. Муж королевы участвовал в игре. А она смотрела — такова традиция. День был холодный. У Ее Величества мерзли руки, хотя была она в перчатках. Это было заметно. Народа на трибунах было совсем мало. Но мы сидели всей труппой, как кролики. Тоже мерзли — не рассчитали с одеждой, но счастливы были без всякой меры. Мы ведь еще застали ТЕ, СТАРЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ДЕНЬГИ! Я держал в руках гинею и знаю, что в ней двадцать один шиллинг в отличие от фунта, в котором их двадцать. Был флорин. И в шиллинге было двенадцать пенсов, и

это тоже были деньги. Через год деньги эти отменили и перешли на скучный десятичный счет. Но мы-то застали! Успели.

К делу! Хозяином нашим и продюсером гастролей был мистер Грегори. Он был настоящим мистером, а хотел стать сэром, и в этом смысле надеялся на резонанс от наших гастролей. Затеять и провести объемную культурную акцию с драматическим театром из неведомого и опасного Советского Союза — такое должно быть оценено введением в рыцарское достоинство, не меньше. Как мы увидели, мистер Грегори был женат на очень красивой женщине. Как говорили, миссис Грегори была не только очень красива, но и очень богата. Мы в этом убедились, когда верхушка театра и исполнители главных ролей были однажды вечером званы к ним в дом на ужин.

Славно побывать в настоящем английском доме, особенно нам, уроженцам коммунальных квартир. Многому можно научиться. Если у меня когда-нибудь образуется такое жилье — в два с половиной этажа с обжитым подвалом, где, кроме всяких подсобок, бильярд, гимнастический зал и пр., непременно устрою все так, как видел у мистера Грегори. Только так! Разумно, удобно и красиво.

И слуга — официант — у него оказался очень правильный. Так все у него получалось ловко и доброжелательно. Оказалось, профессиональный актер, в настоящее время безработный. Вот занимается смежной профессией и надеется на осенний ангажемент. Мы вежливо удивлялись легким гримасам капитализма. Наше гордое ремесло в те годы еще не предполагало подобных странных совмещений.

Итак, мы питались, выпивали виски-джины и по всем линиям старались не ударить лицом в грязь. Мадам хозяйка была обворожительна. Мистер Грегори был весел и демократичен.

В какой-то момент он подхватил меня под руку и повел по широкой полукруглой лестнице наверх. В руках у нас были бокалы с джином. Не имея определенного языка для общения, мы обменивались междометиями. Мы вошли в верхний кабинет мистера Грегори. На стенах висели красивые картины. Ночной лондонский пейзаж в окне тоже напоминал красивую картину. Мы расположились в очень удобных креслах. Я выразился в том смысле, что все это «вери бьютифул», и отхлебнул из своего бокала. Над письменным столом висели фотографии с дарственными надписями. Я узнал Лоуренса Оливье, Доротти Тьютин, Пола Скофилда... (Бог мой!) Алека Гиннеса. И вдруг...

(Я почувствовал, как кровь жарко пульсирует в висках.) И вдруг... в центре иконостаса я увидел... себя. Я утер пот, обильно выступивший на лбу и на шее, и уставился на мистера Грегори. А мистер Грегори легко поднялся с кресла и заговорил на английском (как сами понимаете) языке. Он сказал (насколько я мог догадаться) добрые слова о каждом из своих великих друзей. При этом он указывал то на одну, то на другую фотографию. Потом он показал на мою фотографию (хочу подчеркнуть — она была в рамке!) и сказал самые лестные слова о ролях, которые я играл, — Илико в грузинской пьесе и Фердыщенко в «Идиоте». Слова «Илико» и «Фердыщенко» я разобрал в его речи, остальное предположил. Ну в самом деле не стал бы он говорить, что, дескать, слабовато изволили играть, и при этом любовался моей фотографией.

Мистер Грегори снял со стены мой портрет, вынул фотографию из рамки, протянул мне вместе с фломастером и дал понять, что просит что-нибудь написать на память. Я сделал это. Я был потрясен! Потрясен и отчасти озадачен. Чего скромничать, я думаю, что хорошо играл Илико. Я обожал эту роль. Пожалуй, я прилично ввелся и в эпизодическую роль Фердыщенко. Но чтобы выде-

лить меня ИЗ ВСЕХ?! А Смоктуновский?! А Доронина?! А Копелян?! А Стрельчик?! А Татосов?! А вообще все остальные, кто в данный момент гуляет там, на первом этаже?! Но факт есть факт — в личном иконостасе мистера Грегори ИЗ НАШИХ только мой портрет нашел свое место.

Мы пожали друг другу руки, чокнулись, допили наш джин и спустились к гостям. Я чувствовал, что взошел на какую-то вершину и что за спиной у меня надежные крылья. «Оказывается, и в Европе можно найти понимание», — мелькнуло в голове. Подошел официант и спросил, чего я хочу. Я сказал: «Чистый виски. Двойной».

Лондон вспоминался как блаженный сон. Жизнь побежала дальше. Я никому и никогда (никогда!) не рассказывал о том, в какой компании висит мой портрет в одном замечательном лондонском доме. И прошли годы.

Однажды приехали знакомые из советского посольства в Великобритании. Встречались небольшой группой. Выпивали, вспоминали. Стрельчик расспрашивал, как там мистер Грегори: здоров ли, стал ли он сэром? Приехавшие рассказывали. И Владик рассказывал, что очень хорошо и очень лично сблизился с нашим бывшим продюсером. Оказывается, мистер Грегори абсолютно высшим баллом оценил исполнение Стрельчиком роли Гани Иволгина в «Идиоте». Он даже захотел иметь фотографию Владика в своей коллекции. Я насторожил уши. Но в разговор не вступил. А потом еще выпили и перешли к другим темам.

Читаю как-то в журнале большое интервью со Смоктуновским. Въедливый интервьюер достает воспоминания с самых дальних полок памяти артиста. «А как Европа к вам отнеслась? А как вы ощутили, что вас понимают? А когда в первый раз вы почувствовали, что...»

И вот Иннокентий Михайлович среди разных живых зарисовок и эпизодов рассказывает: играли «Идиота» в Лондоне. Публика ломилась на русский театр, и успех был большой. Но что интересно, помимо прессы и прочего, есть еще частные, личные реакции людей. Продюсер давал прием театру у себя дома. И вот по ходу приема поднялись они вдвоем в личный кабинет хозяина. И там над столом среди фотографий самых прославленных английских актеров видит он свой портрет в рамке (это важно отметить — в рамке!) и просит подписать фотографию на память. Это ведь человек не для публики делает, а только для себя, что особенно ценно.

Совсем недавно вспоминали мы былые дни с Володей Татосовым... Володя рассказал, что тогда в Лондоне...

Мистер (ныне СЭР) Грегори был тогда великолепен. Совершенно искренне — он более чем достоин рыцарского звания.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГАЛСТУКА

Памяти Миядзавы-сан

Он должен был приехать 31 мая. Каждый раз меня поражала и слегка смешила эта фантастическая распланированность жизни у японцев. Он позвонил мне сразу после Нового года и сказал, что прилетит утром 31-го — надо будет обсудить осенний концерт.

Помню, что при первом знакомстве я тоже был огорошен странным для меня отношением к будущему, которое проявил художавый, очень хорошо, но очень медленно говоривший по-русски японец. Долго беззвучно пожевав губами и не глядя мне в глаза, он произнес: «Согласны ли вы (пауза) поставить с артисткой Комаки Курихарой и (пауза) другими японскими артистами (пауза) пьесу Алешина (пауза) “Тема с вариациями” в Токио? (Пауза.) Премьера состоится

в театре «Хаюдза» десятого февраля (пауза) тысяча девятьсот (пауза) восемьдесят шестого года».

Разговор происходил в Москве осенью 83-го года. Я тогда был невыездным, о чем и сообщил господину Миядзаве. Он ответил, что знает об этом и отчасти именно поэтому делает мне предложение.

Я согласился. Я абсолютно не верил в реальность затеи, но устное согласие меня ни к чему не обязывало. Кроме того — через три года! Да что там будет еще через три года!

А через три года 10 февраля в Токио в театре «Хаюдза» состоялась премьера спектакля «Тема с вариациями» с участием Комаки Курихары и других японских актеров. Мы отмечали праздник в маленьком ресторанчике в районе Роппонги вместе с драматургом Алешиным и переводчиком пьесы Шунитши Миядзавой.

Все-таки мы очень разные. Имя произнести — и то проблема. Шунитши, или скорее — Сунитши, нет, Сунити... или даже Шунитши. Я никогда не звал его по имени. Звал, как звали его все в Москве и в Японии — Миядзава-сан.

Миядзава-сан любил Россию. Русский язык был не только его профессией, но и страстью. Вот слово, которое, кажется, никак не соответствует этой странной натуре. Неподвижность, застывшость его худого тела — основная позиция. Лицо без мимики, внезапно резко меняющееся, как будто другую маску надели, искривленное и смягченное улыбкой, беззвучным смехом. Повторяю: у этого человека была страсть. И предметом этой страсти была Россия. Когда-то он работал в Москве в издательстве «Прогресс». Потом в Токио в компании с друзьями создал издательство «Гундзося». Издавал и редактировал журнал «Советская литература». Много переводил сам. Инициировал постановку в Японии пьес Александра Гельмана. Летал в Иркутск: два иркутянина стали его долгим увлечением — Александр Вампилов и Валентин Распутин. Переводил, издавал. Влюбился в искусство Анатолия Эфроса и проникся сочувствием к сложностям его жизни. Преодолевал все официальные препоны и сделал возможным его постановку с Комаки в главной роли в Токио. Вот некоторые анкетные факты, все то, что я знаю. Но эти знания не создают живую картинку перед моим внутренним зрением. Вижу я совсем другое.

Он был спрятан. Мы были знакомы более пятнадцати лет. Смею надеяться и потому смею сказать: мы были дружны. Но странной была эта дружба. Он был инициатором и администратором всех моих поездок в Японию. Он был моим антрепренером и переводчиком. Известное устоявшееся парное сочетание — творец и продюсер. Ну всем же известно, что творец переменчив в настроениях, живет по воле внутреннего ритма, не склонен к дисциплине, потому что зависит от «вдохновения», капризен и тому подобное. Продюсер же обладает железной волей, подает пример точности в отличие от творца, погруженного в процесс создания, более всего заинтересован в результате и так далее. С Миядзавой получалось наоборот.

Это он исчезал внезапно, и иногда надолго. Его нельзя было найти нигде. Потом вдруг звонил по телефону и сообщал, что плохо себя чувствовал и потому много дней ничего не ел, а только пил водку. Он мог, приехав в Москву, сказать: «Меня нашла такая-то (общая наша знакомая) и просила передать вам письмо (пауза), но я его потерял (пауза), это не имеет значения, потому что она и на словах передала мне это сообщение (пауза) для вас (пауза), но я забыл, про что она говорила».

При этом — я повторяю — все его фантастические подчас затеи осуществлялись. Ведь поставил же я, русский режиссер, с японскими актерами ИБСЕНА!

Ведь состоялся же в довольно большом токийском зале «АВС» мой пушкинский концерт.

Он мог через знакомых передать, что приедет проводить меня в аэропорт. Я знал, что у него в это время были тяжелейшие домашние обстоятельства и сам он был серьезно болен. Я не мог его разыскать и опять же через знакомых уговаривал его не приезжать, проститься по телефону. Поездка из Токио в аэропорт Нарита — это тяжелое путешествие. Туда и обратно полдня — не меньше. На машине еще дольше — трафик. Ехать надо поездом. Все договорено: нас с Наташей проводят до вокзала, и мы доедем сами. А ему до нашего отеля от его дома добираться еще около двух часов. Умоляю — говорил я знакомым — уговорите Миядзаву-сан, что провожать нас не надо. Такая жара, и такие ливни... а он болен. Знакомые пожимали плечами — уговорить Миядзаву-сан нельзя. Захочет — приедет.

Он приехал. В поезде мы почти все время молчали. Он был в своих мыслях и в своих бедах. Я сфотографировал его на фоне окна и проносящегося за окном пейзажа. Простились у пограничного контроля, и это в последний раз я видел его. Он опять исчез. Приезжал в Москву. Назначал свидания, но не приходил. Звонил из Токио.

Последний раз в январе звонил. Сказал, что прилетит 31-го. Утром. Но больше я его не видел.

Миядзава не носил галстук. Никогда. И весь круг его товарищей, коллег, сотрудников не носил галстуки. Я тоже галстук не ношу. Но по торжественным случаям в жизни и на сцене надеваю «бабочку». Все официальные люди в Японии обязательно носят галстук. Если попадешь под конец рабочего дня в район Синдзюку возле гигантского вокзала городской надземки, кажется, что движутся миллионы галстуков. Зонты и галстуки делают людей похожими друг на друга. И еще динамика походки. Все активно движется в разных направлениях, но к одной цели — от работы к «неработе». Миядзава по ритму, по цвету костюма (скорее по отсутствию цвета), по отсутствию галстука и зонтика выламывался из несметной толпы. Толпа куда-то рвалась и чего-то хотела. Человек без галстука никуда не рвался и, казалось, прислушивался к чему-то внутри себя. Казалось, он еще не решил, куда двигаться. Он оставлял за собой СВОБОДУ избрать любое направление.

Давно (теперь уже давно) — в середине восьмидесятых — он познакомил меня со старым русистом профессором Нодзакки. Мы ужинали в ресторане на вершине одного из токийских небоскребов. Я был абсолютным новичком в мире капитализма. Я восхищался зданием, отделкой интерьера, обслуживанием, петербургским произношением профессора Нодзакки, видом из окна, тем, что виски в заказанной бутылке можно не допить, на ней напишут твою фамилию и сохранят остаток до следующего визита. Мы спустились в скоростном лифте с пятьдесят какого-то этажа, простились с профессором и пошли пешком, вдыхая ароматы близкого парка и близкой весны. Я продолжал восхищаться. Миядзава сказал: «Я ненавижу Японию». — И замолчал надолго.

Гораздо позже, побывав в Японии еще и еще раз, я понял смысл тогдашнего поразившего меня разговора. Я узнал ближе его друга — режиссера Хаякаву, узнал руководителя театра и актера Ямаду. Дважды я работал с выдающимся актером Мидзухо Судзуки — тоже из людей его круга. И я начал понимать — они социалисты. Они живут в строгой стране, где есть, однако, гарантированные законом свободы. Но они — Миядзава и люди его круга — ищут земную трою-

цу, раз и навсегда сформулированную Великой французской революцией: Свобода, Равенство и Братство. Во имя Равенства и Братства за гроши, а порой и бесплатно работают они в своих театрах и издательствах. Равенство и Братство мерещились им в глубинных пластах устройства советской жизни. Отсюда любовь к нашей драматургии, к нашей прозе, к нашим песням.

Миядзава любил Японию. Любил сильно и трагично. Он любил бедный послевоенный Токио. Любил молодые надежды своего поколения. Путь еще не был выбран. Японское чудо технического взлета еще не началось. Еще не было этой безумной динамики жизни, этих бесконечных галстуков, этажей, электроники, подражания, рекламы, скоростей, очень больших зарплат и недостижимой дороговизны жизни. В театре «Дора» («Гонг») мы вместе смотрели спектакль «Икебукуро — Монпарнас» — о том послевоенном времени, когда был выбор чему расти: духу или технике. Выиграла техника.

Еще Миядзава любил свою жену. Ее звали Мичико. Она стала моей переводчицей при первой постановке в Токио. Мы работали так, как работают в Японии, то есть много. Ежедневно и по многу часов. В перерывах ходили в закусовые, в дешевые ресторанчики, разговаривали. Изредка совершали прогулки. Пару раз были в театре. Миядзава обещал присоединиться к нам, вместе глядеть и объяснять мне театр «Но». Но... исчезал, не являлся. Мичико говорила, что заменить его не сможет, что Миядзава рассказал бы все лучше. Она была скромной и, как и он, очень закрытой. За ней стояла тайна. Детей у них не было.

Когда она умерла, Миядзава надолго выпал из жизни и из всякого общения. Он всегда был очень худым, но от этой худобы горе отняло еще половину. Он стал почти бестелесен. Тонкие, тонкие смуглые руки. Много морщин прибавилось. Я так и не смог угадать его возраста. Примерно мой ровесник. Или постарше. Или сильно младше? Иногда (редко) он молодец прямо на глазах. Иногда выглядел глубоким стариком. Нет, все-таки постарше — после войны он был уже взрослым.

У Миядзавы живы родители. Оба — отец и мать. Обоим под сто. Живут отдельно от него. Но видятся часто. Весной девяносто восьмого, во время цветения сакуры, он ездил к ним каждое утро на рассвете. Часов в пять. Сажал в машину и вез на открытое место на холме. Вместе встречали солнце. Каждый день. К вечеру клонило в сон, и он почти не появлялся в театре и в компаниях. Мы виделись мало, хотя я почти два месяца работал в Токио. Однажды он заехал за мной и повез на собрание русского кружка.

Собрание узкое — на квартире одной из переводчиц. Я почти всех знал. Миядзава, как всегда, занимал не председательскую, а «угловую» позицию. Однако его первенство и авторитет были очевидны. Он рассказал среди прочего, что создал «Платоновское японское общество». Они решили перевести и издать полного Андрея Платонова — пять томов! По-русски такого издания еще нет. Я спросил, надеются ли они на большой читательский интерес. Он сказал: «Не надеемся». «А на малый?» — спросил я. «Ни на какой», — сказал он. «А зачем же тогда...» — начал я, но продолжать не стал. Любой, кто знал Миядзаву, поймет меня. Для него понятия ИСТИНА и ВЫГОДА не совпадали ни в одной точке.

В год пушкинского юбилея Миядзава и его коллеги пригласили меня дать концерт в Токио. Был июнь 99-го. Миядзава приехал в аэропорт на своей новой машине. Удивил он меня. Машина была какая-то невиданная. По форме, по цвету и по внутреннему оборудованию. Салон был напичкан электроникой, как головы играющих в «Что? Где? Когда?» ненужными знаниями. Я был поражен. Но, кажется, поражен был и сам Миядзава. Он не привык еще к новому своему

детищу. Пальцы медленно блуждали между кнопками и клапанами. «Куда мы едем?» — спросил я. Миядзава, как всегда, говорил загадками. На дороге были страшные пробки. Только через пару часов выбрались на боковое шоссе и тронулись в сторону от города. «Куда едем?» — снова спросил я. Мы с Наташей были в дороге уже пятнадцать часов и пересекли пять часовых поясов. Миядзава достал маленькую кассету и сунул ее в мини-телеаппарат. На экранчике появилась крупномасштабная карта, и женский голос произнес по-японски короткую фразу.

«Я сам не знаю, куда мы едем, она сейчас скажет», — произнес Миядзава. Он вступил в диалог с машиной. Что-то спрашивал и нажимал на кнопку. Машина отвечала приятным девичьим голосом. Миядзава спрашивал одно и то же, и невидимая девушка отвечала одно и то же. Во всяком случае, мне показалось, что они повторяют одни и те же слова.

«Что происходит, Мори-сан?» — спросил я сидевшего рядом коллегу Миядзавы.

«Это такая программа — говорит, куда ехать. Миядзава-сан хочет отвезти вас в отель, в горы. В другую префектуру».

«А почему они повторяют одно и то же?»

Мори-сан смущенно похихикал и шепнул: «Миядзава-сан спрашивает, где туалет». — «А она и это должна знать?» — «Она не знает. Она говорит: у вас сейчас левый поворот». — «А про туалет?» — «Она говорит: сформулируйте точнее вопрос», — хихикнул Мори-сан.

Мне уже случалось видеть автомобиль с телегидом на экранчике. Но что-бы всеведущая кассета говорила человеческим голосом и вступала в пререкания?! Ну на то и Япония. Миядзава и девица стали раздражаться и заговорили на повышенных тонах (в японском, разумеется, варианте, то есть оба стали говорить чуть тише и медленнее!). Сошлись на придорожном супермаркете, где должен быть туалет. Мори-сан оставил нас и умчался на такси по своим делам, а мы на чудо-машине тронулись дальше, в горы дальней префектуры.

Периодически припускал дождь. «Дворники» с трудом справлялись с жирной пленкой воды. Машина блуждала по узким дорожкам какой-то деревни. Девичий голос требовал от нас взять то направо, то налево.

«А-а-а! Ничего она не знает!» — сказал Миядзава и выключил телевизор.

Под потоками ливня прямо перед нами вдруг возник человек. В левой руке он держал зонтик, а правой делал ласковые заманивающие движения. Миядзава-сан вздохнул облегченно. Лицо его скривилось в улыбке, выражающей тайную радость. Чудо-машина втиснулась в узкую щель, которая, казалось, была на полметра уже машины.

Где мы? Зачем мы здесь? Почему? Как всегда с Миядзавой, тайна окружала его намерения и действия. Мы оказались в странном одноэтажном доме с высокой антресолюю. Мы сняли обувь и поднялись на возвышение с лакированным деревянным полом. На полу несколько татами. Низкая японская мебель. Все очень аскетично. Много пустого пространства. Похоже на декорацию. В самой середине просторного помещения очаг. Пара бамбуковых этажерок с книгами. Вглядываюсь с изумлением — «Новый мир» за 68-й год... Юрий Трифонов...

Друг Миядзавы построил этот дом недавно по собственному проекту. Они с женой покинули Токио и поселились тут окончательно год назад. В давние годы он был корреспондентом газеты «Асахи» в Советском Союзе. Долго жил в Москве, мы даже были немного знакомы. Теперь они сельские жители.

«А почему уехали из Токио?» — «Там дорого». — «Но такой дом построить тоже немало денег надо?...» — «Да-а, тоже дорого». — «Здесь, в деревне, все до-

ма такие?» — «Нет, но некоторые похожи. Я люблю старые японские ремесла, а здесь хорошие мастера. Все, что в этом доме, — ручная работа». — «Не скучаете?» — «Не-ет, некогда. Много книг надо прочитать, и хозяйство...» — «С “Асахи” связь сохранилась? Пишете для них?» — «Редко. Иногда. Пишу книгу, тоже про ремесла. Но медленно». — «А с кем общаетесь здесь?» — «О, знакомых много! Сюда уехали художники, учителя, переводчики... Они и здесь, и в соседних деревнях». — «На дачах или постоянно живут». — «Постоянно, постоянно. Похоже на ваше “Переделкино”. Только здесь нет Дома творчества. И все занимаются ремеслами». — «А вы сами?..» — «Я приручил двух диких козлят, сейчас пойдем посмотрим на них. А жена делает валенки. (???) Покажи Наташе-сан и Юрский-сан валенки».

Валенки были великолепны. Разных, очень нежных цветов, низенькие — чуть выше щиколотки. Необыкновенные валенки. И козлята необыкновенные. Дождь все лил. «Спасибо, — сказал хозяин дома, прощаясь с нами у машины. — Мы очень рады, что вы приехали. Мы очень благодарны, что Миядзава-сан придумал эту поездку. Мы любим, когда он приезжает к нам. Мы еще повидаемся. Увидите кое-кого из наших людей».

Миядзава почти все время молчал. Теперь он вдруг произнес задумчиво: «Сергей Юрьевич, вы не привезли водки из Москвы?»

Я почувствовал резкий укол в области солнечного сплетения. Собирались в дорогу торопливо. Покупали какие-то ненужные приблизительные сувениры. Водку на этот раз я не взял сознательно. После смерти Мичико Миядзава был в многомесячном, тяжелом запое. Это была болезнь, из которой только теперь он медленно выходил. Я знал об этом и счел бестактным звенеть традиционными бутылками. И вот теперь этот прямой вопрос.

«Где у вас продают спиртное?» — спросил я хозяина дома.

«Это не здесь... в соседней деревне есть магазин...»

«Нет, я не хочу виски, — сказал Миядзава. — Я хотел московской водки».

«Я тебе говорила», — сказала Наташа. И правда, она говорила. А я не слушал.

«Будет московская водка», — твердо сказал я.

В Токио я не раз покупал в маленьких магазинчиках и «Московскую», и «Столичную», вполне кондиционного качества.

Хозяин дома сел в свою машину и поехал впереди нас. Дождь не утихал. Мы долго петляли по узким дорожкам среди холмов и редких домиков. Магазин был похож на сарай. Электричество почему-то не горело. Тусклый свет из окна освещал сотни полторы разных бутылок на полках. Проклиная себя, я искал и не находил того, что мне было нужно.

«Есть!» — сказал я, подходя к машине.

«Московская?» — спросил Миядзава.

«Вы давно в Москве не были, в Москве теперь пьют только “Смирновскую”», — сказал я и протянул ему 0,75 «Смирнофф».

Миядзава пожевал губами и молча положил бутылку в бардачок.

Полчаса спустя мы подъехали к роскошному отелю «Diamond». Массивные абстрактные композиции из камня в вестибюле. Много стекла, много света. Бесшумные служащие в униформе.

Мы с Наташей получили просторный номер с балконом, глядящим на лес. Сутки назад в Москве мы вышли из дома и только теперь могли перевести дыхание.

Миядзава исчез. Вместе с бутылкой. И обнаружился только к концу вторых суток. Мы с ним занялись делами будущего концерта. Я окончательно

но определил программу. Мы решили, что Миядзава будет выходить на сцену в паузах между связками номеров и не переводить меня, а давать самостоятельный комментарий. Внутренний сюжет концерта — вся русская литература за два века, включая самые яркие индивидуальности и самые модернистские изломы, — принадлежит эпохе, которую должно назвать Пушкинской.

Утром третьего дня мы уезжали в Токио. Снова лил дождь. И снова на дороге нам помахал рукой человек с зонтиком. Мы завернули в сельский ресторан.

Небольшой зал весь заполнен. Но стол для нас был заказан заранее. Кухня европейская — французская. Хозяин ресторана — бывший директор школы и учитель французского. Уйдя на пенсию, переселился в эти края и лет пять назад занялся ресторанным делом. Теперь его знают в округе. Приручитель козлят и мастерица валенок рассказывают о посетителях. Знают всех, и их все знают. Они оживлены, веселы. Самое удивительное, что почти весел Миядзава. Пожалуй, никогда не видел я его таким открытым, раскрепощенным. Вся мебель в ресторанном зале изготовлена бывшим историком искусств. Теперь он столяр и краснодеревщик. Вон он у окна — обедает с компанией. На стенах большие современные гобелены. Их автор — переселившийся сюда художник, целиком отдавшийся искусству гобелена. В соседнем городе у него сейчас выставка. Вот он, кстати, входит... можем познакомиться.

Миядзава среди своих. Он молчалив, как всегда в обществе, но я вижу — и тело, и душа его обретают здесь силы.

Лил дождь. Мы вырулили на основную магистраль и помчались в плотном потоке машин к столице. Знаете ощущение, когда, сидя в машине, проходишь в механической мойке туннель из вертящихся щеток и обвала пенной воды? Ласковая буря, которая, не касаясь тебя, обволакивает. Такое ощущение испытывали мы час за часом на пути из горной префектуры в Токио.

«Хорошие люди, — сказал Миядзава после долго молчания. И повторил: — Очень хорошие люди».

Концерт, кажется, получился. Полуторачасовое представление, в котором семьдесят процентов было на русском языке, японцы выдержали. Взявшись за руки, мы кланялись вместе с Миядзавой. За кулисами появились почти все участники поставленного мной год назад ибсеновского спектакля. Потасили в ресторан. Я искал Миядзаву, но его не было.

Тяжело заболела его старая мать. Оказывается, сегодня днем он положил ее в больницу и теперь, ночью, поехал проведать.

Миядзава исчез. Искал его по телефону и через знакомых. Потом он передал, что приедет провожать нас. Остальное я уже рассказал. Потом он позвонил в январе.

Я ждал встречи с ним 31 мая.

Умер он в конце февраля. Позвонили из Токио.

Я написал псалом и послал его факсом в Японию.

Мне сообщили, что текст перевели на японский язык и прочли над его гробом.

Вот этот текст:

«Друзья!

Когда вы будете прощаться с МИЯДЗАВОЙ-САН, хочу, чтобы вы знали, — здесь, в России, много людей переживают его кончину как личное горе.

Этот человек, никогда не носивший галстука,
 Этот человек, живший, преодолевая бесконечную усталость,
 Но успевший сделать так много, что кажется —

не под силу это одному человеку,
 Этот человек, смеявшийся над тем, над чем не смели смеяться другие,
 И делавший всерьез то, что другим казалось смешным,
 Этот человек, задумывающий невероятное

и умевший невероятное сделать реальностью,
 Этот человек, до собственной смерти сохранивший своих родителей,
 Каждое утро вывозивший их в парк встречать рассвет нового дня,
 Этот романтик с иронической улыбкой,
 Страдавший и от одиночества, и от обилия знакомств,
 Этот оригинальный ум,
 Это отзывчивое сердце — МИЯДЗАВА.

Я шлю ему мою благодарность за нашу дружбу,
 За неожиданности жизни, которые подарил он мне,
 За мою любовь к Японии, которая пришла через него.

В этот траурный день я думаю о нем,
 Я кланяюсь его светлой памяти, пробежавшей
 по холмам и оврагам моей жизни,
 Чтобы остаться недосыгаемой и незабвенной».

ДИВЕРТИСМЕНТ

Грузины

Вот как надо жить! Вот по каким улицам надо ходить! Вот как надо праздновать каждый день нашей мимолетной жизни! Вот как надо смотреть на женщин! Вот за какими столами надо сидеть! Вот сколько друзей надо иметь! Вот сколько надо иметь свободного времени! Вот город, в котором солнце ближе к тебе, чем в других городах, и кажется, счастье твое совсем где-то рядом, — ТБИЛИСИ!

Еще в детстве испытал я это впервые. Отец привез нас с мамой в Грузию в писательский Дом творчества «Сагурамо». Но сперва был ГОРОД — ТБИЛИСИ. Был 46-й год. Победа. Но голодная победа. В Москве у нас жизнь была стесненная во всех смыслах. А тут... боже ты мой, как нас принимали! Какая была еда! Какие удобные машины нас возили! Какой просторный номер был в гостинице «Тбилиси» на несравненном проспекте Руставели. Правда, отец в то время был большим начальником всесоюзного масштаба. Но ведь он и в Москве был этим самым начальником. Почему же там ничего не было, а здесь было все? Э-э, слушай! Зачем голову вопросами забивать?! Гуляем! Целый день кутить будем! Ночь тоже!

А в 60-м году были первые гастроли товстоноговского БДТ в Тбилиси. Целый месяц! И с громовым успехом. И мне было двадцать пять лет! Ах!

Были и другие гастроли, приезды. И еще, и еще...

Гостем вообще хорошо быть. В России тоже принять умеют. Такие обеды, переходящие в ужины, умеют закатывать! Но в Тбилиси-то начинают С ЗАВТРАКА! Прямо сразу с утра — вот в чем разница-то!

Ладно, это я шутки шучу. И шутки эти с горечью пополам. Потому что в последние мои приезды в Грузию — уже в отдельную от нас страну — видел я в гостинице, где жил, вперемешку с гостями годами живущих беженцев. Видел нищих стариков на все том же проспекте Руставели, чего раньше быть не могло. Видел глаза моих друзей, в которых пряталась небывалая раньше грусть. И многих уже не стало. Потому и хочется на короткое хоть время перенестись в прошлое, рас-

слышать навсегда полюбившиеся звуки кавказского оркестра и грузинское многоголосье и под этот аккомпанемент увидеть вдруг тех, кого нет теперь, и вспомнить... смешное. Обязательно смешное хочется вспомнить.

Додо Алексидзе был и главным режиссером, и председателем Грузинского театрального общества, и профессором, и депутатом, и членом множества множеств советов, комиссий и комитетов. Дмитрий Александрович источал доброту и дружелюбие. У него за спиной было достаточно успехов, побед и достижений. Теперь (так по крайней мере казалось) он блаженствовал в роли всеобщего благодетеля и руководителя. Он был зван всюду и был председателем и тамадой везде. Рядом с ним всегда находился его заместитель по Театральному обществу, актер Бадри Кобахидзе — высокий немолодой уже красавец. Эта пара — Алексидзе, похожий на пирующего князя с картины Пиромани, и Кобахидзе, похожий на английского лорда, — пара эта была восхитительна. Непрерывные пиры и банкеты в честь неиссякающей вереницы гостей делали Додо, можно сказать, несколько рассеянным. Просто не хватало времени углубляться в какие бы то ни было проблемы. Некоторая поверхностность искупалась прирожденной интуицией и глобальным обаянием.

Алексидзе в речах горячо призывал молодежь брать пример с мастеров — больше читать, овладевать секретами профессии, целиком отдавать себя театру.

В десять утра собрались на расширенный худсовет театра — обсуждать пьесу американского драматурга Гибсона «Сотворившая чудо». Собралась почти вся труппа — решали, принимать ли пьесу к постановке, кому ставить и кому играть. Додо Алексидзе взял слово, и все уважительно внимали ему.

Додо говорил, держа папку с пьесой в руках:

«Дорогие мои, когда я прочел эту пьесу, я с ума сошел — такой темперамент, такие характеры, такая сила в ней. И, конечно, особенно потрясла главная героиня. Это чудо! Как правильно называется эта пьеса — “Сотворившая чудо”! Именно так. Это превращение, оно должно восхищать нас».

«Дмитрий Александрович, вы говорите о самой девочке или об учительнице?» — спросили с места.

«Э-э, какая учительница! Сама девочка! Конечно, девочка. Когда она говорит, ее слова должны обжигать! Все ее монологи, любая реплика — это блестящий выпад».

«Додо, она же немая», — шепнул Бадри, сидящий рядом за столом президиума.

«Да, она немая! — подхватил Додо, изумленно поглядев на Бадри. — Именно потому что немая, так выразительна эта роль. Разве мы говорим только ртом? Глаза! Глаза могут сказать в сто раз больше! Она же все видит. Сказать не может, но она смотрит на этот мир и...»

«Додо, она слепая...» — проговорил Бадри.

Алексидзе втянул носом воздух, пожевал губами и продолжал на полтона выше:

«В этом все дело! Ползучий реализм надоел уже — болтают слова, а театр — это не слова, а страсть! Пусть она немая, слепая... пусть! Так придумал американский драматург. Говорят другие и пусть говорят... но она все слышит. И именно в этом...»

«Додо, она глухая...»

«Она глухая! — крикнул Алексидзе, посмотрел на папку в своей руке, а потом швырнул папку на стол. — Что за пьесу вы мне подсунули? Что такое — героиня слепая, глухая, немая! Как это может быть? С ума сошли?»

Как хохотал весь худсовет! И громче всех хохотал Додо Алексидзе.

Напомню, что в драме «Сотворившая чудо» женщина-врач ищет пути к сознанию слепоглухонеморожденной девушки и в результате находит с ней контакт.

Тамада! Спикер застолья! В Грузии тамада — это очень серьезно. Вообще-то каждый грузин — тамада. Но бывают признанные профессионалы. Об одном из таких этот рассказ.

Мой друг актер Гоги Харабадзе привел меня в компанию незнакомых людей, далеких от мира искусства. Но одна из особенностей Грузии в том, что ее житель, как бы далек ни был он от театра, литературы, живописи, ГРОМОГЛАСНО и ИСКРЕННО уважает и то, и другое, и третье.

Стол был богат. За столом сидели человек двадцать пять. Тамада поднимал тост за каждого. Пили до дна. До этого места все понятно? Пойдем дальше. Речь тамады — большое искусство. Некоторые думают, что тамада поздравляет с чем-нибудь «тостуемого» или просто льстит ему. Это не так! Это плохой тамада. Хороший тамада говорит ПРАВДУ о человеке, он всесторонне понимает его, но В ДАННЫЙ МОМЕНТ предлагает всем присутствующим увидеть ЛУЧШЕЕ в нем. Это должно ВДОХНОВЛЯТЬ и того, о ком говорят, и всех, кто поднимает за него бокалы. Тамада не имеет права ВРАТЬ!

Конечно, все старинные искусства (а искусство тамады — старинное) в новое время немного упростились, истерлись, лишились строгости, но... все же! Гости ОЧЕНЬ внимательно выслушивали каждый тост и с гулом одобрения поднимали бокалы. Тот, за кого пили, стоя выслушивал обращенную к нему речь. Застолье шло по-грузински. Гоги переводил мне.

Дошло до меня. Тамада перешел на русский язык, извинился, что плохо его знает, и начал речь. Он сказал, что давно мечтал посидеть со мной за одним столом, что он, конечно, знает, какие замечательные роли сыграл я, что он никогда не сможет забыть того впечатления, которое оставило в его душе мое страстное, полное силы и юмора искусство. Он сказал, что для него большая честь провозгласить тост за меня и поэтому... Тут он быстро произнес несколько слов по-грузински, Гоги что-то ответил тоже по-грузински, и тамада, повысив голос, проговорил здравицу. Я слушал стоя и из-за сильного его акцента не разобрал слов. А вот гости грохнули смехом, и я увидел, как громадный Гоги сползает от хохота под стол.

А произошло вот что: тамада понятия не имел, кто я такой, но не хотел этого показать, потому что другие гости знали меня по кино. Он, нарушая закон, наплел формальных комплиментов, но не знал даже моего имени. «Как зовут гостя?» — спросил быстро по-грузински. Гоги не мог сказать: «Сергей», — он выдал бы тамаду. Он нашелся. «Закариадзе», — сказал Гоги, имея в виду, что покойный великий артист звался Серго. Но наш тамада подумал о живом брате Серго, которого зовут Бухути. И он сказал мне: здравия тебе, наш любимый Бухути!

Эх! Ах! Тбилиси! С его теплом, вином, весельем, ляпами. Не забыть — было! Прямо из аэропорта в турецкую баню. Теплый камень лежанок. Большая бочка с горячей водой. И мы набиваемся в эту бочку шестеро — хозяева и гости. Мы отмокаем. Мы уже начинаем говорить, и такое блаженство, что это будет длиться долго, что нам много дней будет интересно друг с другом, что мы нужны друг другу, что мы вместе!

Вечная память тем, кто ушел! Дай Бог сохранить себя живущим друзьям из теплой страны Грузии!

КОНТАКТЫ ЗЕМНЫЕ И ВНЕЗЕМНЫЕ

«Ученые — это люди, удовлетворяющие собственное любопытство к загадкам природы за счет государства». (Кажется, Резерфорд, в разговоре.)

«Театр — чудесное учреждение. Если бы еще не спектакли и не репетиции, он был бы совершенством». (Актер Карнович-Валуа, в разговоре.)

Шутейный стиль общения считался хорошим тоном. И в научной среде, и в театральной всякое важничание, обида на шутку, отсутствие самоиронии были губительны. Ты ОБЯЗАН иметь юмор или должен ТЕРПЕТЬ юмор окружающих, если не хочешь быть отторгнутым сообществом коллег. Этим интеллектуалы и артисты отгораживали себя от власти, которая в XX веке была слишком серьезной и шуток с собой совершенно не терпела. Знаменитый спор «физиков» и «лириков» на самом деле был пустышкой. Это была игра, «заморочка» для улаживания начальства и собственного развлечения. На самом деле физики и лирики прекрасно уживались и очень любили совместные мероприятия. Но ведь для проведения мероприятия нужны средства, а средства (все!) были только у государства. Ну, значит, будем громко спорить, кто важнее, кто нужнее, а потом скажем государству: понимаете, хочется лучше узнать друг друга, найти какое-то морально-политическое единство, чтобы ученые актерам что-нибудь объяснили, а актеры ученым спели бы что-нибудь, что ли... О! Морально-политическое единство серьезное государство поощряло. «Давайте! — говорило государство. — Устройте что-нибудь совместное». «Так средства нужны», — кричали хитрые физики и лирики. «Ну на такое дело и средств не жалко, выделим! — говорило государство. — И даже своего представителя пришлем, чтобы вы там не передрались». «Да не беспокойтесь, — кричали физики и лирики, — не надо никакого представителя, мы хорошо будем себя вести, вы только средства выделите и больше ни о чем не думайте! Договорились? Лады?» «Ну тогда... лады!»

Научные ШКОЛЫ — ах, какая это была роскошь! Они устраивались в отдаленных (подальше от глаз начальства) местах. Высшего комфорта не требовалось, условия простые и демократичные, особые хоромы ни для кого не предусмотрены (потому власти туда и не стремились), еда простая, но на всем готовом, и дорога оплачена, и гостей можно пригласить по своему выбору, и... свобода! На пару недель — свобода!

Думаете, прагматичный мой читатель XXI века, от трудов свобода? Нет! В снежных лесах, или в диковатых горах весной, или на покрытых желтой листвой опустевших эстонских курортах и водку пили, и песни пели, и любили, все было, конечно, но не комсомольские это были сходки. Именно здесь в свободном общении рождались, а иногда и оттачивались серьезные идеи. Такие вспыхивали искры на этих ШКОЛАХ биологов, физиков, математиков. И лириков зазывали сюда. И настоящей радостью бывали эти недели, где царили мысль, вдохновение и юмор.

Весенней порой были мы званы на ШКОЛУ биофака университета в армянские горы недалеко от города Дилижана. Группу «лириков» составлял квартет — Натан Эйдельман, Фазиль Искандер, Юлий Ким и я. Каждый из нас должен был занять аудиторию на один вечер после ужина со свободной программой. Были и приглашенные из дружественных областей науки, они читали более или менее доступные пониманию лекции. Вход везде был свободный, зал всегда был полон. Среди гостей был один астроном — Витя Ш. Он так и представлялся при знакомстве: «Я Витя». А был он профессором, доктором наук,

весьма заметным ученым и еще членом специальной комиссии Академии наук по связи с внеземными цивилизациями. Именно про эти связи и собирался он прочитать лекцию.

Какое бы слово подобрать для определения нашей жизни на этой Весенней Школе Биологов? Пожалуй, надо сказать — ОСВЕЖАЮЩЕЕ было время. Горные ветры освежали голову, встречи и знакомства освежали мозги, армянские вина и крепчайший кофе освежали внутренности.

Юлик Ким пел свои очаровательные песенки. Искандер прочитал с листа несколько новых глав про Сандро из Чегема. А Эйдельман царил как на кафедре, так и на сцене, и в кулуарах.

С Натаном мы были знакомы давно. Особенно сблизились и сдружились на частых посиделках у Сергея Александровича Ермолинского и его жены Татьяны Александровны Луговской. Это московское гнездо дышало дворянским стилем и укладом жизни старой интеллигенции. Дух Михаила Булгакова витал здесь — Ермолинский дружил с ним, а после смерти Булгакова испытал и тюрьму, и ссылку за эту дружбу. Здесь собирался круг людей, искушенных в слове, говорить умеющих: Д. Данин, Л. Лиходеев, Н. Крымова, Н. Рязанцева, Л. Петрушевская, А. Хржановский, Б. Жутовский и, наконец, сами хозяева дома. Скажем прямо, я тоже в принципе человек говорящий, а не слушающий. Но в присутствии Эйдельмана редко кому удавалось открыть рот. Натан фонтанировал идеями, словами, цитатами и экскурсами в архивную историю. Так же весело и неостановимо покорял он ученые массы на той армянской Школе.

Всходить на горы — увлекательное занятие. Говорят! Не пробовал. В смысле — не пробовал всходить на настоящие снежные вершины. А просто на горы — пробовал. Действительно, здорово. Но совсем другое ощущение, и тоже прекрасное, — ЖИТЬ В ГОРАХ. Просыпаться в горах день за днем, идти по хребту горы и смотреть на овечье стадо внизу на склоне, сидеть на камне, нагретом солнцем, и, прикрыв глаза, чувствовать, как ветер шевелит волосы.

Так шли хорошие дни. Заканчивались они веселыми вечерами. Вот и я дал свой концерт и теперь был совсем свободен от обязанностей. В дневное время пришел я на лекцию Вити Ш. о внеземных цивилизациях. Для профессора был он молод, а выглядел еще моложе. Но не мальчиком гляделся, а сгустком свежей энергии. Очевидный семит, он в то же время не имел ничего общего с узкогрудым ученым-очкариком. Походка, жесты, речь, выражение глаз — все говорило о том, что доктор Витя Ш. ПЕРСПЕКТИВЕН И САМОДОСТАТОЧЕН.

Понравилось мне его вступление к лекции. Он сказал: «Я уложусь в сорок минут. Потом, если пожелаете, будет дискуссия. Будем экономить время. Я отвечаю на любые ПЕРВЫЕ вопросы. На ВТОРЫЕ не отвечаю».

Это значило — не надо переспрашивать и не надо требовать уточнений. Самому надо додумывать тезис. Меня поразила такая формулировка. Лекция была хороша, но мне малопонятна. Речь шла о содержании тех сигналов, которые следует посылать в Большой Космос, чтобы обозначить во Вселенной нас, землян. Что самое важное и самое краткое можно сказать о себе, чтобы ТЕ — ДРУГИЕ, которые АБСОЛЮТНО НЕИЗВЕСТНО КАКИЕ, услышав, поняли. Вставал вопрос: так есть какие-то хоть шансы на контакт или нет? Витя Ш. сказал: «Пока молчание».

Потом мы несколько раз встречались с ним, прогуливались вместе. Возвращалась эта будоражающая проблема: неужели мы **ВООБЩЕ ОДНИ** во Вселенной? Если так, то Бог есть. Он создал нас и все наше. А кто создал **ОСТАЛЬНОЕ**? Но, может быть, все-таки контакт будет, из Космоса придет ответ. Может, просто наш сигнал еще очень несовершенен? «Так вот над этим и работаем», — сказал Витя Ш.

А работал он в обсерватории в Зеленчуке на Северном Кавказе, там, где гигантский радиотелескоп.

Школа кончилась, и мы простились, обменявшись адресами. Витя, оказывается, любил театр и сказал, что очень хотел бы прочесть лекцию для актеров. Они, дескать, более других восприимчивы к новым идеям.

Прошло время, и Витя объявился в Москве. Повидались. Он побывал в театре. Всячески звал к себе — в Зеленчук.

Я говорю: «У нас этим летом гастроли в Ставрополе».

Он: «Так это же наши края! Приезжайте! От Ставрополя на Черкесск, оттуда на Нижний Архыс и немного наверх — Зеленчук. Мы машину за вами пришлем. Двести километров, и вы у нас. Дадите концерт сотрудникам».

Это было соблазнительно. Нашлись два свободных дня, и мы с моим другом и коллегой из театра Сережей Коковкиным тронулись степными дорогами в сторону Кавказа. Вроде близко, а мир совсем иной. Жилища другие, не похожие. Лица другие. А названия! Буквы наши, но прочтешь перед въездом в село — **ПСАУЧЬЕ ДАХЕ** — только ахнешь!

В Зеленчуке были новые знакомства, осмотр телескопа. Был концерт, и был скромный банкет с тостами и разговорами. Витя показался мне изменившимся. Стал нервным. Прятал глаза. Может быть, показалось. Было ощущение, что Витю глубоко и серьезно уважают тут и коллеги, и сотрудники. Опять говорили о внеземных цивилизациях. Я спросил: «Новости есть оттуда?» «Нет, — говорит. — Пока молчание. Но сейчас как раз я хочу опробовать одну идею. Может быть, это станет индикатором, указателем направления. Понимаете, я сделал некий расчет вероятностей. Если он верен, то ждать ответа **ОТТУДА** на наш сигнал нельзя. То есть если я ошибаюсь, то еще есть шанс, если я прав, то мир пуст. А я этого не хочу. Вот такой парадокс самоотрицания».

Собирались говорить всю ночь, но мы с Сережей очень устали с дороги. Клонило в сон. Витя заметил это и оставил нас. Спали, помню, в каком-то большом помещении, где наши раскладушки стояли ни к селу ни к городу.

Наутро Витя нас провожал до Нижнего Архыса. Заехали на радиотелескоп. Для меня «телескоп» — значит смотровая труба со стеклами. А тут! А тут громадное много-многометровое кольцо, нашпигованное чем-то непостижимым. Из него и идет сигнал **ТУДА**. Витя сказал, что содержимое сигнала за последнее время еще удалось уточнить. Сказал, что его проверочная идея, о которой он не успел ночью рассказать, многое может определить. Если идея подтвердится, то... нету! **ИХ НЕТУ!**

И опять прошло время. Отодвинулся назад Ставрополь. Начался новый сезон в театре. Завихрилась московская жизнь. Однажды позвонил незнакомый человек, спросил, помню ли я Витю Ш. Попросил о встрече. Пришел. Долго молчал, сидя напротив меня в актерском фойе. Потом сказал: «Витя повесился».

Ну, конечно же, я вскрикивал: «Как? Что? Почему? Когда?» Конечно, спрашивал: может, болезнь, может, несчастная любовь? Вроде нет. Неизвестно. А в научном плане, в карьере? Он же казался таким успешным.

Пришедший сказал: «Он и был успешным. Может быть, даже слишком. Он там в Президиум такую разработку послал, такую идею. Прямо-таки кардинальную в определенном смысле». — «А ответ был?» — «Был! Подтвердилось!»

«Идея подтвердилась? — осторожно спросил я. — Так это значит... ТАМ ПУСТО?»

Пришедший рассказал подробности. Но это все была физиология. О причине самоубийства можно было только догадываться. Я спросил, почему он пришел ко мне. Он объяснил: в записной книжке у Вити были мой телефон и несколько строк о наших разговорах. Пришедший спросил, не напишу ли я некролог, что ли, или воспоминание о нем для одного научного израильского журнала, который хочет посвятить ему и его работам номер. Я согласился. И написал. Послал по указанному адресу. Но ни журнала, ни этого человека больше никогда не видел.

Когда смотришь на небо, особенно на юге в теплую ночь, так бывает приятно, уютно. Как будто все это небо, и звезды, и туманности только и созданы, чтоб нам, глядящим, было красиво. А в другой раз поднимешь голову — Господи, бездна! Как далеко от нас! Или это мы далеко? Откуда мы? Куда мы? Как вытерпеть?

Светает.

Звезды гаснут.

От редакции

Этими главами завершается публикация книги Сергея Юрского, имени которой писатель еще не расслышал. Книга создавалась в течение трех лет и печаталась в «Октябре» по мере написания глав. Мы гордимся опытом работы с прозой Сергея Юрского, наиболее полно отвечающим традициям литературного журнала, каким он был задуман еще в пушкинскую эпоху. Каждая глава этой целостной книги читается как самостоятельное произведение, объединены они писательским видением времени, свидетелем и участником которого был Юрский. Это не воспоминания актера Юрского, а развернутая метафора времени писателя Юрского.

Читая эту книгу, понимаешь, что река времени, уносящая человеческую жизнь к океану вечности, прокладывает русло с неповторимыми изгибами, порой создавая обманчивое впечатление, что воды потекли вспять. И нет ничего необычного в том, что события тридцати—сорокалетней давности осязаются острее и предметнее событий недавних лет, скомканных и стертых в своей дурной бесконечности. Литература пытается подражать реке времени. Мы знаем эпохи тотального бегства в будущее, эпохи, зашоренные днем настоящим или заполненные трудом воскрешения прошлого. Причины и условия, формирующие адекватное для писателя время,— тема неохватная.

Мы же два десятилетия наблюдаем, как переписывается история «победителей», как в развороченный фундамент пытаются вправлять некогда отвергнутые камни. Чем больше мы узнаем о прошлом, тем больше у нас становится вопросов. Потому нам так важно увидеть, разглядеть живого человека во времени, понять его и полюбить, прожить с ним его историю и только тогда становиться «историками». Книга

Юрского соткана из переживаний, можно сказать, что каждая деталь его прозы «проживается» читающим, эмоции ушедшего мгновения неповрежденными (что составляет отдельную загадку творчества Юрского) присваиваются читателем.

«Я читаю выходящие книги о том времени Василия Аксенова, Толи Наймана и удивляюсь. Это рассказы о людях, событиях и местах моей молодости. Все совпадает — по дням можно проверить, — мы были в одном месте и в одно время. Но только это не обо мне. Мне нравятся эти книги, мне интересно узнать новое о том старом, из которого я вышел. Мы почти рядом...» (Глава «Пробелы».)

Казалось бы, все, о чем рассказывает в главах своей книги Юрский, построено на реальных, часто общеизвестных событиях прошлого, но чудным образом события преосуществляются в литературное произведение, не отягощенное обязательствами перед грубой фактологией и законами физического времени.

Читателю необходимо верить, что пишущий предельно искренен, в этом залог самого существования литературы. Но не всегда писатель следует этому золотому правилу.

Владение собственным сердцем — редчайший дар — позволяет писателю Юрскому быть услышанным читателем.



Михаил ЗАДОРНОВ

Фантазии сатирика

1. Фантазия политическая

Когда я приезжаю в Ригу, мы с мамой часто смотрим вместе телевизор. Маме уже за девяносто. Она никогда не была ни в одной партии, не состояла в профсоюзе, комсомоле, не пела коллективом патриотических маршевых песен. Ни с кем не шагала в ногу, не меняла взглядов в зависимости от смены портретов на стенках, не сжигала партбилетов и наглядно не раскаивалась в преданности предыдущим портретам. Поэтому, несмотря на возраст, до сих пор рассуждает трезвее многих наших политиков. Посмотрев однажды репортаж из Севастополя, она сказала: «Теперь турки могут потребовать у Украины Крым. Ведь по договору с Россией они не имели на него права, пока он был российским». Но больше всего из новостей ее волнует Чечня. Мой дедушка, ее отец, царский офицер, служил в начале века на Кавказе. Мама родилась в Майкопе, потом жила в Краснодаре.

— Не будет в Чечне ничего хорошего, — настойчиво повторяет она, слушая даже самые оптимистические прогнозы и заверения близких правительству лиц. — Они не знают кавказцев, не знают истории.

Мама наивно полагает, что политики и генералы так же, как она, беспокоятся о Родине, но все время ошибаются, потому что получили неаристократическое образование.

Иногда, очень мягко, я пытаюсь доказать маме, в чем ее главная ошибка. Она оценивает наших руководителей, помещая их в свою систему координат. Они же существуют в совершенно других осях.

Как это ни глупо, я начинаю рассказывать ей об олигархах, о ценах на нефть, о войне как о сверхприбыльном бизнесе, о мечте турок-подстрекателей: нефтепроводе от Баку к ним и далее, минуя Россию. Что еще глупее, от таких разговоров я часто завожусь, забывая о своей маске циника, и фантазирую пылко на разные исторические темы. К примеру, о том, что Турция, в отличие от России, не облагородила человечество за тысячу с лишним лет ни изящной литературой, ни другими шедеврами искусства, а известна миру лишь благодаря бесконечным войнам Османской империи, резне в Армении, изощренным пыткам, турецким баням, изобретенным, кстати, в Риме, и турецкому кофе, который греки считают греческим, а болгары болгарским.

Как правило, от моих фантазий, сидя в кресле, мама начинает дремать, при этом продолжает кивать головой, словно в знак согласия со мной. На самом деле это ее не испорченный излишней политизированностью мозг находчиво отгораживается дремой от того мусора, которым переполнено сегодня поголовье среднестатистических россиян.

Ну и хорошо, хоть не видит, что в «Новостях» в очередной раз показывают обугленных людей, отрезанные головы, матерящихся солдат, воющих женщин. Правда, к подобным кадрам у нас привыкли даже дети. Называют их ласково: расчлененкой, страшилками, кровавой накачкой.

За последние годы даже я не раз закрывал глаза, смотря «Новости», как в детстве на страшных фильмах, которые по сравнению с сегодняшним телевидением — сказка о Красной Шапочке. Впрочем, я уверен, что если бы нашему телевидению пришлось сегодня снимать «Красную Шапочку» и фаршировать ее

рекламой, то это была бы история о потомственной путане, которая по совету своей матери, тоже знатной шлюхи в третьем поколении, отравила волка-сутенера пирожками из расчлененной бабушки.

Фантазировать на эти темы сатирику можно бесконечно. Но, какими бы больными ни казались подобные фантазии, смотреть на реальную жизнь все равно больнее. Мама иногда сквозь дрему приоткрывает глаза и, словно испугавшись увиденного на экране, тут же их снова закрывает. Во время одного из своих выступлений я сказал: «Такое ощущение, что наше телевидение называется «Останкино», потому что все время показывает нам чьи-то останки». И на фоне этих останков вот уже какой год помощник президента успокаивает российское население тем, что прорвавшийся к казарме грузовик со взрывчаткой, расстрелянный пост милиции, попавшая в засаду колонна десантников — это все последняя агония противника. У помощника президента глаза никогда не смотрят в камеру. Они всегда лгут профессионально — в сторону. Этим умением он овладел в совершенстве, еще рассказывая нам несколько лет подряд о насморке первого президента и о том, что у того опухшее лицо в течение месяца потому, что он по ночам беспробудно работал с бумагами, а по утрам снимал накопившийся синдром подписыванием свежих указов. Видимо, за это бывший пресс-атташе был повышен. Теперь ему дозволено говорить о наших потерях на Кавказе. Ему всегда доверяют самое сокровенное — нездоровье президента и жертвы в Чечне! Его хозяева всегда в нем уверены. Такой не подведет, только глаза в сторону отведет, но, как всегда, останется настойчиво преданным.

Невероятно, но в слове «преданный» сразу два смысла, причем взаимоисключающие друг друга: преданный кому-то и преданный кем-то. Вроде как для нас разница всегда была столь несущественна, что не надо было придумывать лишнее слово. Например, народ, преданный правительством, или народ, преданный правительству. Думаю, чтобы никогда не ошибаться, надо всегда говорить: мы, русские, народ преданный.

Интересно, наши оповестители событий заметили, что за последние полгода три раза рапортовали нам о победном завершении военных действий в Чечне и семьдесят раз о последней агонии противника. Так при советской власти ЦК КПСС неоднократно объявлял нам о наступлении победного завершающего этапа построения социализма. Потом оказывалось, что это лишь был первый завершающий этап, а впереди еще два завершающих. Впоследствии и первый завершающий делился на три: начальный завершающий, конечный и бесконечный.

Когда я слушаю наших комментаторов с теста событий из Чечни, мне хочется их посадить на детектор лжи, совмещенный с электрическим стулом.

Мой друг, актер, кинорежиссер, в прошлом также рижанин Борис Галкин сейчас снимает документальный фильм о Чечне. Он рассказывал мне о том, что в Чечне не осталось ни одной неизнасилованной русской женщины в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет.

«Неужели нет выхода?!» — после каждой очередной вспышки агонии противника восклицает уставшее от стрессов российское население. Тут надо уточнить. Население в России делится на две части. Одна всегда надеется на царя-батюшку (генсека, президента, губернатора), вторая — на пахана-авторитета (генсека, президента, губернатора). Поэтому наше население, по сути, едино, оно всегда надеется на кого-то. И критикует всех и вся, никогда ничего не предлагая, кроме в крайнем случае смены царя-пахана. Так и хочется спросить, когда же мы, наконец, перестанем чувствовать себя просто населением, почувствуем себя человеком мыслящим, а не человеком прямоходящим. Еще точнее, человеком, который не только догадался поднять с земли палку и махать ею в разные стороны, но и задумался, по какому адресу ее точнее применить.

Еще в начале первой чеченской кампании мама, чтобы я понял ее слова «в Чечне не будет ничего хорошего», посоветовала мне почитать российский энциклопедический словарь прошлого века Брокгауза и Ефрона, перечитать повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат», освежить в памяти хрестоматийные стихи

Лермонтова и внимательно изучить карту Чечено-Ингушской Советской Автономной Республики.

Спустя полгода после того, как я закончил читать «Хаджи-Мурата», я случайно встретил в одном из тусовочных московских кафе известного журналиста Александра Минкина. Разговорились о наблевшем: президенте, правительстве, губернаторах, паханах и, естественно, о Чечне. Саша прочитал мне, как он сказал, отрывок из одного журналистского очерка. Пожаловался, что некоторые редакторы отказываются очерк печатать. В отрывке я тут же узнал фрагмент повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат», в котором Толстой сто с лишним лет назад описал карательный набег русских на чеченский аул во время первой Кавказской войны.

«Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, и дверь, и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый мальчик с блестящими глазами, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла перед сыном и царапала себе в кровь лицо и, не переставая, выла. Садо с киркой, лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены. Были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые, вишневые деревья. И главное, сожжены все улья с пчелами. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Также была загажена и мечеть. И мулла с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на кирпичках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а неприятие этих русских собак людьми. И такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их было как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Старики помолились о помощи и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи».

Когда я сказал Минкину, откуда этот отрывок, он не столько удивился, сколько обрадовался:

— Наконец-то! Хотя ты узнал Толстого! Кому из сегодняшних политиков и военных я ни читал эти строчки, все говорили одно: лучше сейчас об этом не писать. Журналист явно преувеличивает, наверняка куплен Западом. Представляешь, ни один из них не читал Толстого!

Я был горд! Как все-таки полезно бывает, несмотря на возраст, порой найти в себе силы, чтобы послушаться родительского совета.

— Мало того,— добавил я.— Они и Пушкина не читали, и Лермонтова... Да что там... По-моему, даже в энциклопедию не заглядывали. Иначе хоть один из них задал бы себе вопрос: сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?

Еще великий ученый Павлов, который исследовал человеческий мозг, любил говорить, что у большинства наших людей отсутствуют способности к установлению причинно-следственных связей. Но это мудрено. Это поймут лишь те, у кого эти причинно-следственные связи не нарушены. А для тех, у кого они нарушены, могу перевести на более современный язык. Павлов утверждал, что большинство наших людей может бесконечно наступать на одни и те же грабли.

Один военный чиновник как-то мне сказал: «Чечня — это наш геморрой!» Правда, при этом почему-то провел себе рукой под подбородком, по шее. Очень правильно подмечено. И находится Чечня на карте примерно в том же месте. И вроде по размеру воспаление небольшое, но о каком общем выздоровлении может идти речь, когда с такой запущенной стадией ни сесть, ни встать, ни помечтать о светлом будущем. Поскольку, несмотря на все достижения фармакологии, наша медицина перед геморроем бессильна, я поинтересовался у одного за-

езжего восточного махатмы: с чего же надо, по его мнению, начинать лечить эту болезнь, чтобы избавиться от нее навсегда? Он мне ответил: «С головы». Причина геморрой всегда в голове. Поэтому прежде чем начать лечение, надо спросить у головы: она согласна на это лечение?

Интересно, какого бы ответа дождался восточный махатма от нашей головы? Не могу отвлечься от профессии сатирика и не представить себе отвечающую мудрецу от лица России голову помощника президента и не понимающую ее мудреные ответы голову мудреца. Я, конечно, не восточный мудрец, но каждый день, когда я смотрю новости и от двух минут репортажа из Чечни у меня, как и у многих других телезрителей, портится настроение на весь вечер, я хочу нашей голове от имени всего нашего дряхлеющего туловища задать все тот же вопрос: вы правда хотите покончить с чеченской войной? Если да, то почему вы не организуете у себя в Кремле коллективное прочтение «Хаджи-Мурата», не присмотритесь к карте Чечни с умом, а не по-военному и не изучите историю этой болезни?

Страна — это организм, война — ее болезнь. Древняя медицина, вобравшая в себя опыт человечества за тысячелетия, справедливо настаивает на том, что у каждой болезни есть первопричина. Скажем, головная боль — не болезнь, а симптом, который сигнализирует нам о том, что нарушился обмен веществ. Она же подает знак: мол, я предупреждаю, перестань объедаться, пить, курить, завидовать, зловерничать, обижаться, издеваться надо мной таблетками. Иначе скоро заболит что-нибудь другое, более важное, чем голова. Недаром в древности многие болезни считались друзьями человека. Если их понимать, расшифровывать и слушаться, можно дожить до двухсот лет, от акушера до священника, минуя хирурга.

Есть древняя притча. Господь Бог помиловал душу разбойника, а наказал душу врача. «Прощаю тебя, — сказал он разбойнику, — потому что ты отнимал деньги у тех, кто обирал народ. А тебя, врач, не могу простить. Я посылаю людям болезни, чтобы они задумывались над тем, как они живут, а ты их вылечивал, и они продолжали жить по-прежнему».

Болезнь — это взгляд Господа на того, кому много дано, но он, к сожалению, этого не понимает.

Я часто обращаюсь за советами к древней медицине, потому что в древности не было денег. И целью целительства было исцеление. Недаром у всех этих слов общий корень — цель!

Если б гималайский мудрец пощупал сегодня пульс России, посмотрел ей в глаза, поговорил с ней по душам, то первопричиной всех ее болезней он бы наверняка назвал истощение нервное, физическое, полное нарушение обмена веществ. Поэтому и не осталось мышц, лишь небольшой жировой слой, который в виде новых русских так анекдотично смотрится на дистрофичном теле российской экономки. Этакий скелет в целлюлите. Все, что осталось за десять лет от бывшего культуриста после того, как в погоне за демократией в силу своей недообразованности он угодил в компанию алкоголиков, воров и наркоманов. О чем постоянно и сигнализирует нам геморрой-Чечня.

Сегодняшнее общество, как наше, так и западное, к сожалению, лечит симптомы болезни, а не ее причины. Действительно, зачем копошиться лишней раз в организме и искать какие-то скрытые проблемы в душе или сознании, если болит всего лишь такой пустяк, как голова? Да забросил в нее пару таблеток, она и присмирела. Правда, от этих таблеток еще больше нарушился обмен веществ, сник иммунитет. И то, и другое взбудрило уже горстью таблеток. От такой химической атаки растерялись почки. Их отрезвили парой уколов. От уколов опухла часть мозга. Ее вырезал знатный хирург, после чего организм стал не столь здоровее, сколь счастливее, поскольку наконец-то ему нечем стало сигнализировать о накопившихся в душе проблемах. И уже можно объедаться, курить и зловерничать, завидовать, обижаться на всех и вся, не комплексуя.

Чем чаще хирург вмешивается в наш организм, тем ближе мы становимся к одноклеточным. Если же учесть, что за каждую таблетку, укол, не говоря уже об операции, надо заплатить, то станет понятно, почему выгодна именно такая медицина!

Таким же выгодным для наших горе-лекарей стало и постоянное «лечение» Чечни.

Многие сегодня, понимая выгодность этой войны для наших врачей, считают, что те сами ее придумали, организовали, срежиссировали от взрывов домов в Москве и других городах до выборов нового президента. Превратили войну в послушную, дрессированную, которая когда надо дает прибыль, а когда надо — повышает правильный рейтинг.

При всем своем цинизме профессионального сатирика я в это не верю. Не потому, что считаю нашу власть порядочной, а потому, что считаю ее не столь одаренной, чтобы она смогла такое срежиссировать. Кто всегда старается пролезть во власть? Те, у кого не хватает способностей стать настолько профессионалом в своей области, чтобы получать удовольствие от профессии. Во власть идут, чтобы не работать. Глупо спросить у депутата: кем ты работаешь? Еще нелепей получить ответ: я работаю депутатом. Или я работаю губернатором. Любой из нас от такого ответа улыбнется, но совершенно серьезно отнесется, если ему ответят: я не работаю — я депутат. Или: я не работаю — я губернатор. Не пойдет в министерство работать врач, который каждый день видит улыбающихся, выздоравливающих пациентов. Писатель, если его выберут мэром, на третий день сбежит из нового, навороченного кабинета в мэрии к своему ненавороченному писательскому столу. Художник не променяет на Думу светлый чердак, где он за красками забывает о времени.

Чиновники — это те, кто не может ничего сконструировать, не может лечить, не может водить самолеты.

Чиновники — это не актеры, не писатели, не художники, не летчики, не врачи...

Если они лишаются своей чиновничьей работы, они никто. В этом их беда. Такая же, как потеря туловища для паразитов: глистов, вшей, блох. Единственный выход из положения — успеть перескочить с гибнущего организма на другой, более живучий. Я всегда говорю маме: не взывай к чиновничьей жалости. У паразитов не может быть сочувствия. От долгой паразитической жизни у них атрофируются органы, которыми надо сочувствовать. Вон у глистов уже нет даже органов зрения и слуха, остались только части тела для получения удовольствия от еды и размножения. К сожалению, то же от долгих лет государственной службы происходит и с большинством чиновников. Хотя попадают порой в государственные организации вполне достойные люди, но потом очень быстро у многих достоинство растрояется, как будто в Кремле издревле засела какая-то зараза, какой-то микроб. Или Кремль и Дом Правительства построены на очень гепатогенных зонах. Так что не чиновники организовали и срежиссировали эту войну. Они ею воспользовались, как истинные паразиты.

Когда мама слышит от меня подобные высказывания, она очень беспокоится и говорит: «Только не вздумай об этом говорить по телефону даже с друзьями». Это означает, что она думает так же, как я, но ее поколение приучили не высказывать согласие впрямую.

— Конечно, конечно,— соглашаюсь я с ней.— Я не буду обсуждать наших чиновников по телефону даже с друзьями.

И действительно, я не собираюсь ни с кем их обсуждать по телефону, потому что все, что о них думаю, хочу сказать по телевидению.

Не верю я и в то, что военные затеяли эту войну. Для того чтобы ее затеять, надо уметь принимать решения. А наши штабисты как раз этого делать не умеют. Впредь я заменю слово «военные» на «штабисты». Поскольку слово «военные» для меня в силу моего уважения к российской истории означает честь и достоинство. «Штабисты» — наоборот. Впрочем, как и большинство сегодняшних генералов. Русский офицер, между прочим, и на дуэль мог вызвать. Согласитесь, нелегко представить себе наших штабистов и генералов, защищающих свою честь на дуэли. Такое возможно только в карикатуре. Дуэль — не теннис. В ней не поддашься.

Как-то Жванецкий в своем выступлении очень точно заметил: «Наши военные умеют начинать войну, но не умеют ее заканчивать». Правильно! Они же

получали звания еще в Советском Союзе. За то, что аккуратно проводили политинформации, тщательно оформляли красные уголки, занимались самодеятельностью, крепили мощь нашей армии лозунгами и стенгазетами.

Перед приездом начальства заставляли солдат красить траву и подметать лес. Я никогда не забуду, как наш прапорщик в ракетных частях под Псковом перед встречей местного генерала обязал провинившихся рядовых на кухне протирать бархоткой для сапог глаза селедке, чтобы они в честь такой встречи были радостными. Единственное, что умели всегда делать наши генералы с достоинством — это вовремя отдавать честь. Когда случился Даманский, все местные дальневосточные военные чиновники растерялись. Подобные мероприятия не предусматривались утвержденным на пятилетку планом развития Дальневосточного военного округа. Долго ждали указаний сверху, а пограничники гибли. Наконец, не выдержал один из полковников, отдал приказ накрыть «Градом» все, что на восемьсот метров по ту сторону границы.

Полковник за то, что спас столько жизней, был награжден какой-то медалью 6-й степени чего-то и одновременно наказан — уволен в запас за то, что спас эти жизни без спроса. Так наши штабисты еще раз указали самостоятельно мыслящим офицерам, что военная честь — не то, что надо беречь, а то, что следует вовремя отдавать.

Казалось бы, Даманский не имеет к Чечне никакого отношения. А на самом деле, согласно все той же древней мудрости, это была наша первая головная боль, первый знак, что наша армия не столько сильна, сколько надута важностью, как генеральское пузо. Если бы тогда этот знак был понят, потом не случилась бы такая беда, как Афганистан. Однако, даже потеряв ни за что в бессмысленной чванливой войне убитыми столько, что до сих пор никто не решается назвать точную цифру, наши генералы не поумнели и не подумали хотя бы на этот раз убрать с дороги все те же грабли. В первую чеченскую кампанию бывшие афганские командиры, желая в очередной раз выслужиться, продолжали посылать в бой с чеченцами-профессионалами солдат-первогодков. Чечня — это эстафетная палочка, переданная нам Афганистаном. Дамокловым мечом над нашей армией нависло проклятие матерей, вдов и детей из всех российских закоулков. Но им-то что! Их же детей ни одна война не тронула. Их дети были освобождены всегда от армии как неполноценные. Они были полноценными только для бизнеса и высших генеральских постов в стране!

Надо отдать должное: многие генералы оказались очень способными. И после развала Союза многому научились самостоятельно. Например, строить дачи из материалов разобранных ракетодомов, торговать оружием и обмундированием, начиная с самолетов и заканчивая украденными с гарнизонного склада солдатскими трусами с клеймом Советской Армии, при виде которого у западных покупателей до сих пор в крови повышается адреналин. Когда случилась беда с «Курском», оказалось, что были списаны на металлолом и проданы за бесценок спасательные подводные лодки, и даже костюмы глубоководных водолазов умудрились продать в различные фотоателье. В них с парашюта питерской набережной «кореша» прыгали для забавы в Неву.

Многие люди считают: вот только раз украду, потом схожу в церковь на исповедь и больше воровать не буду, снова заживу честно, с достоинством. Наверняка так думали при расформировании наших частей в ГДР многие генералы. В конце концов что потеряет родина, если я опишу на металлолом пару слегка заржавевших подводных лодок или десятков зенитных установок? У родины этого добра навалом, не убудет. Да, но у родины оказалось и генералов навалом, которые так думают.

Однажды в конце 70-х годов на теплоходе мы шли по Волге с большой писательской группой из Куйбышева в Тольятти, а на палубе сидел и смотрел на Жигулевские горы, как всегда с грустинкой, Булат Окуджава. Я тогда уже начинал выступать. Причем если я ездил в писательской группе, то читал со сцены одни рассказы, более, как мне казалось, утонченные, а артистам эстрадным отдавал другие, те,

которые сам читать в то время стеснялся. Артисты, исполняя по телевидению мои монологи, называли мою фамилию. Тогда на палубе Окуджава меня спросил, зачем я пишу для артистов такие пошлости. «Вам бы надо было самому читать то, что вы пишете, и самому выступать». Желая показаться дальновидным, несмотря на возраст, я ответил, что просто хочу довести авторские за исполнение моих рассказов до двухсот рублей в месяц, чтобы потом, не думая уже о деньгах, сидеть дома и писать то, о чем желаю. Окуджава усмехнулся, ответил, что так не бывает. Он видел многих молодых способных людей, и все, кто полагал, что, только раз напишет на потребу, уже впредь никогда не мог писать от души. «Эстрада вас может затянуть, если еще не затянула,— сказал он.— Вы рискуете на всю жизнь остаться обычным эстрадником». Прошло двадцать лет, и я понял, что Окуджава оказался прав. Только писатель, уступив своей корысти, предает себя, а военные — тех, кого они должны защищать. Жертвой предательства художника становится душа художника. А жертвой предательства военных — тысячи жизней других людей.

Вряд ли наша военная верхушка задумывалась над этим. Она просто продолжала жить жизнью страны. Кому-то в конце концов в борьбе за доступ к якобы заржавевшим подводным лодкам пришлось устранить конкурента, кому-то разобраться с пытливым журналистом, кто-то послал в бой за своей новой очередной звездой солдат-первогодков. И никто не подумал, что началось все просто с украденных однажды с гарнизонного склада трусов и алюминиевой посуды, потом формы, погон, орденов, знамен, а закончилось продажей противнику оружия и маршрутов движения колонн десантников в горах.

Интересно, что, когда наша армия жила по законам атеизма и ее генералы были безбожниками, они меньше грешили, чем теперь, когда вера в партию резко сменилась верой в Бога. Как для истинных безбожников, для наших чиновников Страшным судом могли быть только реальные организации. И выражение «Гореть вам в геенне огненной» перестало на них действовать сразу после развала КГБ.

Словом, если выписать все грехи нашей армии, то станет очевидно, что за последние годы она нарушала все заповеди. Если б восточный мудрец был еще и сатириком, что возможно лишь в фантазии самого эстрадного сатирика, он бы сказал:

«Карма Российской Армии выросла настолько, что уже стала вываливаться даже из генеральских штанов».

Однажды я получил письмо из Тулы от одного военного. Когда-то я работал в журнале «Юность» помощником редактора. Мне поручали разгребать мешки с письмами. С тех пор я по почерку и по первым фразам, а также размеру письма могу угадать, какого умственного развития автор письма и что он от меня хочет. Если первые строчки: «Уважаемый Михаил Николаевич, мы Вас очень любим всей семьей, не пропускаем ни одной Вашей встречи, Вы лучше всех остальных», — значит, просят денег и такие же письма разослали всем кого считают лучше остальных. Если письмо начинается с перечисления титулов автора, его почетных грамот, вплоть до участника переписи населения, значит, какой-то своей шуткой я попал непосредственно в него и теперь он попытается запугать меня своими званиями и знакомствами.

Письмо из Тулы было короткое. Без лести. Начиналось с фразы: «Матери погибших в Чечне десантников из Тулы обращаются к Вам, потому что прочитали Вашу статью в «Аргументах и фактах» о черной воровской слизи в нашей армии. Может быть, хоть Вы нам поможете».

У автора письма, который написал его от имени матерей, среди тульских десантников в Чечне погиб брат. Написал грамотно. Нигде не хвастался своими званиями. Просто упомянул, что в прошлом тоже был военным. Чувствовалось, почерк когда-то был ровным, но из-за постоянных стрессов буквы стали разваливаться в разные стороны.

Какое же отчаяние должно быть у этих людей, подумал я, если они написали сатирику?

В письме было прямо сказано, что десантников предали. Автор сам ездил в Чечню, расспрашивал тех, кто остался в живых. Потом матери погибших обращались в военную прокуратуру, чтобы там разобрались. Но сначала чиновники увертывались, уходили от разговора. А потом и вообще перестали их принимать.

«Странное совпадение,— подумал я.— Через десять дней у меня как раз должно быть выступление в Туле». Я позвонил автору и предложил ему встретиться за час до концерта. Ехал в Тулу с тяжелым предощущением. И не зря.

В мою закулисную комнату пришли автор письма и мать одного из погибших. Он высокий, седой. Рукопожатие, как и почерк, когда-то было уверенным. Она из тех женщин, которых мало кто замечает и с кем чиновники особенно не считаются. Может, доярка, может, прачка, может, бухгалтер. На голове мужская шапка меховая, зимняя. Видимо, шапка сына. Может быть, в ней она чувствует себя ближе к нему. Классическое совдеповское пальто из нашего прошлого. Узенький меховой воротничок скорее похож на ошейник. Она была из тех женщин, которые быстро свыкаются с мыслью, что жизнь их не удалась и все свои надежды впредь вкладывают в детей. Такие женщины часто в России рождают без мужей, чтобы у них появился смысл в жизни. Несмотря на то, что прошел год со дня гибели сына, она все время держала носовой платок около глаз. Она плакала так же постоянно, как и дышала.

Сначала с опаской, недоверием глядела на меня из-под шапки, не совсем понимая, зачем этот бывший военный пригласил ее на встречу с каким-то сатириком. Говорить начал автор письма. Сбивчиво, волновался.

Колонну десантников должны были пустить по одному маршруту, но в последний момент маршрут изменили. Прикрытие авиационное сняли, сказали, что вертолеты сломались. Сам выход колонны тоже задержали на целый день. Как будто ждали кого-то. В пути остановились фотографироваться, хотя это нарушение инструкции. При этом один из офицеров перегородил дорогу своим грузовиком, поставив его поперек, чтоб нельзя было быстро выехать. И, когда фотографировались, все началось.

Постепенно к нашему разговору присоединилась и мать погибшего.

— За что? Я растила его... На институт накопила. Мне потом его друг рассказал. Друг почему-то в живых остался. Говорит, догадался откатиться в кювет и спастся, а Дима не успел. Но он наврал. Я знаю. На них напали двадцать третьего, а Дима умер двадцать четвертого. Мне его историю показывали... И две пули в коленке. Значит, над ним издевались, пытали...

Она не может продолжать. Я понимаю, что ей до сих пор мерещится эта страшная картина.

Счастье наших предателей в том, что они не верят в перерождение души. Иначе бы они знали, что отныне их род будет проклят их предательством на несколько поколений. И потомки их будут мучиться, не зная, за что расплачиваются.

— Она не поехала на опознание,— чтобы прервать неловкое молчание, говорит автор письма.— Не смогла. А я поехал. Вы не представляете... В морге...— Он сделал паузу, чтобы выбросить из воображения виденное.— Там наши ребята в холодильниках. Там жареным мясом пахнет. Большинство тел обуглены. Узнать никого невозможно. Все одинаковые. И запах. Запах горелого. Это преисподняя! Я туда с первого раза зайти не мог. Несколько раз кругами ходил. Потом выпил для храбрости. И зашел. А ведь я в прошлом военный.

Нет, я не прав, когда пытаюсь представить себе следующую жизнь наших предателей-штабистов. У них ее не будет. Нет такого наказания, которое могло бы искупить подобные грехи. Их души будут расформированы. На языке христианском это означает — вечный ад, вечная сковородка. Как там, в морге, где пахнет жареным мясом преданных ими солдат. Самое страшное наказание — не жить больше. Быть приговоренным к «никогда». Что-то вроде надетого на душу вечного противозачаточного.

— А еще мне летчик рассказывал,— продолжает брат погибшего.— Однажды они полетели на задание уничтожить несколько отмеченных на карте нефтяных мини-заводов. Разбомбили, развернулись, летят обратно. Смотрят, еще два в стороне. Их тоже взорвали. Только приземлились — тут же начальство накинулось: «Вы что наделали, кто вас просил? Это заводы, которые платят Москве».

Что я могу ответить? Подобное я слышал и от Бориса Галкина. Он тоже рассказывал, что и Басаева пару раз задерживали, но из Москвы приходил приказ: отпустить. Чуть ли не от самого тогдашнего премьера.

Но самое сильное отчаяние у моих собеседников оттого, что никто их даже выслушать не хочет. В газете и то намекнули, чтобы они больше не приходили. Надоели. Один чиновник просто сказал: «Ну что вы все время фантазируете! Нам доподлинно, из достоверных источников известно, что вашего сына никто не пытал, его убили сразу, так что не волнуйтесь».

— Почему тем, кто с «Курска», родственникам, и деньги выплатили, и психологов дали? А с нами даже говорить не хотят! Мне, например, нужен психолог. Мне денег уже не надо, — говорит Диминая мама. — Они у меня остались от накопленных для Димы, для института. Почему все разговаривают со мной так, будто Димы никогда у меня и не было? Будто я его придумала. Но ведь он у меня был! Я точно помню. Я же его в институт готовила.

Она смотрит на меня такими страшными глазами, как будто хочет понять: верю я, что у нее был сын?

Да, цена смерти! Сколько стóбит где погибнуть. Как в меню. Вроде как «Курск» — несчастье, а Чечня так, во имя идеи. За Родину!

К концу нашего разговора собеседники уже начинают успокаивать меня.

— Не волнуйтесь, даже если у вас не получится помочь нам, уже спасибо, что выслушали.

Я советую Диминой маме сходить в церковь. Она отмахивается и коротко отвечает:

— Пробовала, не помогает. Священник одно твердит: «Радуйся, сын твой в раю». А как я могу радоваться? Я его в институт готовила.

Мне нечего ей ответить. Даже среди священников уже появились чиновники от церкви с отмирающими органами сочувствия.

— Тогда сами разговаривайте с ним почаще. Ему сейчас это важнее всего.

— Я все время говорю с ним. Фотографию вон с собой для этого всегда ношу.

Она показывает мне фотографию. Молоденький. Худенький. Взгляд дерзкий. Такой взгляд бывает у наших молодых ребят, после того как они насмотрятся западных боевиков и им кажется, что они тоже супермены и могут выбраться из любой ситуации. Но жизнь — не кино.

Мои посетители уходят от меня длинными обшарпанными, облупившимися, как и их судьбы, коридорами военного Дома культуры. Я смотрю им вслед и думаю: и нужно им не так уж много сегодня. Просто чтобы их выслушали. Но у власти пока нет органов слуха.

Сегодня, когда смотришь на нашу армию, которая от имени многомиллионной страны не может справиться с двумя тысячами боевиков, даже не верится, что раньше мы считали ее непобедимой. Так нас учили в школе. В пример приводили Куликовскую битву, Полтаву, позже Великую Отечественную войну и, конечно же, победу над непобедимым Наполеоном.

Действительно, в конце жизни на острове Эльба даже Бонапарт признался, что его главной ошибкой стал поход на Россию. Собираясь начать войну, он был уверен, что так же легко расправится с ней, как с другими странами Европы, с которыми он расправлялся всегда по одной и той же формуле. Вошел в страну, которая приглянулась. У границы его уже ждет армия противника, которая сейчас будет защищаться. Для него — гения и профессионала — предстоящее сражение всегда было радостью, как для ребенка игра в солдатиков, в которой он всегда побеждал. Несколько дней, как правило, требовалось Наполеону, чтобы завоевать любую страну, получить с поклоном ключи от столицы, превратить потомственного короля в своего «шестерку»-вассала и въехать в его дворец под аплодисменты толпы, которая нередко приветствовала Бонапарта как освободителя.

Единственной страной, где эта формула не сработала, оказалась Россия. Вошел в нее — а русской армии нет. Не ждет его. Не уважает. Он за ней. Она от него. Он — вправо, Барклай де Толли — влево. Наполеон — влево, русская армия — вправо.

Обидно стало гению. Зря, что ли, шестисоттысячную армию себе набирал, со всех стран лимитчиков призывал? Он за русскими в глубь страны, русские от него еще глубже. И засасывает, засасывает его Россия, как болото. Уж все сро-

ки, отпущенные на завоевание, просрочены. Корм для лошадей кончается, погода портится. А сражения все нет. С продуктами и кормом для лошадей тоже беда. Из-за таких расстояний обозы из Франции запаздывают. Не случилось такого ранее ни в одной европейской стране. Там все само собой складывалось. Кончился корм для лошадей, зашли солдаты в любую деревню, отобрали у крестьян корм, заодно и лошадей. А тут зашли в деревню — лошадей нет, корма нет, все, что на полях посеяно, выжгли, чтобы антихристу не досталось. Крестьян, и то нет, все по лесам попрятались. Только ночью с косами подкрадутся, покосят пару батальонов лимиты — и обратно в лес.

Очевидцы рассказывают: Бонапарт действительно радовался, как ребенок, когда, наконец, увидел на рассвете русскую армию у деревни Бородино. Глаза заблестели, оживился. Теперь-то благодаря науке мы знаем, что это у него разыгрался в организме мужской гормон — тестостерон.

Позже, там же на Эльбе, он называл сражение при Бородино самым жестоким в своей жизни. Однажды во время этого сражения его видели со слезами на глазах, когда умирал его любимый генерал. Сколько раз в течение дня докладывали Наполеону о победе и разгроме русской армии, а русские пушки продолжали стрелять, армия Кутузова не отступала, в который раз французы брали артиллерийский редут Раевского и в который раз русские его возвращали себе благодаря какому-то неизвестному генералу Ермолову.

Кто-то из наполеоновских генералов сказал императору во время этого сражения: «Русские солдаты продолжают сражаться, будучи убитыми. Я восхищен ими!..»

Да, не вычислил Бонапарт России, хотя и считался гением. Его агенты и дипломаты много лет доставляли ему сведения о русских бездарных генералах, о нерешительном мямле-царе, о проворовавшемся дворянстве и о вяло недовольном властью народе... Он даже потребовал от своих дипломатов историю Пугачевского бунта. Но одного не могли заметить в российском народе его агенты и дипломаты. Достоинства! Потому что люди с достоинством не могут быть фискалами. Им трудно заметить то, чего нет в них самих.

Так что зря Бонапарт ждал ключи от Москвы и восторженных взглядов из толпы, когда он будет въезжать в Кремль. Он был для русского народа оскорбителем! Оскорбителем веры, полей, домов... До сих пор историки не могут прийти к общему мнению: кто первым поджег Москву? Или кто отдал приказ поджечь ее — царь, Кутузов, комендант Москвы? Потому что не было приказа, не было этого одного первого поджигателя. Москва загорелась от энергии ненависти, от оскорбленного чувства достоинства всего народа. Не ожидал Бонапарт, что в целом народе может быть достоинство, которое, он считал, есть только у него одного. Сначала это достоинство за варварство принял. Он же пришел как освободитель от крепостного права. А они его гонят огнем, косами... И еще радуются! Варвары! Как можно радоваться? Когда такие ценности вокруг горят! Собственную столицу подожгли и гордятся этим. Дикари! Нет, не может западный человек умом высчитать то, что русские делают от души и что достоинство и честь могут быть ценнее всех ценностей! Уверен был Бонапарт — только до границы погонит его этот обезумевший народ. Но опять не угадал. До Парижа антихриста погнали. Ты у нас в Москве побывал, теперь наша очередь побывать в Париже. Иначе нечестно получается. И потом все-таки Париж! Кафе, театры, французенки! Когда еще такая возможность представится русскому мужику во Францию без визы сгонять? Три раза, пока его гнали, Бонапарт успевал возвратиться в Париж, набрать армию и разбивал русских вместе с их союзниками в пух и прах, а те все гонят и гонят его. Ничего не может понять Наполеон. Неужели им так в Париж хочется? Нет, просто очень обидел он нашего человека. Поэтому и проиграл. А еще потому, что у него во Франции люди закончились. А в России они никогда не кончаются.

В последний раз он все-таки признался: обхитрили его русские. Уже у самой границы с Францией обошел российскую армию с тылу, решил неожиданно в спину ударить. А русские посмотрели на этот маневр, говорят: а что с ним опять драться, он же нас опять поколотит, тем более что дорога на Париж свободна. Пошли и взяли Париж! Практически без жертв!

Это правда: русская армия всегда была непобедимой, когда защищала свою Родину и достоинство, когда армией становились все, от царя до крепостного, и когда даже аристократическая тусовка на время превращалась в интеллигенцию.

Но Чечня — не Родина Димы, погибшего десантника из Тулы. Эта война защищает не интересы народа, а интересы государства. Пока в России, к сожалению, эти интересы расходятся.

У меня нет злости к коммунистам. Коммунисты меня никогда не обманывали, потому что я никогда им не верил и на них не надеялся. А демократам я верил. Как и многие другие. Но они меня обманули.

Я не считаю Ельцина плохим или злым человеком. Но он спутал два понятия: тщеславие и достоинство. Достоинство не терпит лести, а тщеславие лестью питается. В результате власть в стране перешла к тем банальным лстецам, которые просто научились пользоваться президентом как неким инструментом для своего казнокрадства. Хотя самого Ельцина лично я не могу представить на Поклонной горе в смиренном поклоне с ключами от России. Но я могу представить себе, как это делает любой из его былого окружения. Причем не просто подносит ключи, а еще и оправдывает свой поступок: дескать, Бонапарт поможет нам прямо от крепостного права перейти к рынку, к реформам и при нем в Россию потекут настоящие инвестиции.

Благодаря нашим демократам слово «инвестиция» стало важнее достоинства.

Навряд ли мы в ближайшее время узнаем, из-за чего началась эта последняя чеченская война, что послужило поводом. Из-за того, что наши военные оставили чеченцам оружие, а те денег за него не вернули? После чего наши генералы, решив на них «наехать», растревожили, растеребили президентское достоинство-тщеславие? Мол, они же вас не уважают, отца нашего родного. Да вы же у нас как Петр I! Неужели потерпите? И покатились на следующий день танки на войну.

Думаю, что не скоро узнаем мы и причины гибели «Курска», и всех остальных катастроф. Потому что причина у всех сегодняшних российских бед одна.

За десять лет правления тех, кого мы считали демократами, Россия была переведена не на самоуправление, как нам обещали, а на самоворовство.

Вместо писателей и поэтов, как это всегда было на Руси, совестью страны стали олигархи, финансисты. А для финансистов, как говорил еще кардинал Ришелье, предательство — дело времени. Спекуляция перестала считаться чем-то недостойным. Бывшие уголовники превратились в наших учителей, эмигранты — в наставников. Все честные, неворующие люди были унижены, лишены даже надежд на сносное будущее.

За несколько лет по России прокатилась скрытая гражданская война. От одних бандитских разборок людей погибло, как на войне. А сколько полегло в Чечне? Да и все другие признаки гражданской войны налицо. По всему миру рассеяны лучшие умы, ученые: биологи, медики, инженеры космической промышленности, компьютерщики, химики. Во всех странах, как в восемнадцатом, российские нищие. Самым доходным на сегодня российским экспортом стали нефть и проституция. От русских в бывших республиках СССР отмахнулись, как от назойливой мошкары. Даже слово новое для них придумали — «соотечественники». Вроде как не наши, не родные, а так, просто похожие на «отечественных». Бюджетников отлучили от зарплаты настолько, что их тоже можно уже называть «соотечественниками». Заводы и предприятия умудрились продать иностранцам так, что еще остались им должны. Образование и культура стали предметом импорта, как цыплячьи ножки и «Стиморол». Армия, мыщы государства, превратилась в кожу и кости. Космос утопили в Тихом океане. Гордость советской космической науки и техники — «Буря» — приспособили под ресторан. Наконец, экономика была приведена в состояние гармонии с речью премьера, который говорил правду только тогда, когда не понимал, что говорил.

Поэтому старая власть так спокойно и уступила место новой. Она понима-

ла, что уступает место на капитанском мостике «Титаника», из-под которого уже показалась верхушка айсберга.

Это ли не есть нарушение обмена веществ? В нем и причина Чечни, и всех остальных катастроф. И если это не понять, то главная катастрофа еще впереди.

Недаром Россия своими контурами напоминает подводную лодку!

И не надо скулить, за что Чечня на нас свалилась. Чечня — это наше проклятие, нажитое нами изнутри. Это болезнь-друг. Если б не было Чечни, мы бы не знали, насколько мы больны.

После беды с «Курском», пожара на Останкинской башне и взрыва на Пушкинской, терактов в Чечне во многих городах служили молебны, чтобы Господь Бог, наконец, пожалел Россию. Каждый снова почувствовал себя абсолютно незащищенным, а я смотрел на молебны и думал: неужели мы ни на что больше не способны, кроме как молить Бога о том, чтобы он защитил Россию от напастей? Лично мне порой кажется, что Господь посылает нам все эти тяжкие испытания одно за другим, потому что все еще надеется на нас. Он рассчитывает на Россию, как на свою помощницу в тех будущих встрясках, о которых лишь ему одному заведомо известно. Он-то понимает, что сможет сделать помощником Запад, только если разместит на долларе свою фотографию. А в России есть еще, как сказал Солженицын, «спасительные задатки». Поэтому Господь и трясет ее. И говорит: ну, встряхнись же! Илья Муромец, слезь, наконец, с печи. Разуй глаза — неужели тебе еще один Наполеон нужен, чтобы вспомнить, что достоинство важнее инвестиций?

И, как ни странно, похоже, что всевышнему сегодня кое-что уже удается. Во всяком случае, первая переоценка у тех, кто в эту «гражданскую» выжил, уже началась. Недаром Запад о России больше ничего хорошего не говорит — первый и вернейший признак оживления нашего достоинства. Есть и другие признаки выхода из комы.

Снова зрители потянулись в театры, в кино. Появились отечественные кинофильмы без мата. И многие уже в прокатах спрашивают их, а не западные боевики. В книжных магазинах толкучка как в электричке в час пик. Еще не совсем сложилась новая литература, но уже бывшие бандиты настолько зарылись в бизнес, что начали заниматься книгоизданием. Проститутки стайками потянулись из развитых стран обратно на Родину. Заработок на Родине больше, клиенты душевнее. То ли краб какой-то выпустил Россию из своей клешни, то ли кто-то сверху начал поливать ее живой водой.

Власть делает первые попытки защитить русскоязычное население в бывших республиках. Воровство становится более упорядоченным. Похоже, новая власть пытается привести экономику к «евростандарту» воровства, трезво представляя себе, что, если воровство прекратить полностью, государство российское развалится. Как писал поэт Евтушенко, «казнить всех малых и больших воров, Россия станет как пустыня Гоби».

Словом, есть положительные симптомы, доказывающие, что большой стал легче дышать. Недаром недовольны журналисты и та часть так называемой элитной тусовки, которая всегда передвигается в направлении, где бесплатно кормят.

Наконец, все, кто при старой власти воровал прямо из казны, убеждают нас, что становится еще хуже. Это значит — точно становится лучше.

А один из бывших севастьяпольских матросов порадовал особенно. Женился на американке. Но, несмотря на жизнь в «теплой американской ванночке», через год развелся. Причина развода лично меня убедила, что не все еще потеряно в нашем народе. Его молодая жена не признавала роль Советской Армии в Великой Отечественной войне. А у него оба деда на ней погибли. Она же считала, что с Германией воевала и справилась только Америка. Они все время ссорились из-за этого, пока не развелись.

Надо отдать должное бывшему Президенту России. Благодаря гремучей смеси его ошибок и заходов не туда нам всего десять лет понадобилось, чтобы понять, что дружба с Западом для нас западня, а демократия — это власть денег,

выбранная на деньги ради денег и пора наконец начинать лечиться и налаживать общий обмен веществ. А для этого прежде всего необходимо покончить с кавказским недугом. А как? Ему же более двухсот лет.

Чечня — это антикварные грабли России.

Медики хорошо знают, что покончить с хроникой всегда сложнее, чем с острым заболеванием. Тут особенно важно внимательно присмотреться к истории болезни, что мне и посоветовала в свое время сделать моя мама.

2. Фантазия историческая

Должен сказать: первое, что приходит на ум, — у этой более чем двухсотлетней войны никогда не было победителей. Ведь дружно Россия и Чечня жили только до конца XVIII века, потому что ничего друг о друге толком не знали. У чеченцев не преподавали в школах географию, поскольку у них не было школ. У русских же где-нибудь в Петербурге или в Москве спрашивать о чеченцах в то время было так же бессмысленно, как нынче у американцев про нивхов и коряков.

Да и слово «чеченцы» к тому времени только что закрепилось за горским племенем нахчо по названию их аула Чечен. Несмотря на то, что когда-то в этих местах расположилось древнее, достаточно цивилизованное царство Аланья, племя нахчо сумело сохранить незамаранным свой первобытно-общинный строй. Даже татаро-монголы, разрушившие царство, не тронули племя — видимо, не заметили его. Так и жило оно в веках, запертое горными хребтами, от нечего делать враждуя между собой родовыми кланами и рожая детей для поддержания главного завоевания своей культуры — кровной мести.

В свободное от подобных развлечений время пасли на горных лугах скот и вспоминали, кто еще остался неотомщенным. Земледельческая равнина за Терреком их мало интересовала. О нефти под ней они не догадывались, а представить себе чеченца, сеющего хлеб, так же нелепо, как еврея, помешивающего сталь в мартене.

Зато эта равнина была спасательным кругом для беглых российских крестьян, вольноотпущенных и казаков. Недаром названия сел на ней русские. И лишь в горах чеченские аулы. Именно в степь и на плодородные земли веками бежал энергичный российский люд, для которого удовлетворить порывы своей безразмерной, как и Россия, души во всегдашней неразберихе российских законов было так же невозможно, как вдохновенному художнику писать картины на пленэре в наручниках. Поэтому все они и бежали за одним — за волей!

Воля — это особое чувство, известное только нашим предкам. Недаром в других языках такого слова нет. И переводится оно обычно как «свобода». Но свобода — жалкое подобие воли. Это воля, запертая в конституцию западной демократии. Воля так же отличается от свободы, как уха, приготовленная на берегу реки из только что выловленной рыбы, с затушенной для аромата прямо в котле головешкой отличается от бульона из рыбных кубиков.

Беглые крестьяне и казаки — дрожжи России.

Благодаря и тем и другим Россия распухала и, как тесто из тесной кастрюли, вываливалась из своих предыдущих границ. Крестьяне распахивали для нее все новые просторы. А казаки, сами того не ведая, оберегали своими разбойничьими шайками эти стихийно возникшие границы. Любого на окраине России могла встретить вместо таможи какая-нибудь банда очередного казацкого атамана и обчистить посерьезней любого таможенника.

Казацкая братва — это самокупаемая российская таможня эпохи европейского Возрождения.

Даже турки в период османской спеси, мечтая стать нашим новым татаро-монгольским игом, не смогли пробиться сквозь множество казацких «таможенных терминалов».

Шло время, и эта полубуйствующая, полупьяная граница России подползла вплотную к Кавказу. Особым удовольствием для казаков стало сходить походом на какое-нибудь ханство, благо этих ханств в горах, как сусличьих нор в степи.

Потрясти казну какой-нибудь орды, увести княжну, а то и весь гарем считалось у казаков особой доблестью, таким VIP-развлечением! Потом, собравшись с братвой, написать благодарственное письмо самому хану с признанием прелестей его любимых жен. А княжну-другую по пьянке просто выбросить за борт ради госта за дружбу с корешами. Все это считалось у казаков защитой Отечества или называлось двумя взаимоисключающими словами «навоевать добра». Так они и погибали тысячами от сабель ханских охранников у сундучков с драгоценностями, выкрикивая в момент отлета души в мир иной: «За Русь нашу православную!» Не зря же народные сказки и былины с детства воспитывали в них чувство романтической агрессии в борьбе с неверными.

Я понимаю, многие представляют себе казаков сегодня по кинофильму «Тихий Дон» этакой сплошной дисциплинированной конницей. Другие, те, что помолже, думают, казаки — маскарадная забава безработной части мужского населения юга России. Всегда в маскарадных костюмах, с импотентно висящими у ног музейными нагайками и лихо подкрученными к небу усиками-сабельками. При этом с глазами, вечно просящими у государства денег на организацию их потешного войска. И, судя по всему, небезуспешно. Иначе как объяснить, что среди есаулов в наши дни появились такие фамилии, как Рабинович, Швеллер и Драхман... Правда, как сказал один из остряков писателей-евреев в ресторане Дома литераторов, это вполне возможно только из чувства ностальгии по нагайке.

На самом деле в те давние времена казаки были самым буйным, не поддающимся воспитанию российским сословием. Недаром даже детская игра называется не просто «Казаки», а «Казаки-разбойники». Дети — наши экстрасенсики — правильно ощущают историю. Самым зазорным у казаков всегда считалось работать. Одна моя знакомая, потомок казачьего рода, рассказывала, что однажды в 30-е годы ее дед, отчаявшись, пошел работать грузчиком на пристань. Так его друзья-казаки в знак презрения к нему выстроились на причале и дружно показали ему голые зады.

Петр и казаки — два главных пугала европейских стран запоздавшего российского средневековья. До сих пор многие на Западе представляют русских по образу казака-разбойника! Полудиким, степным кентавром с генами скифов и печенегов. До сей поры у поляков и венгров не развенчали этот образ русских даже Достоевский, Толстой, Пушкин и Гоголь. Зато очень удачно его подкрепили разъехавшиеся по всему миру «новые русские кореша» со скифским золотом на пальцах и на шеех.

Горцы тоже не оставались в долгу перед казаками-разбойниками. Отныне у них появились новые удовольствия: украсть в станице скотину, пострелять по бегущему за Терекom человеку. Принести скальп казака к домашнему очагу невесты стало у чеченской молодежи признаком совершеннолетия и доказательством, что жених созрел, налился силой для медового месяца.

Наверное, эти две взрывоопасные смеси — казаки и горцы — еще бы долго продолжали искриться, потираясь друг о друга немаркированными границами, если бы в это время совершенно неожиданно не попросилась в состав России Грузия. Попросились грузины добровольно и этим перехитрили даже хитроумных армян, понимая, что они, как и русские, тоже православные, значит, им не откажут. Снизу Грузию подпирала Османская империя, грозилась устроить когда-нибудь резню. С других сторон теревили мелкие мусульманские племена. К концу XVIII века почти все они приняли мусульманство, принеся этим общую клятву вечно дружить против вываливающейся на них из своих объемов России.

Я уже не раз замечал, что грузины хитрее армян настолько, насколько ежик хитрее лисы. У армян все хитрости на лице, как у лисы. А по ежику никогда не скажешь, чего он хочет. Главное для него — вовремя оцетиниться. Грузины поняли, что дешевле оцетиниться и впредь защищаться российской армией, чем своей. Тем более что собственная армия всегда напоминала нечто среднее между армией и хором. А защищаться от турок хором бесполезно.

Руководствуясь со времен Петра имперскими замашками, Россия тоже обрадовалась грузинскому предложению. Она всегда была рада расширить свои границы на дармовщинку. И тут же вошла в дружбу с Грузией своей армией и по-

гранзаставами, а Грузия в ответ внесла в этот новый союз чувство благодарности и клятву в вечной преданности.

Все это было б полбеды, если бы в это время не попросился в состав России еще и Азербайджан. Видимо, азербайджанцы услышали, насколько после объединения веселее запели в горах грузины, и тут же сообразили, как это выгодно дружить с соседом, который верит заверениям и клятвам.

И все в этой трехсторонней дружбе было бы хорошо! Кроме одного... Вернее, кроме множества кавказских племен и народцев, которые этакой невыбиваемой прокладкой засели в горах между подружившимися, а сами дружить дружно отказывались. А на унижительные предложения построить им в будущем театры, музеи, школы и, самое страшное, завести когда-нибудь свою консерваторию с радостью выбросили топор войны!

На выброшенный топор Россия ответила: ей дешевле насильно усыновить толпу беспризорных племен, чем в отсутствие авиации дружить через них. Россия всегда считала войну самым дешевым способом разрешения исторических проблем. Ведь для российских правителей единственная бесконечная величина — это российский народ. Так началась первая Кавказская война.

Обе стороны были втайне довольны новым этапом развития «добрососедских» отношений. Во-первых, и те и другие делали богоугодное дело — боролись с неверными. Во-вторых, у мужской части кавказского населения наконец на долгие годы появилось настоящее мужское занятие, а у России еще одно место, куда можно было сылать зарвавшихся в своей дерзости после победы над Наполеоном офицеров и расхулиганившихся поэтов.

Поэтому возглавить всю эту кавказскую мясорубку было поручено одному из самых дерзких генералов, герою Отечественной войны Ермолову. Мало того, что во время Бородинского сражения без соизволения высшего руководства он повел в атаку солдат, спасая бригаду Раевского, он еще и надерзил самому государю. Когда царь, желая наградить отличившихся в войне офицеров, спросил у Ермолова, какую бы награду он хотел получить, Ермолов ответил: «Государь, произведите меня в немцы». Смелость в бою есть отвага, смелость в свете — дерзость. Царь принял ответ как насмешку над всем к тому времени полнокровно немецким родом Романовых и наказал генерала, назначив его губернатором всего кавказского неповиновения.

До сих пор при воспоминании о Ермолове чеченцы готовы выкалывать глаза на его портретах, предавать шариату его бюсты и отрезать уши от его памятников. С ним было очень неудобно воевать. Его офицеры не подрабатывали продажей оружия на сторону, не выдавали противнику маршруты движения армейских колонн. Сам генерал, воспитанник Суворова, не строил в Подмосковье дачу из привезенного с войны кавказского известняка. Более того, он сначала думал, потом действовал, что для русского штабиста было очень необычным.

Ермолов очень быстро понял, что карательные экспедиции в глубь гор, которыми до сих пор грешила Россия, только разжигают темперамент противника, умеющего всегда вовремя улизнуть от так называемой нынче «зачистки» в так называемую «зеленку». Поэтому генерал приступил к делу по-суворовски непредсказуемо. Он начал планомерное продвижение в глубь гор с одновременной зачисткой не только противника, но и самой зелени, вырубая в лесах широкие просеки, с которых леса просвечивались словно рентгеном. Ермоловская тактика поршнем выдавливала горцев из лесов и гор на прозрачные равнины, где те просто вынуждены были жить по немилым их сердцу российским законам и заниматься тягостным для них земледелием. Первыми выдавливались и согласились на окультуривание и даже на свой краеведческий музей не столь кровожадные ингуши и еще несколько племен.

Чтобы усыновленным впредь не захотелось вернуться к своим общинно-родовым манерам, Ермолов построил три крепости с угрожающими названиями: Внезапная, Бурная и Грозная. Особенно пугала последняя. Тогда никто не предполагал, что она станет столицей Чечни с нефтеперерабатывающим заводом. За что сегодня чеченцы должны были бы извиниться перед памятниками Ермолову и все отколотые ранее уши и носы аккуратно прилипнуть на прежнее место.

Наверное, война вскоре закончилась бы полной зачисткой неприятеля и вырубкой лесов. А если бы у Ермолова была современная техника, то и выравниванием горных хребтов. Но славный защитник природы, следующий государь Николай I вовремя отозвал опального генерала. За все содеянное для Отечества наказал почетной пожизненной пенсией и усадьбой в Подмоскowie.

Интересно, что как только следующие за Ермоловым губернаторы и главнокомандующие отказались от его плана и, щадя леса, вернулись к карательным мерам, горцы начали одерживать одну победу за другой, словно доказывая, что бороться с ними можно только ермоловским поршнем.

Уже отшумели декабристы, сменилось два царя, началась и закончилась Крымская война, был подписан унизительный для России Брестский мирный договор, а Кавказская война все продолжалась, унося жизни все новых и новых солдат, офицеров и опальных литераторов. Как ни пыталась русская армия поймать главного бунтаря, предводителя мяузитов (первых мусульманских экстремистов, объединенных общей идеей уничтожения иноверцев) имама Шамиля, ей это никак не удавалось. Шамиль стал народным кавказским героем. О нем рассказывали легенды даже среди русских.

Казалось бы, история повторяется. Опять неуловимый Шамиль. Но нет, очень они разные, эти Шамили. Тот Шамиль не прятался за беременных женщин, не прикрывался младенцами и не считал героизмом изнасилование.

О плане Ермолова вспомнил наконец Александр II, который очень не хотел быть похожим на своих родителей в их ошибках. Переброшенными с Крымской войны армейскими корпусами стала медленно, по-ермоловски, сжиматься петля вокруг Шамиля. Есть легенда, что его брали в одном из аулов и что русские солдаты появились в этом ауле так же неожиданно, как когда-то Суворов в Швейцарии, съехав на копчике с гор.

Конечно, не обошлось и без подкупа близлежащего окружения и охраны Шамиля. Как сказал когда-то римский император Август, любую крепость может взять любой осел, если осла правильно нагрузить золотом. Война длиною в два поколения наконец закончилась. Царь лично принял плененного Шамиля как достойного противника и отправил на поселение в Калугу, выделив ему дом с садом и огородом и наказав мирно доживать свой век, разводя цветы в саду и выращивая редиску в огороде. Такая пытка для Шамиля не могла долго продолжаться, и он вскоре скончался. Успев, правда, написать завещание, в котором наказал чеченцам и дагестанцам никогда впредь не воевать с Россией. И даже, говорят, в конце сделал приписку, что нет ничего страшнее, чем смерть на садово-огородном участке.

Царь же в знак примирения набрал себе в гвардию отъявленных чеченских головорезов, красиво их одел, превратив в парадных секьюрити, наивно полагая, что таким образом навсегда решил чеченскую проблему.

Надолго в истощенном войной крае наступило затишье. Кавказу требовалось время, чтобы нарожать новых сыновей и внуков.

Самим племенам поначалу даже понравилось в составе России. Во-первых, их стали называть народами. Во-вторых, от полууправляемой богатой ископаемыми России им всегда что-то перепало... Появились такие диковинки, как школы, музей, театр, магазины, деньги, часы, железная дорога с расписным пестрым железнодорожным вокзалом и даже придавшие степному пейзажу некую изюминку нефтяные вышки, с которых всегда можно было умыкнуть пару ведер шлягерной уже в то время жидкости.

Казакам тоже постепенно становилось не до горцев. Россия решила их приручить. Отныне казаки боролись за максимальную выгоду от этого приручения, превращаясь из нарушителей в усмирителей. Их конно-нагаечные ряды стройнели, усы пышнели и еще лихастее подвигивались к небу, щеки наливались холестерином, прикормленные государством животы начинали выпадать из седел, станицы наливались добром. В конце XIX века выкрик в толпе «Казаки!» означал: спасайся кто может, а то прольется кровь. Нако-

нец-то казачество нашло выход своей генетической энергии удали и буйства в рамках государственного законодательства. После Кровавого воскресенья, подавления восстания рабочих 1905 года, мятежей в Прибалтике, Польше и Финляндии и множества еврейских погромов в народе появились выражения: «Казак — орудие производства гробовщиков» и «Кзаки лежачих не бьют, они их добивают».

Особое презрение у казаков вызывали пролетариат и евреи. Хотя одно с другим казалось несовместимым. Скорее всего пролетарии — тем, что работали, а евреи тем, что они якобы пользовались результатами этой работы. Казаки, словно ясновидящие, предчувствовали, что когда-нибудь и те и другие объединятся в своей закомплексованности и сведут с ними счеты. Действительно, пришедшие вскоре к власти и те и другие решили, что разгром казаков в гражданскую войну явно недостаточен и что гораздо спокойнее будет на свете, если вообще стереть их, как резинкой, не только из истории, но и из географии России.

Особенно преуспел в этом деле будущий «отец всех народов». Заодно с казацким сословием он решил вымарать из генетики и народную тягу к воле по всей России, от самых южных гор до северных морей. В три недели «отец» выселил и без того обессиленных казаков с их земель, растворил в общей банке «братских народов», прибавив тем самым еще один ген вечного буйства к хромосомному набору будущих российских поколений. Не веря в генетику, он оказался величайшим генетиком. До сих пор почти в каждом русском по пьянке в ресторанах, саунах, на презентациях, дискотеках и лесных полянах оживают гены казаков, которые многие, не зная истории, опрометчиво принимают за гены гусар.

Но величайший генетик, отец всех народов, был еще и величайшим мастером пытки. Причем не только физической, но и психологической. Чтобы никого из казаков впредь не тянула к себе память земли, он решил эту память подредактировать и подарил исконно казацкие земли их исконным врагам — горцам. Новый лоскуток на карте назвал автономией, присвоив ему самое дорогое для чеченцев — свой цвет на карте. Бывшую крепость Грозную, ставшую к тому времени городом, назначил работать столицей лоскутка. И одним росчерком пера решил затянувшийся спор племен-народов, какую письменность им наконец выбрать для их будущего — арабскую или латынь, подарив лично от себя с грузинским великодушием русский алфавит.

Надо сказать, от природы мысли у горцев быстры, как их кони и реки. Они быстро сообразили, что такому подарку лучше обрадоваться. И обрадовались. Из последних сил. Поняли — иначе «отец» и их растворит в этом же многонациональном растворе. Они своим общинно-родовым чутьем людей природы почувствовали в нем своего, то есть даже не отца, а пахана всех народов. Потому что он не уговаривал их дружить. Он им дружить приказал.

Все-таки Сталин был романтиком! Он верил в воплощаемость своих невоплощаемых идей. Я думаю, что и Сталин, и Гитлер, и Наполеон, и Македонский — все были романтиками. И даже Нерон! Они все верили, что могут изменять законы природы. И все любили об этом мечтать. У них была очень мощная энергия мечты. Просто их мечты были со знаком «минус». Я всех романтиков делю по-евтушенковски на романтиков-«светильников» и романтиков-«гасильников». Они были романтиками-«гасильниками». Однако, как и подобает любым романтикам, они наверняка тоже мечтали перед сном. Только о завоеваниях, уничтожении народов, о власти над миром, душами...

Пахан всех народов был одним из самых ярких и мощных романтиков-«гасильников». Он романтично верил в то, что с выселением казаков на их земле навсегда наступит спокойствие. Верил, что с открытием отдела атеизма в краеведческом музее чеченцы тут же сменяют веру в Аллаха на веру в социализм с человеческим лицом. Что во вновь открытых библиотеках чеченцы будут учить наизусть стихи Багрицкого и Демьяна Бедного, петь овцам в горах песни Лебедева-Кумача, а по вечерам танцевать в парусиновых брюках и соломенных шляпах под духовой оркестр на танцплощадках домов от-

дыха, а потом на кухнях за чаем под музыку Дунаевского обсуждать новую Конституцию.

Среди чеченцев он назначил не только секретарей партячек, комендантов, заведующих складами, но и драматургов, композиторов, писателей, поэтов. Приставил к ним переводчиков, которые по приказу партии научились переводить три запева с чеченского в девять — двенадцать поэм на русском. Наконец, пытаясь выиграть в споре с генетикой, снял фильм о любви русской барышни-свинарки и чеченского джентльмена-пастуха, который заканчивался хеппи-эндовским поцелуем на ВДНХ, а начинался шагающим стадом коров с гор под песню «Шагай вперед, комсомольское племя». Говорят, когда в аулах фильм показывали чеченцам, те хохотали, думая, что это комедия.

Он был романтиком-монстром. Он верил в дружбу народов, которые будут дружить, если из них периодически выстригать тех, кто дружить не хочет. Единственное, во что он не верил, это в генетику — в этого самого мощного режиссера истории, поэтому и стал главным минером нашего будущего, объединив и замкнув в общих границах немало самовоспламеняющихся смесей.

Однако у всех романтиков-«гасильников» есть общее. Они все относятся к людскому роду, как к послушному им министерству, которому можно ежедневно спускать сверху инструкции. Они даже считают, что могут гасить генные коды какого-либо народа или всего человечества, ссылая, расстреливая и сжигая. Но ни одному из них это не удалось, потому что *огонь генетики* — *единственный вечный огонь*. Если он затаится хоть в одной хромосомке, он все равно когда-нибудь оживет. Так произошло и с «вечным чеченским огнем». Во время второй мировой войны откуда-то из глубины множества спиралек ДНК вдруг дала о себе знать мирно дремавшая до подхода немцев к Грозному спиралька, обиженная еще Ермоловым. Множество чеченцев перешло на сторону немцев, полагая, что уж немцы-то, точно, помогут им провести вендетту ермоловским потомкам, которые столько лет унижали их школами, алфавитом, библиотеками, музеями, консерваториями, планетарием и прочими ужасами.

Правда, Грозный так и не попал в руки немцев. На этот раз они не учли огня в генетике русского солдата, у которого неизвестно порой, что откуда берется. А пахан народов тоже знал основы вендетты, поскольку тоже был истинным горцем. Он был далек от философии непротivления злу насилем. И очень не любил подставлять правую щеку, когда ударят по левой. Уже в 1944 году Сталин выделил из действующей армии более ста тысяч солдат и офицеров. Хотя на фронте шли жесточайшие бои, он ввел в Чечню отборные силы НКВД и в те же, уже традиционные три недели «растворил» чеченцев вслед за казаками в закоулках своей империи. Правда, превратившись за многие годы из мастера психологической пытки в художника этого дела, сохранил за ними те земли, которые сам же и подарил. Мол, они — ваши, но любить их будете отныне издали. Так непослушному сыночку дарит новую игрушку строгий отец и тут же прячет ее в шкаф. Мол, она твоя, но не отдам, пока не поумнеешь.

Несмотря на то что монстр становился с годами все циничнее, он все-таки оставался романтиком. На этот раз он поверил, что растворенные чеченцы никогда уже не вернутся на подаренные им земли, что история будет развиваться по его инструкциям. Даже в страшном сне не могло ему привидеться, что когда-нибудь начнется перестройка созданного им «министерства» и следующие за ним отцы-романтики, как саперы-самоучки, начнут разминировать заложенные им мины, по очереди наступая на каждую из них.

Надо отдать должное чеченцам. На чужбине они не стали растворяться, как казаки, прибавляя к хромосомной коллекции русского народа еще

одно несочетание. Невзирая на долгие годы изгнания постарались сохранить свое самосознание в различных мафиозных структурах.

Интересно, что самое спокойное время на беспокойном чеченском лоскутке наступило после того, как с этого лоскутка выселили и чеченцев, и казаков. А тех, кто остался жить, просто не хватало для образования взрывной критической массы. Нельзя же разжечь костер из одних спичек.

Есть люди, которые понимают только силу. Они считают, что если ты в чем-то идешь им навстречу, делаешь уступки или вообще что-то хорошее, значит, ты или дурак, или нездоров, или у тебя не хватает сил, чтобы диктовать свои условия.

Многие считают, что это основная черта мусульманского мира. Мол, даже в Коране приветствуется убийство иноверца. Неправда. Пророк Мухаммед сформулировал такую же нравственную религию, как и все остальные пророки. Мусульмане, в частности наши татары, которые живут по Корану, могут быть примером для многих сегодняшних христиан. Они чистоплотны, почитают своих родителей, старших, соблюдают посты, молитвы, помогают бедным... Пророк Мухаммед запрещал алкоголь, азартные игры, призывал строго карать за измену, воровство и убийство. В мусульманской религии как самой поздней из религий другая беда. К тому времени, как появился на свет Мухаммед, христианство и буддизм не приняли те народы, которые не были готовы к вере в одного бога, задержались в язычестве. Сознание многих из этих народов не могло понять учения нового пророка. Были среди них и такие, которые приняли мусульманство лишь потому, что оно разрешало многоженство. Они приняли удобную для них обрядовость, не вдумываясь в смысл проповедей Мухаммеда. Поэтому в мусульманском мире так скоро развились экстремизм, вахабизм и другие секты. Между экстремизмом и мусульманством такая же разница, как между христианством и инквизицией. Любой мусульманин, признающий кровную месть, не мусульманин, а экстремист, поскольку пророк мусульманства Мухаммед кровную месть категорически отрицал.

С мусульманами можно жить мирно, а с экстремистами нельзя договориться. Их можно только выдавливать ермоловским поршнем. Это особенно хорошо знает сегодня Израиль. У них своя Чечня под боком. Причем не за две тысячи километров, а рядышком, как у нас в Подмосковье. Их последний конфликт вспыхнул, потому что под напором Америки Израиль хотел договориться с экстремистами по-хорошему. Значит, у Израиля ослабла армия — тут же сделали вывод экстремисты. И начались взрывы, террористические акты.

Ермолов утверждал, что с чеченцами-экстремистами договариваться бессмысленно. Если с ними садишься за переговоры, они считают, что у тебя кончились патроны!

Вахабиты, ненавидя Ермолова в первую очередь за его высказывания, всеми своими силами и теперь доказывают, что, к сожалению, он был прав. И как только первый сапер-самоучка, отец перестройки, позволил им вернуться на исконно не их территории, они тут же решили, что у русских «кончились патроны». Следовательно, с русскими можно теперь не считаться. Вряд ли кто-то из них в тот момент вспомнил о построенных Россией для них библиотеках, музеях, школах, железнодорожном вокзале, консерватории, фильме «Свинарка и пастух» и о вере еще одного романтика-перестроенника в то, что они, вернувшись, будут отныне заниматься выпечкой хлебобулочных изделий и вышивкой крестиком на пятаках.

Ну а когда следующий наш отец, он же дедушка русскоязычной демократии, начал, бросая по всем закоулкам бывшей империи «русскоязычных соотечественников», выводить отовсюду войска, втайне надеясь, что ему за это дадут Нобелевскую премию, как и его предшественнику за развал Берлинской стены, они и вовсе уверились, что на Россию можно больше не ог-

лядываться. «Даже оружие побросали, нам оставили. Значит, боится, боится нас Россия!»

Невольно после такого прочтения истории болезни русско-чеченской хроники напрашивается вопрос: а на кой черт нам вообще эта Чечня нужна? Мне лично она не нужна, моим знакомым не нужна, не нужна друзьям моих знакомых, знакомым друзей... Так когда-то проводили субботники под руководством коммунистической партии: тебе это надо? Нет. А тебе? Тоже нет. Это никому не надо. Но раз надо — значит надо! Интересы Родины!

Понимаю, очень хочется отомстить за все теракты, взрывы, за погибших, покорить, как говорили у нас во дворе, «дать по соплям». Скорее всего при нашей жизни вся история этим и закончится. Недаром сегодня, почувствовав силу, даже многие чеченцы-экстремисты стали переходить на нашу сторону. И делают вид, что нам верят, после чего мы делаем вид, что верим им, а они делают вид, что верят нам, что мы верим им.

Но, учитывая двухсотлетнюю историю, мы забываем, что, покоря Чечню, лишь заглушаем на время симптомы болезни и тормозим ее историческое развитие.

К тому же, покоря Чечню, мы тормозим ее историческое развитие. Более двух столетий мы мешали чеченцам развиваться по их законам. Если же учесть, сколько беды мы принесли в их горы своими вековыми карательными зачистками и мародерством, то станет понятно, как они нас ненавидят всем своим общинно-родовым хромосомным набором. Несколько поколений наших обоюднo варварских народов должны жить параллельно друг другу, чтобы изжить обоюдную ненависть из озлобленных хромосом. Мы довели их до того, что многие из них уверены — за убийство русского души в раю будут обслуживать сорок невинных девушек.

Очередное укрощение Чечни — очередное преступление против исторической мудрости. И зачем оно нам?

Грузия-ежик клянется теперь в верности НАТО. Мечтает ошетиниться их иголками, российский нынче — не колючие. Азербайджан — с Турцией. А мы — с оставшимися от дружбы с ними племенами-прокладками, как с гантелями на ногах, шагаем в наше светлое капиталистическое будущее. Для чего они нам? Чтобы снова начать им строить школы, библиотеки, консерватории? Но люди, которые считают геройством изнасилование, мужеством — захват роддома, толком не знают проповедей собственного пророка Мухаммеда, вряд ли будут работать библиотекарями и музейными работниками. Такие люди все равно будут заниматься работоторговлей, воровать людей, нефть, грабить банки, создавать мафии и заниматься любимым для них горно-обогачительным делом, что означает: спустился с гор, обогатился — и обратно в горы. Развитой рабовладельческий строй — их светлое будущее.

Да, они тоже любят порассуждать о том, как им нравится демократия. Но она им нравится, когда они в нее заезжают ненадолго, как по туристической, — повеселиться, оттянуться, приодеться. Наша и западная демократии для них развлечение, что-то вроде казино. Дома они все равно будут жить по законам шариата и будут продолжать нас с радостью взрывать. А Запад за это будет нас винить и клеймить позором за нарушение прав человека, за неадекватные наши действия!

Однажды на концерте меня в записке спросили: как бы я решил проблему Чечни, если бы мне дали власть? Я ответил:

Я бы подарил ее тем, кто за нее хлопочет и ей помогает: Грузии, Турции, Америке, Совету Европы и, конечно же, странам Балтии.

Но вернул бы им, чеченцам, не тот подаренный Сталиным лоскуток, а исконно их, чеченскую, территорию в горах, где испокон веков жило племя нахчо! Сталинские законы считаются преступными против человечества. Поэтому ни один Гаагский суд не сможет это решение опротестовать. И не надо будет беспокоиться о русских в Чечне. Все русские живут на исконно русских казацких равнинных землях. В горах русских никогда не было.

Установил бы границы по Тереку и по горам, как это было в позапрошлом столетии до начала Кавказской войны. Отгородился бы от вечного бунта таким частокоролем из всего наследства былой советской мощи. Сунулись на нашу равнину — забрали фотоэлементы и на километр накрыли всё, выровняли вместе с горами. Терек вскипел — не переплывешь.

Когда началась очередная чеченская война в 1994 году, я возглавлял фонд помощи русским людям в ближнем зарубежье и тогда написал записку премьер-министру, в которой предлагал перевезти всех русских из Чечни, дать им статус беженцев, после чего оттеснить чеченцев за Терек и разделить. Кто-то из советников от имени премьера ответил мне: «Это нам невыгодно». Я не сразу понял, насколько точен был его ответ. Действительно, ИМ это было невыгодно. Выгоднее было бомбить Чечню, потом посылать деньги на восстановление, потом снова бомбить уже якобы восстановленное. А сколько бы денег могло сэкономить государство, и насколько спокойнее мы бы сегодня восстанавливали наш обмен вещами!

Интересно, в тот вечер моих фантазий со зрителями ни один человек из двухтысячного зала не прислал мне обвинения в непатриотизме или гневно-го возражения: мол, нельзя создавать прецедент. Другие республики тоже захотят независимости: Татарстан, Башкортостан и прочие «станы». Видимо, среди зрителей не было чиновников и штабистов, а люди мыслящие прекрасно понимают, что после такого раздела Чечне придется выпускать свою валюту, паспорта, самим учиться выращивать хлеб, строить дома, школы, открывать свои производства и, страшно сказать, протягивать свой нефтепровод. Зачем это нужно Татарстану, если у Татарстана есть наш нефтепровод, наши производства? Как только республики увидят, что произойдет с Чечней после отделения, «все “станы” будут в гости к нам». Ведь все они кормятся дружбой с нами, а не войной.

Те, кто мечтает отомстить Чечне, должны понимать, что отделение ее будет самой страшной нашей мезью. Ведь если война закончится, большинству мужского населения Чечни нечем будет заниматься, кроме как воевать друг с другом за право стать главенствующим родом. Другое дело, как это сделать, когда столько людей сегодня живет и кормится от этой войны. Тут должен вмешаться наш президент и намекнуть своему окружению, что на этот план будут выделены немалые средства из бюджета и нужно немедленно организовывать разные фонды помощи новой стратегии. Но сразу предупредить, что украсть разрешается не более десяти процентов, как это принято в цивилизованных странах. Иначе цивилизованные страны опять обзавидуются и не простят нам наши долги им.

Война прекратится сразу, как только мир станет выгоднее нашим кормленцам!

Понимаю, те, против кого я сейчас фантазирую, назовут меня «непатриотом». Но благодаря патриотизму политиков, президентов, королей, римских пап, паств, разнообразных конфессий и просто народных зомбированных толп история Европы — сплошная непрекращающаяся мясорубка. Если два патриота своих дворов встречаются в подворотне — это верные синяки. Если не могут разойтись политики-патриоты — это тысячи, а то и миллионы погибших людей.

Слушаться патриотов — значит всегда воевать.

Кстати, об этом писал в своих дневниках еще Лев Толстой.

Конечно, все эти фантазии сегодня так и останутся фантазиями. Я это понимаю. И не только я. Многие сегодня вообще стараются не думать о Чечне, отмахиваются от мыслей о ней, как от навозной мухи. Им даже нравятся подредактированные государством и его помощниками нынешние чисто совдеповские позитивные репортажи из Чечни. Мол, да, жертвы есть, но могло быть еще хуже.

Однако забыть о Чечне, пока гибнут наши солдаты, пока матери не понимают, за какую Родину гибнут их сыновья, не удастся. О проблеме нель-

зя забыть, ее можно только решить. А как гласит опять-таки древняя мудрость:

Нерешаемых проблем нет! Просто, чтобы решить любую проблему, надо сначала решиться ее решить.

На это наша голова как раз, видимо, и не способна. Поэтому и приятно бывает хотя бы пофантазировать. Например, о том, что Чечня уже не наша, войны нет. Молодые люди с таким же задиристым выражением лица, как у Димы, первого сентября направляются в институты, а не на войну. Граница с Чечней на амбарном ядерном замке. На улицах столицы не сидят орлами на корточках, отдыхая, как на зоне, кавказцы. Пару раз, наткнувшись на запретную границу, энергия воинствующего чеченского пыла хлынула в направлении хлопотающих за них стран. По всей Турции крупной рассыпались чеченские мафии. Они же рэкетнируют грузинские рынки, угоняют американские самолеты и набирают рабов в Совете Европы. Правда, из членов Совета Европы рабы получатся квелые. Раб ведь работать должен, а не говорить. Чеченцы быстро разочаруются в них и потянутся за более профессиональными рабами в страны Балтии, где даже улицы названы именами их боевиков-командиров. В Риге улицу Космонавтов, и ту переименовали в улицу имени Героя Дудаева.

А разве не приятно пофантазировать, что уже через пару лет Америка с Турцией проклянут наш «подарок». Грузия попросится обратно в состав России. И даже, может быть, в Латвии поймут в результате такой дружбы с чеченцами без посредников, что Гагарин все-таки больше сделал для человечества, чем Дудаев.

Думаю, очень скоро после нашего развода чеченцам, как и новорусским корешам, перекроют въезд в большинство стран, запретят вход в мировые казино и не будут их подпускать уважающие себя банки. Поэтому можно даже нафантазировать, как скоро чеченцы сами предложат нам свою дружбу и поклонятся в верности, потому что без банков им будет совсем невмоготу. Тем более без российских, которые так способствуют развитию творческо-финансовой мысли. К тому же среди самих чеченцев все больше появляется таких, кто хочет, чтобы их дети учились в школах и в консерваториях, а не в лесах под зеленкой. Да и Россия к тому времени без геморроя-гноиника восстановит быстрее обмен веществ и сможет войти в новый виток дружбы не с войной, а с красиво упакованной колбасой, гамбургерами, цыплячьими ножками и не столь строгой, как на Западе, финансовой системой — лучшим залогом для политической дружбы.

Кстати, подобные неожиданности потепления уже случались даже в новейшей истории России. В тех же странах Балтии очень скоро после «развода» коренное население в быту стало гораздо лучше относиться к нам. Латыши начали снова смотреть российское телевидение, ходить на спектакли гастролирующих у них российских театров. Литовцы, попав под американский пресс, возненавидели американцев пуще русских. Даже эстонцы стали потихоньку вспоминать русский язык, понимая, что иначе много не заработаешь. Финны взяток не дают, а русские из чувства патриотизма дают их, только если с ними говорят на их родном языке. Ну а многочисленные евреи, уехав от волн советского антисемитизма, даже в западных, богатых колбасным счастьем странах, поголовно ностальгируют теперь по России. У кого ни спроси, ответ один — мы любим Россию, нам ее не хватает. Видимо, нас пока можно любить только издали. Но, конечно, только пока. Пока мы не научимся осуществлять свои фантазии и мечты и решаться решать наши проблемы.

Лично я хотел бы, чтобы мои фантазии сбылись уже сейчас. Но чем больше я смотрю стекающиеся со всего мира новости с их кошмариками и кошмарищами, тем отчетливее понимаю, насколько мои фантазии запоздали, и с грустью думаю, что прав был нефантазер Ермолов. Выход теперь один — поголовная зачистка, а потом уже фантазии: мол, если бы да кабы

да вовремя... Ну ничего, может быть, эти фантазии понадобятся и будущее поколение не захочет наступать на наши «грабли».

В общем, какие только глупые фантазии не баламутят воображение, когда часто смотришь телевизор! Я чаще всего смотрю его в Риге с мамой. Если во время «Новостей» мама задремлет, то ненадолго, к концу просыпается. На десерт в «Новостях» всегда рассказывают о чем-то, как это принято говорить, «позитивном». Суровый, с горчинкой в начале новостей голос диктора к финалу передачи добреет. Он становится похожим на голос советского диктора, который рассказывает нам о наших индустриальных успехах, о том, сколько выплавляли стали и чугуна и произвели соды в этом году на душу населения. Поскольку нынче о душе забыли, то диктор тем же голосом сказочника рассказывает нам о родившемся в московском зоопарке бегемотенке или свадьбе цыганского барона. Однажды мама открыла глаза, когда показывали Московский бал шляп.

Да! В далеких российских городах похороны десантников, голод, радиация, повышенный градус ненависти, беспросветное будущее, нелогичная жизнь, а на экране бал шляп! Каких только шляп здесь не было! Похожих и на колеса, и на тлеющие на голове костры, и на клумбы, и на кимоно, и на ветки каких-то диковинных растений, и на поехавшие соломенные крыши. После того что мы слышали в начале «Новостей», такой бал шляп представлялся некой фиестой в сумасшедшем доме. Разгул русского целлюлита: здесь бизнесмены и их жены, чиновники и даже священники. Когда-то так же шел бал на Аничковом мосту. На нем были Пушкин, Гончарова, царь. Потом был застрелен Пушкин, были написаны стихи на его смерть Лермонтовым, и Лермонтов, в свою очередь, погиб на Кавказской войне.

Увидав священника на бале шляп, мама встрепенулась. «Уладить все конфликты в мире могут только главы конфессий,— говорит она мне.— Ты подай эту идею кому-нибудь, когда у тебя будут брать интервью».

Я соглашаюсь: «Действительно, война между народами невозможна, навоевались! Теперь если и будет мировая война, то между паствами. Ты права. Надо об этом упомянуть в каком-нибудь интервью».

А сам думаю: мама уже не верит в государственное мышление государственных работников, правда, она еще верит в священнослужителей. Это все-таки здорово! Я не буду переубеждать ее. Мне не хочется рассказывать ей, что церковь торгует сигаретами, имеет таможенные льготы на нефть, цветные металлы и что проверять ее боится даже налоговая полиция — вдруг отлучат от церкви.

Словно в подтверждение моих мыслей, кто-то из жен бизнесменов хвастается своей шляпкой, похожей на лист лопуха с гнездом для ворон наверху. Она с гордостью рассказывает телезрителям о том, что ее шляпку освятил ее личный друг — владыко, который эксклюзивно отпускает ее эксклюзивные грехи в своем эксклюзивном «бутике-храме», и поэтому она рассчитывает на один из эксклюзивных призов.

— Слава Богу, что на этом балу нет президента,— говорит мама.

Она верит нашему президенту, она постоянно приводит мне доказательство его преданности России. Мне тоже хочется ему верить, но я пока боюсь. Мне надо, чтобы сначала кончилась война.

2000 год

Игорь ВИШНЕВЕЦКИЙ

Неуловимое отсутствие

Писать о Владиславе Отрошенко — сущее удовольствие. Во-первых, потому, что за всем, что он публикует, будь то художественная проза (в жанрах от миниатюрного рассказа до романа), эссе или даже стихи в подражание японским хокку, легко узнаваема одна тема: торжество правды вымысла над лживым правдоподобием. Во-вторых, никто — повторяю: никто — не писал до него по-русски столь обезоруживающе легко и одновременно счастливо. Русское веселье вообще не бывает легким, а значит, и до конца счастливым. Не бывало оно таковым и в литературе — до Отрошенко. В-третьих, чем больше я читаю то, что он пишет, тем меньше я уверен в чем-либо, что знал, как мне казалось раньше, об этом писателе *достоверно*. Его творчество да и сама личность Владислава представляются мне ныне блистательным образцом ускользания от каких-либо жестких определений, примером неуловимого отсутствия среди нас. Но чему удивляться? Владислав Отрошенко знает о бесконечной силе порождающего воображения такое, о чем большинство пишущих и читающих и не догадывается.

В эссе Отрошенко «Последняя метаморфоза Овидия», лишь псевдоисследовательским тоном отличающемся от его безудержно фантастической «художественной» прозы, неопровержимо доказывается, например, что Овидий сам придумал себе изгнание на берега Черного моря, которого и в глаза не видывал: только по книжкам знал о тамошнем климате, фауне и нравах прибрежных жителей; что его провальные «Тристии» и «Письма с Понта» — так их судит рассказывающий нам увлекательный сюжет Отрошенко — тем не менее как замысел превосходят и «Метаморфозы» и «Фасты», не говоря уже о «Науке любви». В знаменитых римских поэмах была правда опыта, мифической традиции и т. п., а здесь — чистый вымысел, победа художественного проекта над реальностью. А сам Овидий между тем сидел все последующие годы в своем италийском имении и наслаждался воображаемыми муками несправедливого изгнания. О котором, утверждает Отрошенко, мы не найдем никаких упоминаний в доступных нам исторических свидетельствах современников. Дух захватывает. Расследование подкреплено множеством ссылок, большинство из которых не трудитесь искать в указанных источниках. Они там, может быть, и действительно имеются, да не в том суть. Правдоподобие исторического повествования давно уже опрокинуто воображением самого Отрошенко, которое заражает сильнейшей энергетикой все, что Отрошенко пишет.

Отрошенко вообще любит тех, кто предпочитает делу слова (в этом единственная точка его соприкосновения с Великой Русской Традицией), однако слова у него не занудливо-учительны, а веселы. Конечно, его любимый персонаж — Гоголь. Гоголь — до некоторой степени — и литературный образец для Отрошенко. Но только до некоторой степени; потому что у Отрошенко нет гоголевского надрыда, когда выпущенное на волю воображение начинает представлять освободившему его было выдумщику чем-то *двойнически-демонически-узурпаторским*, таким всемирным Виём, взирающим из-под приподнятых век и тычущим железным пальцем в распластанного перед ним писателя. Отрошенко отпускает собственное воображение на волю и смотрит на него со стороны посмеиваясь: ничего, пусть себе резвится, пусть балуется пиротехникой, голуба, а мы тут покурим пока. В этом виден отличный от гоголевского темперамент — очень легко узнаваемый, ибо и я родился в тех краях, где провел ранние годы Отрошенко.

Темперамент этот северные ошибочно путают с украинским. Между тем подлинный украинец Скворода, Гоголь, Шевченко, Нестор Махно, Никита Хрущев ли — тут я позволю себе некоторое обобщение — более мечтателен, однако и более индивидуалистичен. Есть в украинце — от мечтательности происходящий — и близкий северным русским не сердечный, но головной какой-то романтический заворот. Климат на Центральной и Восточной Украине мягче, что ли, больше к парению *по-під хмарами* располагающий, чем на Дону. Не таков темперамент южнорусский.

В памяти тех, кто живал подолгу в дельте Танаиса-Дона, среди жгучих степей, плодороднейших садов и огородов вдоль рукавов и ериков, выходящих прямо в несоленое, слегка тинистое у берегов Азовское море, которое греки именовали не морем, а Меотийским озером, остается в первую очередь здешнее выжигающее цвета и все наносное, всепроникающее, палящее с безоблачного неба солнце. А зимой — при слепящем солнце — здесь случаются и жуткая стужа: климатический феномен, которого не смогли вытерпеть пришедшие сюда во время второй мировой войны немцы. Непришлым же, исконным донцам такие перепады нипочем. Зато и места для мерихлюндии, к которой так располагает затянутое облаками небо Центральной России, не остается. Какая уж тут грусть-тоска: либо радуйся сухой бане стихий, либо поезжай искать другие, еще более поражающие воображение просторы. Жители этих степей действительно склонны к путешествиям, ища от добра добра, в них есть испепеляющее, от впитанного в детстве жара, внутреннее, ничем не удержимое беспокойство (ну взять хотя бы публициста Солженицына, посещавшего школу в двух минутах ходьбы от дома, в котором прошло мое детство). Однако забыть о своей придонской огненной равнине им и в самом удивительном жизненном странствии не под силу. Таков, пожалуй, и писатель Отрошенко.

Гоголь у Отрошенко тоже оказывается безудержно-солнечным, *не украинским*, а южнорусским, без раздражающей душу тоски «Страшной мести» и лирических отступлений «Мертвых душ». Он счастлив, прозрев в последней точке второго тома своего романа прежде «Непроявленную книгу», книгу Авьякта Парва (слово, как признался потом Отрошенко, выдуманно им, так что не ищите его в словарях). И тот же Гоголь глупоко несчастен, когда «светозарная точка» эта улетучивается: «Сохрани он — хотя бы еще на несколько часов, хотя бы до обеда у Аксаковых — эту пылкую веру в последнюю точку, решился он на высшее изъявление преданности своему божеству, то есть на утверждение нереального, невозможного, воображаемого перед лицом реальных чувствований, благодарное божество, именно этого и ожидавшее от своего сообщника, уже не посмело бы удалиться...» После чего писателю остается только одно: возвратить написанный было второй том «Мертвых душ», ускользнувший снова в «сумрачную область непроявленного», точнее, заполненные омертвевшими враз словами листы — первоначальной стихии пламени: ««...Агни, в область земного света», как пели вдохновенные риши» (эссе «Гоголь и призрак точки»; для Отрошенко антиподом Гоголя оказывается Шопенгауэр, от «последней точки» не отказавшийся, о чем см. другое эссе — «Безумие мировой воли»). Повествование о Гоголе, Отрошенко с предельной откровенностью говорит о собственном отношении ко всему, заносимому им на бумагу. И его *проявляющаяся* на чистых листах речь тоже есть утверждение реальности часто *неуловимого и отсутствующего* для не переживших умственной перемены, не снявших перегородки между «сознательно-культурным», поддерживаемым подпорками традиций и воспитания, и — предшествовавшим ему — «досознательным», стихийно-мифическим. Что уж говорить о героях прозы Отрошенко!

Отрошенко часто именуют казачьим писателем. По любимой этимологии историков казачества самоназвание «кос-сака» происходит от скифского «белый олень», олицетворявшего солнечный свет животного-тотема степных древнеиранских племен, до сих пор — как «елень пронзен стрелой» — помещаемого в самый центр герба Донской области. Насколько верна этимология, уже не важно; но то, с чем сознательный донец желает отождествлять себя, — показательно. Кстати, проведи учебные анализы хромосом у населения Нижнего Дона, неизвестно, какие еще предки обнаружались бы у жителей приречных городов, хуторов и станиц. Сами же казаки русскими себя не считают.

В цикле миниатюр «Двор прадеда Гриши» и замечательном рассказе «Старуха Тамара» мир родовых тотемов оживает.

На «Дворе прадеда Гриши» обитают не только сам бессонный хранитель пчелиного улья и как бы его бог прадед Гриша. Есть там и горбатый трехсотлетний дед Семен, питающийся углем и живыми раками, сам когда-то царь раков с громадными, превратившимися по прошествии многих лет в вислые руки клешнями, про которого доподлинно известно следующее: «Однажды Семен-горбатый так сильно замаялся от жары, что ему стало невмоготу ползать по суше. Он кувыркнулся в колодезь вслед за

ведром — одни только сапоги мелькнули. Во двор он больше не возвращался — уплыл в Бакланцы к своим ракам...» (это место уже цитировали писавшие об Отрошенко, но удержаться от нового цитирования трудно: так убедительно-просто сказана неправдоподобная вещь). Есть и дочь Гриши и прабабки Анисьи — кикимора бабка Муха, безропотно залезающая по приказу домового в свою «темную могилу». Но как жизнь, так и смерть их, «живших и труждавшихся на этой земле», нестрашна. Как нестрашен лежащий на дне Мертвого Дона и высылающий к старухе Тамаре очеловеченных рыб ее муж карлик Ермолай. Животное царство степи поддерживает своей круговой порукой память рода, в которой, как в утраченной сияющей точке из эссе о Гоголе, — «там, в твоём настоящем пребывает веками немеркнувший свет, там вечный праздник нашего воскресения» (слова, заключающие «Двор прадеда Гриши»).

«Новочеркасские рассказы» содержат в себе иной ракурс. Как и во «Дворе прадеда Гриши», повествование — от первого лица. Но «я» поставлено в историческую перспективу 1960—1970-х годов, хотя фокус и слегка размыт намеренными анахронизмами. Перед читателем рассказ о становлении сознания мальчика в выстроенном по классицистскому, начала XIX века плану среди палящих степей Новочеркасске — южнорусском Петербурге, задуманном как столица Донского края, да после революции потерявшем свой высокий статус. Рассматриваемые в утренний телескоп из Новочеркаска ближняя река Аксай и дальний Дон у «пестрого края утренних небес», городские сумасшедшие и юродивые, бормочущие над разморенными жабами, стекающие к Аксаю улицы и тенистые сады, носящие в речах жителей дореволюционные еще названия (как мне это знакомо по соседнему Ростову!), дивный Войсковой собор (где когда-то служил и мой предок), колядки и попевки (их слышал в детстве и я), азы любовной грамоты, таинственный бледнокожий латыш, обладающий колдовской почти сексуальной и интеллектуальной притягательностью для веселых соседей-«блядушек» (на деле же — карточный шулер, обыгрывающий командированных офицеров), «поп Васёк», грозящий звездам при известии, что и его церковь скоро превратят в планетарий (отголосок антирелигиозных прожектов Хрущева), никогда не появляющаяся на людях попадьё Анюта, чье лицо обезображено шрамом, — предмет первой пылкой, рыцарственной влюбленности героя, и много еще, чего не пересказать. Но за дивным, по-стихотворному, с кочующими мотивами и образами, плавным ритмическим языком изложенным повествованием — чего стоит одно описание места, где живет бесприходный поп и его попадьё: «Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневевших кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью окрестному подвижному миру», — видна бесконечная благодарность времени, полному не осознанной до конца возможностей и превращений. Казалось бы, лучше-то и написать об этом времени нельзя.

Между тем нашелся унылый обозреватель текущей словесности, сморозивший следующее: перед нами очередная литературная вариация на тему счастливого провинциального детства; «и Борхес читан, и Шолохов», отчего «читателю попроще», дескать, «хочется закрыть книгу или журнал на второй странице». Степень эстетической глухоты высказавшего это критика оставляю в стороне. Хочу лишь заметить, что у выраставших в 1960-е и 1970-е годы на Дону никакого пиетета к вечно — прилюдно — мертвецки пьяному Шолохову не было. *Такого писателя просто не существовало.* Помню, с каким трудом продирался, сидя на берегу реки в казачьем хуторе, сквозь словесно и эмоционально мне, на Дону выросшему, чужую прозу «Тихого Дона»: так романа и не осилил до конца. Не слышал, чтобы кто-то из знакомых мне казаков произнес хоть слово одобрительное про этот «казачий эпос». Что же касается Борхеса, то сходство — в смысле создания интеллектуальных лабиринтов — если и есть, то в самых ранних вещах Отрошенко.

Ведь если говорить о литературности у Отрошенко всерьез, то единственной случаем сознательной литературности является цикл повестей «Персона вне достоверности». Собственно, с этих повестей и началась писательская известность Владислава, хотя был до них и еще один художественный текст о литературе — роман о Сухово-Кобылине «Веди меня, слепец». Помню первое впечатление от повестей, из которых начальные две мне привелось прочитать до их публикации. Отрицающий реальность прошлого и будущего и переживающий все стадии роста сознания в едином «неделимом и вечном Настоящем» С. Е. Кутейников, чья затейливо исчезающая биография рассказана со множеством ссылок на никогда не существовавшие донские источники 1910-х годов («Прощание с архивариусом»), тамбурмажор Всевеликого Войска Донского Сальвадор Антонович Романо-Барабанчиков, он же буддийский монах в королевстве Бутан, в своем тамбурмажорском воплощении рассуждающий о метаморфозах Единого и иллюзиях времени («Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия»), авантюрист д-р Станислав Модестович Казин,

профессорствующий в никогда не существовавшем в штате Айова Лютер Колледже и исследующий «дивные ризы» пространства на предмет высвечивающих сквозь них «НЕИЗБЕЖНЫХ ТЕКСТОВ, ПРИРОДА КОТОРЫХ ТАКОВА, ЧТО ОНИ МОГУТ БЫТЬ НАПИСАНЫ ДВАЖДЫ, ТРИЖДЫ И МНОЖЕСТВО РАЗ СОВЕРШЕННО НЕ ИЗВЕСТНЫМИ ДРУГ ДРУГУ АВТОРАМИ» («Тайны жалонёрского искусства»), мир «подвижной реальности» сновидения и безумия, наконец («По следам дворцового литавриста») — да, радовался, читая эти тексты и я, у нас тоже могут писать не хуже того же Борхеса, Октавио Паса и других латиноамериканских знаменитостей. Четыре повести, образующие цикл «Персона вне достоверности», несомненно, принадлежат контексту, задаваемому самыми живыми из нынешних локальных литератур — латиноамериканскими. Но спустя много лет я понял, что более поздние вещи, сильнее окрашенные *couleur locale* *cosaque*, мне почему-то милее.

Слияние пресловутой литературности со стихией мифа происходит в маленьком, меньше чем на сто страниц, романе Отрошенко «Приложение к фотоальбому» — самой фантазмагорической семейной хронике, написанной когда-либо по-русски. Повествуемый, как и «Персона вне достоверности», лицом, находящимся вне времени где-то «в Королевстве Бутан», роман этот переворачивает отношения материнства, отцовства и сыновства. Многочисленные братья Малаховичи, годящиеся по разнице в возрасте друг другу в отцы и дети, отстраненно именуются «дядюшками», в то время как отец их, бравый новочеркасский казак Малах, затерян по возвращении с мировой войны где-то в семейном чулане в пыли и безмолвии, а матушка Аннушка словно и лишена вовсе способности стареть. Все они одновременно и родители, и дети, и восприимчики друг другу. А историческое время — излюбленные Отрошенко 1910-е — едва ли более исторично, чем тот же период в «Персоне вне достоверности». Есть, наконец, и воплощенная противоположность неразделимого родового Единого с его чередой взаимопревращений — хозяин странствующего цирка грек Антипатрос (!), подлинный отец одного из Малаховичей: «самого лучшего в мире дядюшки» Семена. Сцена соблазна им Аннушки — одна из наиболее смешных в стремительном романе, образец пиротехники лирического воображения, когда оно — проявленное — пристыжает унылое правдоподобие:

«Он взбежал по высоким ступенькам к парадным дверям, распахнул обе створки и вошел — в белом фраке и синей чалме, украшенной алмазным пером; из ушей его изливались голубые струйки огня; сотни дивных жемчужин, точно крохотные планеты, вращались в его усах: они озаряли весь его лик едва уловимым сиянием, нежно искрились, расточая свой перламутровый блеск, и при малейшем движении мага ярко вспыхивали разноцветными огоньками, мгновенно выстраиваясь в диковинные созвездия. Аннушка просто остолбенела от изумления, завидев своего красавца. Она хотела было рассказать ему обо всем, что приключилось с Малахом, но не успела промолвить двух слов, как он замахал руками и знаками ей показал, что ему уже все известно. В доказательство этого он взял свою голову, приподнял ее так, что она совсем отделилась от тела, тихонько встряхнул ее — представляете? — он встряхнул ее как шкатулку, и она вдруг разинула рот и голосом самого Малаха протужно закричала:

— Ура-а-а-а!

А потом он приблизился к Аннушке, наклонился к ней и негромко сказал:

— Есаул совершенно прав, драгоценная Аннушка... Твой Малах не вернется с войны.

Он произнес эти горестные слова с таким любовным волнением и с такой изысканной нежностью, что Аннушка тут же и обомлела. Грек подхватил ее на руки, отнес в спальню».

А окрест этого волшебства — как сказано в одном из «Пасхальных хокку» Отрошенко —

Полуденный зной в степи.
Корова неспешно лижет
Сарматской Бабы гранит.

Прозу Отрошенко в конечном итоге хочется сравнивать не с другими литературными явлениями, а с природными феноменами. С ярким солнечным ветром над равнинами Нижнего Дона, например. Вроде бы и плещет в степных топотах, да и нет его. А среди современных русских прозаиков и вовсе нет на Отрошенко похожих.

И это хорошо.



Ландшафты хеппи-энда

Мне кажется справедливой мысль, высказанная Сергеем Юрским (ссылавшимся в разговоре на кого-то, чье имя я, к сожалению, не запомнила), что на мрачный финал имеют право только гениальные произведения, а все остальные должны давать читателю и зрителю хороший конец. С другой же стороны, гениальность и просто талант — вещи не только не доказуемые, но и сильно скомпрометированные. Можно раздеться догола, полаять на прохожих и после этого считаться гением. Или прикрыть шоколадкой бутылку портвейна. В общем, произвести нечто, служащее сырьем и поводом для рефлексий теоретика, уже гораздо более насыщенных литературой. В самом начале процесса (например, при рождении замысла романа) предполагаемая гениальность есть субъективное ощущение автора: приятное волнение от нескольких ярких, обрастающих взаимными связями, точек сюжета. И если одна из этих точек располагается в финале, можно считать, что автор занят не пустыми мечтаниями и замысел воплотится достаточно близко к «идеалу», существующему у автора в голове.

Грезить о том, как напишется книга, — дело хорошее. Но возможно ли при этом наперед радоваться радостью читателя от хеппи-энда? Мне кажется, что вряд ли. Хеппи-энд — фигура слишком простая в исполнении, она не греет самолюбие и не питает творческой мечты. Ликование читателя по поводу обручения влюбленных и ликование писателя из-за смерти главного героя (Гамлета, например, или князя Болконского) — переживания разного качества. А если учесть, что субъективные ощущения талантливого литератора и графомана, по-видимому, близки, то долг перед читателем, желающим выйти из книги в лучшем психологическом состоянии, чем из большинства событий своей реальной жизни, систематически не выполняется.

Сегодня хеппи-энд характерен для массовой литературы, которую можно уважать за привитие массам навыков регулярного чтения, но которую следует считать все-таки не искусством, а художественным ремеслом. Здесь хеппи-энд — обязательный пункт производственного договора, важный параметр вещи, которую автор берется изготовить. Одновременно он — стилеобразующий фактор, органический элемент творческой системы, в которую автор включен. Иначе говоря, безударный «открытый» финал либо ударный трагический был бы в дамском любовном романе такой же безвкусицей, как и бракосочетание героини с неожиданным принцем в прозе, допустим, Петрушевской. Совпадение внешних интересов читателя и внутренних писателя приводит к финансовой и статусной гармонии, особенно заметной на Западе, но и в России вполне достижимой. Все-таки массовая литература — это область счастья, уверенности в завтрашнем дне. Читатель знает, что в конце Он все равно сделает Ей предложение, а писатель, овладевший рядом базовых навыков и попавший в рейтинги, уже не рискует потерпеть крах. В творческом смысле он не рискует ничем. Это и называется профессионализмом.

Сумеречная зона собственно литературы, где «имена» спасают от всеобщего осознания писательской неудачи, но не спасают от самой неудачи, где к читателю за его же деньги, потраченные на книгу, предъявляются *требования*, теперь заметно сузилась. Ныне и сюда проникает своими прямыми ясными лучами солнце масскульта. Теперь желательно, чтобы книга была о позитивном и чтобы она одновременно была «литературой». Мрачные книги хуже расходятся, их уже не очень-то хотят переводить на Западе. Нормальный, немасскультовый литератор впадает в растерян-

ность, потому что не видит в позитивном предмета высказывания. Ну не радуется оно хорошее и светлое! И правильно не радуется: он еще не знает, но скоро осознает, насколько он теперь бесправен по сравнению с автором трэша. Если последний (на своем, конечно, на кукольном языке) может говорить о жизни и смерти, о больших человеческих страстях, то литератору «с творческими планами» остаются на долю изысканные пустяки, поэтические детали, камешки на ладони. Все то, что украшает досуг просвещенного банковского клерка, но не выбивает его из состояния относительного оптимизма.

А ведь были в нашей истории — и не так уж давно! — времена великие и славные, когда позитив в литературе насаждался государственным способом. Проза соцреализма при том, что в нее все-таки попадал кое-какой реальный быт, обладала столь же жесткой внутренней структурой, что и выполняемое по отработанным моделям любовное чтиво. Причем производственный роман и советский милицкий детектив ныне обнаруживают сходство не с «мужским» жестоким триллером, но с бледно-розовыми произведениями Барбары Картленд и Джоанны Линдсей. Главный герой, внедряющий прогрессивную технологию металлообработки или лоящийся расхитителей госсобственности, типологически подобен тем «дикаркам» и «простушкам», что вследствие развития феминизма также берут на себя борьбу против хорошего во имя лучшего. Стоит осознать этот сдвиг от мужского к женскому, как все герои производственного романа занимают понятные ячейки. «Чуждый элемент», какой-нибудь враг прогресса, любитель западных «голосов», — типичный злодей из романа серии «Шарм». Главный герой-любовник — это на самом деле героиня производственной саги, очень симпатичная, но легковверная и туповатая. Роль преданных слуг играют товарищи по бригаде. Мудрому парторгу соответствует состоятельный дядюшка, в последний момент устраняющий все материальные затруднения героини. Видимо, авторессы дамских романов все-таки внутренне свободнее, чем соцреалисты: дядюшка не обязательно к показу, очень часто он уже добрый покойник, завещавший малышке все свое состояние.

Хеппи-энд соцреалистического реализма был бедный, но законный родственник того всемирного хеппи-энда, который обещала всем марксистско-ленинская теория. Впереди маячил грандиозный и прекрасный конец исторического пути. Ответ его лежал на наших лицах. В интересах своего неизбежного наступления будущее влияло на настоящее, изменяло формулировки событий, выстраивало сюжетные ходы. Так и в профессиональном романе финал обратным ходом строит каждый эпизод, чтобы затем через них вернуться к самому себе. Все умение и, если угодно, оригинальность литератора заключаются в том, чтобы выстроить псевдо-конфликт, являющийся на самом деле тенью чего-то позитивного.

Дамским писательницам в этом смысле проще: у них в ходу разного рода недоразумения, способные разрушить счастье главной героини в том случае, если бы авторессе вдруг оказалось лень доработать пару-тройку заключительных глав. Герой-любовник для того и делается тупым, чтобы не увидеть очевидных вещей и принять ангельски белое за полностью черное. В свежепереведенном романе Джудит Макнот «Битва желаний» супербизнесмен Ник Синклер обвинил свою возлюбленную в промышленном шпионаже, хотя та, наоборот, уничтожила конкурентов путем подсовывания им фальшивых контрактов. Можно было выяснять все за пять минут, сделав партнерам пару звонков, но не таков герой-любовник, чтобы думать головой. Обычно писательница проводит героя в пяти миллиметрах от истины, в чем и заключается фигура высшего пилотажа дамского романа. Дальше, чем пять миллиметров, нельзя: не позволяет известная степень правдоподобия, необходимого даже и для этого условного жанра. На самом деле у авторесс пространство для маневра совсем невелико, и следует с высокой точностью выбрать момент, когда герой должен действовать как полный идиот. Так, в новом романе Джоанны Линдсей (действительно новом — «The Heir», вышел на языке оригинала в 2000 году) у главного героя всего несколько часов, чтобы вломиться для выяснения отношений в спальню великосветской гадюки и тем попасться на брачный крючок. Разумеется, парень не пропустил момента и действовал по свистку, после чего сделалось возможно растянуть сентиментальное действие еще на сотню страниц.

В соцреалистическом романе роль идиота также не вакантна. Она принадлежит собственно автору. Поскольку изначально существовала установка «у нас все хорошо», писателю для создания конфликта следовало споткнуться на ровном месте. Опять-таки специально для этого текста я просмотрела некоторые книги уральских

издательств, выпущенные в начале семидесятых. Сегодня в них просто режет ухо специфическая интонация, которую можно определить как *умиление* — нечто сродни рефлексорному чувству, что испытывают даже самодостаточные люди в присутствии очень высокого начальства. *Умиление* пронизывает монологи главного героя о жизни и смысле жизни; то же — его беседа с «ершистыми» комсомольцами и почти такой же несоюзной молодежью; то же — любовные сцены, исполняемые героем и героиней как бы на сцене заводского любительского театра; об описаниях ленинских субботников я уже не говорю. Все время кажется, будто герой слегка подвыпил и разблагодушествовался, хотя по сюжету он, как правило, убежденный трезвенник. Вязкий плен *умиления* преодолевался разве в каких-то частностях: натужная художественность словесных портретов и беспартийных (т. е. неиндустриальных) пейзажей выдает стремление автора хоть в чем-то усложнить свою творческую задачу, до предела суженную хеппи-эндом. Честно говоря, жалко талантливых людей, чьих действительность научила бегу в мешках да еще и внушила убеждение, что по-другому не бывает. Хорошо еще, что у большинства мешок был на ногах, а не на голове.

Освобождаясь от мешков, мы наивно полагали, что уж теперь-то придем к победе творческого труда, а за граница нам поможет. При этом, по-видимому, спутали русское зарубежье с зарубежьем вообще, а «возвращенную» литературу с тем, что реально овладевает умами по ту сторону рухнувшего железного занавеса.

Итак — уроки политкорректности. Нельзя называть негра негром, а надо называть афроамериканцем. Пожилые люди — это на самом деле альтернативная молодежь. Женщине нельзя сообщать, что она женщина: это сексизм (ну как тут не вспомнить наше гордое слово «товарищ»?). Политкорректность не признает за человеком права на свою индивидуальную трагедию, права пережить эту трагедию; тем самым исчезает шекспировский масштаб человека. Литературе нечего делать в этом новом дивном мире, где история также считается законченной, а пришедшая ей на смену *просто жизнь* отторгает негативное. Может быть, увлечение книгами pop-fiction, особенно биографиями имиджевых персон, как раз объясняется необходимостью дать реальности некое алиби. Тем более биографическая литература об успешных людях — лучшая литература хеппи-энда: здесь к уверенности в реализации мечты прибавляется задним числом приятное волнение, как от телевизионного шоу с призами. Мог ведь герой и не угадать мелодию!

Писатель тоже хочет быть успешным — хочет, наверное, не меньше, чем политик и эстрадный певец. На первый взгляд для этого не обязательно вливаться в ряды новых лакировщиков действительности. Кажется: пиши что хочешь, исследуй бездны, только потом придумай, как все хорошо закончить. Трудно, что ли? В конце-то концов ты ведь профессионал и должен владеть материалом, а не он тобой. Не тут-то было. Дело в том, что хеппи-энд — это не конец романа, это весь роман. Финал — это овощ, чьи корни пронизывают и держат всю почву повествования. Выдерни его — только комья посыплутся. А с другой стороны, не посадишь сразу, он и не вырастет.

Как театр начинается с вешалки, так и хеппи-энд начинается с первой главы. Здесь обычно появляется кто-то из главных героев — Он, но чаще всего Она. Конвенциональное поведение писателя в соответствующем жанре заранее гарантирует, что впереди их ждет счастье. Однако помимо жанровых гарантий существует и специальное кодирование, от которого читатель сразу начинает получать «хеппи-эндовское» удовольствие. С героем, а чаще с героиней случается нечто, или они проявляют некое качество, после которого писатель уже не смеет обидеть персонажа, так как это поссорит его с читательской аудиторией. Событие это может быть не очень значительным в смысле сюжета, но оно неизменно связано с *умилением*. На пути к хеппи-энду героиня может, например, потерять дорогое кольцо, но ни в коем случае — руку или хотя бы палец. На это есть иные персонажи.

Это только кажется, будто для хеппи-энда требуются двое: Он и Она. На самом деле участвуют все: слуги, злодеи, старые девы, дальние родственники. Поскольку пасьянс раскладывается от конца к началу, он сходится обязательно, и каждая карта занимает свое надлежащее место. Особенность хеппи-энда в том, что он многоуровневый и многоразовый: не только герой с героиней соединяются узами брака, но и подружка героини находит жениха, и у ворчливой тетушки обнаруживается любовник, и пожилой камердинер обретает милый домик в сельской местности. Масса хеппи-энда в сегодняшнем глянцево-романе существенно больше, нежели в литературе, скажем, XIX века. Насколько помнится, граф Монте-Кристо в оригинале оста-

вался гордым одиночкой, а в современных экранизациях он соединяется-таки со своей Мерседес. Это говорит о том, что к хеппи-энду наступает наркотическое привыкание, его требуется все больше и больше — и тут подходит грубое, но точное слово «обкончаться». Причем политкорректность расширяет свое влияние на хеппи-литературу: последняя становится блюдом вегетарианским. Если раньше хороший конец означал для выведенного в романе ассортимента злодеев конец плохой или очень плохой, то теперь кровь, тем более проливаемая главным героем, не очень приветствуется. Основной негодяй берет на себя роль унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла (напарывается на собственную шпагу, гибнет во время бегства в морской пучине). Уроды помельче перевоспитываются дюжинами, иногда даже становятся священниками. Хеппи-энд теперь не мстителен: в целом он напоминает скандинавскую тюрьму, куда граждане стран СНГ, бывает, стремятся, будто в комфортабельное и бесплатное общежитие.

Множественность хеппи-энда есть многоразовое удовольствие; но бывает, что принцип наслаждения заменяется иным, например, принципом справедливости. Образцы универсального хеппи-энда — романы нидерландского дипломата Роберта ван Гулика о судьбе Ди Жэнь-Цзе, или судьбе Ди. Образцом для этих незаурядных стилизаций послужила средневековая китайская детективная повесть, где роль сыщика всегда выполняет государственный чиновник — правитель уезда или крупный столичный функционер. Судья Ди — это идеал добродетельного чиновника, прагматичного конфуцианца, чья функция — привести в столь же идеальное состояние окружающую его действительность. Мир романа — это весь; усилие главного героя направлены не на то, чтобы перетянуло добро, а чтобы чашки пришли в состояние точного равновесия. Книги ван Гулика далеки от стерильности дамских романов: здесь присутствуют описания телесных наказаний, кровавых казней (подозреваемых пытаются, осужденных заживо разрываю быками). Но, несмотря на столь неполиткорректный натурализм, читатель внутренне не спорит с автором: не испытывая *умиления*, он испытывает *удовлетворение*.

Раскрывая, допустим, убийство и подвергая виновного зверской, по современным меркам, экзекуции, судья Ди стабилизирует реальность. Идее равновесия подчинены средневековые китайские законы: так, судья, выдвинувший против кого-либо обвинение, но не собравший доказательств, должен сам принять ту казнь, какую требовал для преступника. Ощущение стабильности мира, который в своей тысячелетней неизменности может стоять хоть на трех китах, если так больше нравится досужему философу, придает особую прелесть романам ван Гулика. Именно это роднит сагу о судьбе Ди с рассказами Конан Дойля о Шерлоке Холмсе: очарование викторианской Англии, с ее добротными предметами и причинно-следственными связями подобно притягательности Поднебесной, погруженной, будто жемчужина в раковину, в собственную тысячелетнюю историю. Характерно, что в книгах ван Гулика есть герой-рассказчик: этот персонаж, живущий в эпоху Мин, описывает деяния Ди Жэнь-Цзе, жившего в эпоху Тан. Для героя-рассказчика судья Ди — легендарный, уже полуреальный персонаж, сведения о котором попадают к нему разными мистическими способами. В свою очередь, местом исследований судьи Ди часто становятся древние храмы, старинные лабиринты; поводом для событий может оказаться давняя вражда двух почтенных семейств, уходящая корнями в дела минувших веков. Так выстраивается — план за планом — историческая перспектива головокружительной глубины; к ней же прибавляется расстояние от рассказчика до современного читателя. Однако история здесь — среда удивительно ровная, однородная, почти совершенно прозрачная; заключенные в эту оптическую среду, персонажи романов ван Гулика — маленькие, почти игрушечные фигурки — видятся во множестве еще более мелких, но поразительно разборчивых подробностей, как бы одновременно под лупой и в перевернутый бинокль.

Говоря современным языком, судья Ди — гарант целостности этого мирка, одновременно огромного и миниатюрного. Книги Роберта ван Гулика наглядно подтверждают, что хеппи-энд — это весь роман. Хеппи-энд суть замкнутый, идеально округлый универсум: он ничего не забывает, не роняет ни одной сюжетной нити. Завершаясь, он подбирает все свое имущество — и героиня дамского романа в последних главах находит потерянное кольцо. Судья же Ди разбирается во всех загадках и всем участникам событий воздает по справедливости: кого-то казнит, кому-то возвращает злодейски отнятое имущество, кого-то соединяет узами брака, кого-то пристраивает к сообразной способностям профессии. Финал книги ван Гулика — не про-

сто разгадка загадки, но восстановление гармонии, которую преступление лишь пошатнуло, но уничтожить не смогло.

В отличие от глянцевого лавбургера романы о судьбе Ди благодаря соответствию метода и материала представляют художественный интерес. Но это — исключение из правила (кстати, сага о судьбе Ди — это ряд хеппи-эндов, не нуждающихся в центральном любовном сюжете: линии эти второстепенны и равноправны с прочими линиями, образующими детективную интригу). Обычно хеппи-роман, построенный на *умилении*, будит в читателе романтические мечтания и поддается внутренним «переписываниям» с участием идеализированного читательского «я» — что невозможно по отношению к собственно прозе, где в идеале нельзя прибавить и нельзя убавить ни единого слова. *Умиление* не имеет ничего общего с интеллектуальной радостью и поэтическим переживанием, которые дает, не к ночи будь помянута, элитарная литература. Хеппи-энд, будучи приделан — реально или в замысле — к тексту «с бытийным замком», пожирает этот текст не хуже компьютерного вируса. Приспособиться к противоречию как будто нельзя.

Однако действительность поставляет нам примеры вроде бы удачных и уж точно успешных компромиссов. Книги бразильского писателя Пауло Коэльо расходятся по миру многомиллионными тиражами. Недавно в издательстве «София» вышел по-русски новый роман Коэльо «Вероника решает умереть». И по качеству текста, и по изяществу интриги это отнюдь не лавбургер. В книге есть отдельные демонстрационные куски прекрасного акварельного письма; все остальное сделано также достаточно добротно. Простая, серьезная интонация импонирует интеллектуалу. При этом роман обладает существенно большим, чем лавбургер, психотерапевтическим эффектом. Если очередной выпуск глянцевого сериуса просто отвлекает от свинцовых мерзостей и уводит в красивую сказку, то книга Коэльо говорит с читателем непосредственно о нем, о его проблемах адаптации к среде.

Суть романа вкратце такова. Молодая красивая Вероника, у которой есть как будто все, что нужно для жизни, решила из этой жизни уйти. Наглотавшись таблеток, она очнулась — против ожидания — не в чистилище, а в обычной психбольнице. Врачи сообщают героине, что пребывание в коме пагубно сказалось на сердце и через неделю она все равно умрет. Разумеется, за эти несколько дней героиня поняла, что жизнь прекрасна. Она разобралась с комплексом вины, что впустили ей родители, научилась вести себя, как хочется самой, а не как ожидает собеседник, а главное — в скорбных стенах нашла свою любовь. В финале романа влюбленные сбегают из психушки, чтобы провести последние отпущенные часы сердце к сердцу, рука в руке. Глядя на героиню, и другие пациенты лечебницы приходят к «осознанию жизни». Так, бывшая дама-адвокат, оградившая себя от реальности «паническим синдромом», очнулась и отправилась в Сараево помогать детям.

Конечно же, нормального читателя волнует: умрет героиня или все-таки останется в живых? Однако читатель чуткий, имеющий специальные сенсоры, с первых страниц ощущает, что в тексте, лишь слегка прикрытый элегантными метафорами, содержится все тот же хеппи-энд. Трудно уловить, когда именно на лоб героини лепится хеппи-наклейка. Скорее всего это происходит в эпизоде, когда Вероника, уже приняв таблетки, стоит у окна своей комнаты: «Доживет ли она до конца этой музыки, доносившейся с площади? Это было бы прекрасной памятью об этой жизни: наступающий вечер, мелодия, навевающая мечты о другой части света, теплая, уютная комната, красивый, полный жизни юноша, который, проходя мимо, решил остановиться и теперь смотрел на нее». Но даже если после столь *умилительной* сцены будущее героини неизвестно, то после того, как она в психбольнице ночами гениально играет на пианино, сомнений у читателя больше не остается. По законам хеппи-энда с Вероникой не может произойти ничего необратимого, следовательно, ее обреченность — хитрый авторский ход.

И точно: вся ситуация оказалась экспериментом главного врача психушки, пишущего диссертацию. Суть открытия, которое сделал этот сумрачный персонаж, заключается в следующем: в организме каждого человека присутствует особый токсин — «Горечь», или «Купорос», — отвечающий за потерю интереса к жизни. Всему причина — страх перед реальностью. Не правда ли, очень просто? На самом деле читателю хочется, чтобы с ним говорили о нем, занимались бы его психологическими заморочками, и книга Пауло Коэльо в этом смысле читателю *полезна*. Не составляет труда провести параллель между собой и героиней либо между собой и каким-то другим читателем клиники — благо типаж с различными комплексами понаписано с запасом. В результате от книги остается впечат-

ление как от модного, при этом вполне идиотского тренинга вроде тех, что описал Мишель Уэльбек в романе «Элементарные частицы»: «Аперитив в Крае Перемен обычно принимали под музыку, за весь день это был самый сближающий момент. В тот вечер три молодца били в тамтамы, а десятков пять курортников топтались на площадке, размахивая во все стороны руками. На самом деле предполагалось, что это танец урожая, который отрабатывался на нескольких занятиях африканского танца; по традиции, через несколько часов кое-кто из танцоров начинал испытывать — либо притворяться, будто испытывает,— состояние транса». И в окружающей нас действительности то и дело натыкаешься на рекламу «танцев урожая» вроде какой-нибудь «Spring life» и ей подобных. Роман «Вероника решает умереть» удовлетворяет, в сущности, ту же потребность, что и групповые скандирования с прихлопами и обсуждения проблемы в тесном кругу товарищей по несчастью. Однако при чем здесь литература?

Пример книги Пауло Коэльо доказывает простую вещь: в случае даже самого удачного компромисса не хеппи-энд паразитирует на литературе (как, возможно, хотелось бы мейнстримовскому писателю с робкими потугами на коммерческую успешность), но ровно наоборот. Можно контрабандой протащить немного литературы в хеппи-роман, однако протащить в литературу агрессивный хеппи-комплекс не представляется возможным. Поэтому писатель, даже если попытается закончить текст на хеппи-ноте, вынужден будет повалить возведенную конструкцию какой-нибудь иронической подсечкой. В финале романа Дмитрия Быкова «Оправдание» такой прием проведен красиво — тем более что он рифмуется с гибелью главного героя на дивной цветочной поляне, оказавшейся болотом. Демонстрацией приема я и завершаю свой небесспорный текст.

«Он шел и дышал воздухом влажного московского вечера: покрапал дождь, расцвели зонты. Улыбка не сходила с его лица, и даже учатившееся подергивание щеки не портило настроения. Это был его город, и толпа в нем была его, дружественная, она бы не выдала. Он шел отдать долг женщине, которая помогла ему когда-то,— шел выживший, сильный, помнящий добро.

Почтамт был совсем рядом, за углом. Он посмотрел на часы: оставалось пять минут. Медленно, предвкушая счастье, улыбаясь дрожащим лицом, по мокрому асфальту, сиявшему отражениями фонарей, двинулся он к освещенному подъезду.

Тут-то его и взяли».



Образ паровоза

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО МАШИНИСТА

По линии действия катится паровоз чувств.

Сергей Эйзенштейн

Итак, двадцатый век, начатый, по словам Ахматовой, в четырнадцатом году, выпустил в Европу бронированную гусеницу, дитя англо-бурской войны. Когда родился бронепоезд — в 1864 ли году, при осаде ли Питсбурга — все равно: далекое время. Кому и когда пришло в голову защищать паровоз броней? Изобретатель неизвестен, вернее, их слишком много. От пуль неприятеля уберегали даже цепи, свисающие с крыши вагонов.

Но теперь паровоз окончательно слился со своим составом, натянул на себя зеленую змеиную шкуру. Защищенный контрольной платформой, оружейной площадкой, паровоз, а то и два, переместились в середину состава. Образуя с ним вертикаль, над протяженным горизонтально телом бронепоезда висел аэростат-наблюдатель.

Внимательный читатель Куприна или Бунина внезапно удивляется непохожести их вагонного опыта и собственно его, читательского: «В вагон вошел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их занавесками». Но вот все это кончилось.

Набоковского героя «щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно».

Гражданское, в полном смысле этого слова, путешествие превратилось в путешествие случайное, хаотическое: «Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали все здание, досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Когда проезжали лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком наше чудовище». Это цитата из романа Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито».

Поезд, обшитый броней, приобрел иную функцию или функции — связанные с войной. И символом нашей литературы бронепоезд стал именно во время гражданской войны.

«Пусть когда-нибудь в славную повесть про геройский советский век, громяхая, войдет бронепоезд». Так писал Долматовский.

Союз броневых частей назывался «Центробронь». Уже само это название громяхает, как тяжелый состав, ворочающий пулеметами и пушками, вползающий на догорающую станцию. На бронепоезда принимали, как нынче — в космонавты. Согласно приказу 1922 года отобранные на эту службу бойцы должны были иметь небольшой рост и крепкое сложение. Впрочем, это случилось во времена, когда бронепоезда уже нечасто выполняли со своих запасных путей.

Гайдар так пишет о пути, которым приходит человек на бронепоезд: «Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешел Иван Михайлович на бронированный.<...>

...Всеякие паровозы видали ребята. Но только вот такого паровоза, который был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали и вагонов не видали тоже. Трубы нет. Колес не видно. Тяжелые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон узкие продольные щели, из которых торчат пулеметы. Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни, и из тех башен выдвинулись тяжелые жерла

артиллерийских орудий. И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных желтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стекол. Весь бронепоезд тяжелый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зеленый цвет.

И никого не видно: ни машиниста, ни кондуктора с фонарями, ни главного со свистком. Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулеметов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но все это спрятано, все молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокатится без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда, где идет тяжелый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из темных щелей гибельные пулеметы! Ух, как грохнут тогда из поворачивающихся башен залпы проснувшихся могучих орудий!»

А Алексей Толстой описывает бронепоезд так: «Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с двумя пышущими жаром паровозами, с блиндированными платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек... Выли два паровоза, окутанные паром...»

В советской литературе есть и еще один бронепоезд, кажется, единственный, чей порядковый номер знает каждый — «14-69». Всеволод Иванов пишет не про красный, а про белый бронепоезд, только потом захваченный партизанами.

«В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, грохочут квадратные серые коробки. На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаолян. Тучные поля.

Может, дракон китайский из сопок, может, из леса...

Желтые листья, желтое небо. Гаоляны! Поля!»

Злобно-багрово блестят зрачки этого бронепоезда. Он тоже антропоморфен, как и сам паровоз в русской литературе. Взятие бронепоезда похоже на покорение женщины и даже насилие над ней: «На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными глазами».

Но есть особый писатель, для которого паровоз действительно живое существо. Это Платонов. Вот идет вдоль железнодорожного полотна сокровенный человек Пухов, зажав в кулаке четыре собственных зуба, выбитых при крушении. Идет, увязая в снегу, потому что впереди — «Паровоз, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудь горы снега впереди». «Тяжелый броневой поезд наркома», который «всегда шел на двух лучших паровозах», уступил один из них снегоочистительной установке.

Пухов еще не знает, что помощник машиниста в своей будке проткнул насквозь. Сначала герой мгновенно привыкает к своему увечью, потом на секунду удивляется чужой смерти, жалеет о ней. Итог размышлений — восхищение красотой и мощью машины, пережившей человека.

«Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом...» «Казачи вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о?! — захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. — Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!»

«Казачи сошли с лошадей и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное».

Железнодорожный рабочий побеждает сначала морально — на его стороне знание машины, а потом уж казачий разъезд дочиста выкашивают пулеметы наркомовского бронепоезда.

Другая победа паровозного бога описана Паустовским. У него вообще много поездов — разных. Паустовский пишет о железной дороге совершенно иначе.

Сначала — красный бархат, дамское купе, потом — дачная линия парового трамвая в Москве, где Паустовский ездит кондуктором. «Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались свечами. Электричества на “паровичке” не было».

Потом Паустовский начинает свое путешествие через Россию и Украину и среди прочего говорит о паровозе, на котором некая баба везет комод в подарок на свадьбу.

«Началось с того, что баба вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба дала машинисту только фунт сала и одну буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза. Комод весил пудов пятнадцать, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы.

— Два здоровых бугая, — сказала баба, — а один комод сдужить не имеете силы. Тащите его дальше.

— Попробуй сама двинуть его, черта, — ответил машинист. — Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом.

Он полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, а пустил в обе стороны от паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила. Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданое — ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезки материи и даже никелированный самовар. Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошел по этому приданому к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданным, и из паровоза неожиданно полилась на это приданое горячая вода, смешанная с машинным маслом». Страшна мечь паровозного бога.

У Платонова, кстати, существует и более определенная метафора, сближающая механизм с алтарем: «Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка, над манометром». Один его герой едет по стране, видимо, в теплушке. А каждая теплушка гражданской войны похожа на паровоз — из-за трубы буржуйки, которая высовывается сбоку.

Другой платоновский герой связывает паровоз напрямую со стихами и говорит: «Машина “ИС”, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления, я мог подолгу глядеть на нее, и особая расстроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина».

Герой Платонова, как и сам автор, влюблен в паровозы, в описание того, как двигают «ручку регулятора на себя, потом от себя», как ставят его на полную дугу, как «паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке»; он влюблен в пресс-масленки, дышловые узлы, «буксы на ведущих осях и прочее». Наверное, Платонов единственный из писателей того времени, которого техника волнует не как деталь описания, часть повествования.

Он действительно любит паровоз — как любит домашнее животное. Один из героев «Чевенгура» говорит с паровозом в его, паровоза, железнодорожной норе — с глазу на глаз, доверительно. И паровоз отвечает, тихо бурчит что-то. Его нельзя бросить на произвол судьбы, даже спасая свою жизнь: «Кроме того, Захар Павлович, тем более отец Дванова никогда не оставили бы горячий целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр».

После Платонова паровоз в литературе становится похож на портрет вождя на стене учреждения — он присутствует, но не функционирует.

Впрочем, железная дорога была неотъемлемой частью литературного пейзажа — от лирики до эпики.

Советское время пахло железной дорогой. Владимир Семенов с тоской замечал: «Женщина, в которую я был влюблен, была влюблена тогда не в меня, а в запах возле нашего дома — запах шпала, угля, запах приходил с ударом воздуха от подходящей к платформе электрички, исходил от жухлой польны, росшей между путей». А Леонид Мартынов в двадцать первом году писал о романтических переживаниях так:

Вы уедете скоро, у платформы вокзала
Будет биться метель в паровозную грудь.

Но интереснее, конечно, говорить о литературе, ставшей символом, мифом.

В знаменитом романе «Как закалялась сталь» герой существует около рельсов — сперва мальчиком при железнодорожном буфете, затем на комсомольской работе в железнодорожных мастерских, а вот он строит знаменитую узкоколейку от Боярки. И там, кстати, появляется бронепоезд. Он не приезжает, а возникает, как *deus ex machina*, и из его стального чрева выходят взрывники. Они подрывают

косогор на пути прокладки железнодорожной ветки и облегчают работу. Паровоз тоже оказывается значком поворота сюжета — убийство германского солдата, вывинченный регулятор: «Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи... тяжёлыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безмолвную темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже».

Островский пишет о том, как паровозы гудят в день смерти Ленина, и о том, как гудит польский буржуазный паровоз. Они кричат, будто звери, потерявшие хозяина.

С Лениным вообще многое связано у механического железнодорожного племени. На паровозе, сноровисто подкидывая уголь в топку, бежит Ленин от преследования. Мифическая картина очень похожа на ту, что нарисовал Островский, — только бегут в знаменитом романе простые рабочие. Стоит на Павелецком вокзале траурный ленинский паровоз, почти как скорбный лафет, с которого сняли тело, — будто не в вагоне, а прямо на тендере везли Ленина из Горок.

Но вот война окончена. Как скорбно замечает один из героев Алексея Толстого: «2,5 тысячи паровозов валяются под откосами». Это не мешает фантазировать о будущем локомотиве. В этих видениях: «Под землю с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов...»

В наиболее ответственные моменты паровоз осенялся особой иконой: на победных эшелонах 1945 года, у красной звезды — знака национальной принадлежности паровоза — был всегда прикреплен портрет Великого Машиниста, на боках — транспаранты, а весь он увит цветами.

Ильф и Петров, как и многие другие писатели, работали в газете железнодорожников. «Гудок» того времени объединял многих писателей не только кассовым окошком, но и локомотивной стремительностью стиля: «Поезд прыгал на стрелках... Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбежались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Девочки загоняли паровоз в стойло».

Железная дорога формировала язык — чего стоят поэтические, по сути, термины: «подвижной состав», «полоса отчуждения» или «железнодорожное полотно». Из стертых метафор они обращаются в наполненные особым смыслом слова.

Паровоз, которого так боялись буинские герои, замершие на станции, стал символом движения вперед. Для советской литературы это означает грозного и стремительного, но полезного зверя.

Однако давление пара ослабло, а Великий Машинист спрятался в Мавзолею. Время спуталось, как железнодорожное расписание.

И вот уже вместо «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка» (а пение этой песни — критерий: «Мама у вас хорошая, про паровоз поет») пелось знаменитое «Постой, паровоз, не стучите колеса...» — новый массовый герой устал от движения локомотива в недобром для него направлении.

Эпоха паровозов в России окончилась в 1956 году, более известном, правда, иным событием. С 1837-го, года смерти Пушкина, до 1956-го, года XX съезда, длилось их время. Нет, они еще существуют на запасных путях, будто исчезнувшие бронепоезда. На разрушенном полотне железной дороги вдоль Северного Ледовитого океана, стройка которой началась по безумной прихоти Сталина, стоят, будто ископаемые скелеты, черные паровозы, обросшие мочалой, с изъеденными временем боками. Они доживают свой век в потаенных закутках, где их сохраняли, говорят, на случай ядерной войны и новой разрухи. Их черные туши можно еще кое-где видеть из железнодорожного окна, их доведенные до совершенства паровые котлы переделывают для отопительных нужд. Многие из них пока могут ездить, но все меньше и меньше тех машинистов, что могут заставить паровоз повиноваться.

Паровозы ушли, как исчезли динозавры. Они окончательно превратились в символ.

ДОНЕЦК

Владимир РАФЕЕНКО. КРАТКАЯ КНИГА ПРОЩАНИЙ. Донецк, «Кассиопея», 1999. 100 экз.

Любопытное посвящение: «Писателю Н. В. Гоголю и отцу моему с тоскою и нежностью». Кому «с тоскою и нежностью» — обоим?

Предисловие к книге написано Натальей Хаткиной, о которой я писал в одном из предыдущих выпусков «Русского поля» и которая, по-моему, является одним из самых талантливых поэтов в русской поэзии на Украине сегодня. Вот что пишет Хаткина: «Кто ни откроет эту книгу, на первой же странице восклицает: “Да это же Хармс!”» Я открыл эту книгу и на первой же странице воскликнул: «Да это же Хармс!» «Однако же,— пишет Хаткина,— у Хармса старух много, и они какие-то настоящие — не старушки, а игрушки, модельки, концепты. А концепта не жалко — можно шваркнуть его об асфальт, ничего, не больно!» А вот «Рафеенко каждого из своих маленьких героев жалеет, собственноручно укладывает в крохотный бумажный гробик — хоронит и оплакивает, как умеет».

Ох, ох, ох! Сказано красиво, но не работает. Бумажных гробиков не бывает, только воображаемые. Впрочем, Рафеенко человек способный — это несомненно. Я не без удовольствия читал его абсурдистские миниатюры, но на двадцатой примерно все-таки утомился. Прочитую одну из самых коротких:

Про Василия

У моей дальней родственницы были индоутки. И летать они не умели. А Василий выпил, и они у него залетали. Забравшись на крышу, он доставал их по одной из мешка и запускал, как голубей.

Три полетело, остальные разбились.

Вот такая история.

Хорошая «история»!

ШАДРИНСК

ШАДРИНСКИЙ АЛЬМАНАХ. Выпуск третий (1999). Составитель и ответственный редактор С. Б. Борисов. Шадринск, изд-во Шадринского государственного педагогического института.

Для тех, кто не знает: город Шадринск находится в Курганской области.

Очень интересна статья А. Дзнова «Феномен провинциальной литературы», предрекающая альманах. О провинциальной культуре в ней сказано предельно честно.

«Ряды литераторов средней руки (в лучшем случае) и графоманов (в большинстве), изредка просвечиваемые блеском настоящего таланта, образуют среду, которая чрезвычайно охотно впитывает любые эстетические влияния и любой художественный опыт. Ситуация провинциальной размытости и разреженности литературной жизни, отсутствие четко обозначенного контекста, в который неизбежно попадает любое произведение, созданное в столицах, обеспечивает полную свободу и непреднамеренность взаимовлияний. Отсутствие литературной опытности идет здесь во благо, позволяя сосуществовать в рамках одного творчества реализму, модернизму и постмодернизму. В связи с этим можно предположить, что почти полное отсутствие в провинции литературной критики вызвано не только недостатком потенциальных писаревых или мерещковских, не только нехваткой четких критериев, но и смутным осознанием того, что имеешь дело с чем-то новым».

«Другой круг проблем связан с ролью провинциальных реалий — что такое, наконец, сама провинциальность, каково ее функциональное назначение в тексте? Чем становится она для литератора — декорацией, основой творчества, мироощущением?»

Мне здесь нравится вот что. Автор не дает ответов, задает только вопросы. Если кто-то знает на них ответы — милости просим!

Что же касается альманаха, то... м. выше. Одно стихотворение Сергея Чепесюка мне почему-то запомнилось. Не знаю — почему. Может, потому, что, как и поло-

жено в настоящей поэзии, здесь правда не переплетена с вымыслом, а нежно-дружно конфликтует с ней.

Учитель

Руки учителя, как пауки,
Плели паутину урока.
Она понимала из всей чепухи,
Что влюблена жестоко.

Потом объяснилась, краснея, в любви,
Он был застенчив и нем.
Ее короткое — «Лишь позови...»
Его ледяное — «Зачем?»

Сердце тук-тук.
Паука рук
плела сеть...
Ее приютила Исеть.
Он стал кандидатом наук.

Исеть — это, очевидно, река. То есть студентка утопилась. Над этим сюжетом можно посмеяться, но мне почему-то это стихотворение кажется удивительно правдивым и художественно совершенным (напишите о том же иначе и докажете обратное).

АНТОЛОГИЯ ШАДРИНСКОЙ ПОЭЗИИ. XX ВЕК. Составитель С. Б. Борисов. Шадринский альманах. Выпуск четвертый (2000). Шадринск, изд-во Шадринского государственного педагогического института, 2000. 200 экз.

Шадринская поэзия существует с 1910 года — это выяснил составитель антологии, поработав в библиотеке местного педагогического института. Первого шадринского поэта XX века звали П. Кузьминых. Вот начало его стихотворения:

Не веет зефир златокрылый,
Головки целуя цветов,
Не пляшет на солнце гуллиный
Резвющийся рой комаров...

Эпитет «гуллиный» — как обломок былой империи, одновременно и жалок и восхитителен.

Всего в антологии более полусотни поэтов. Это поражает и заставляет усомниться в понятии «бедная Россия».

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ

ДЕНИС ГРИЦЕВИЧ. КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОИКИ. Стихотворения. Славянск-на-Кубани, Издательский центр СФАГПИ, 2000. 500 экз.

Стихи, на мой взгляд, очень слабые. Но — на мой же взгляд — сущность поэзии не в хороших стихах, а в чем-то ином. У Грицевича я нашел две строки, которые — опять же на мой только взгляд — ценнее многих так называемых «хороших» стихов.

По дороге ходит вор.
Выступает певчий хор.

Это — дивные строки, и совершенно неважно, как они пришли автору в голову. Пришли — и все...

КРАСНОЯРСК

В. Ф. БЕХТЕРЕВ. ЗАЩИТА. Красноярск, без. изд., 2000. Без указания тиража.

«Профессор В. Ф. Бехтерев более сорока лет трудится в сфере образования. Записки ученого-педагога — это размышления о жизни, о времени, о проблемах воспитания».

Это — аннотация. В ней — все верно.

Меня очень привлекли слова Бехтерева о сущности «перестройки». «Изменилось что-нибудь? Да, несомненно. Изменилась фразеология. Изменился характер борьбы. Но психология борцов осталась. Борьба с Горбачевым. Борьба с партаппаратом. Борьба с привилегиями. Борьба с колхозами и красными директорами... Нет только борьбы там, где она нужна в первую очередь: с преступностью, болезнями, обнищанием, с нарушением прав человека».

Вот и вся социальная мудрость. И — не надо другой.

КРАСНОДАР

Людмила ЗАЙЦЕВА. ОСТРОВ. Книга стихотворений. Краснодар, ИД «СТИЛЬ», 2001. 50 (пятьдесят) экз.

Книга, вышедшая таким тиражом, уже заслуживает уважения. Тем более что эпиграф к ней взят из М. Хайдеггера:

Двойко вьются мысли и песни
Из одного ствола происхождением —
Благодарность судьбы намекам
Темным на их рождение.

Что касается стихов... Открыл и — вздрогнул:

Там, где другие действуют руками и ногами,
мое упование на к Тебе молитву.
Не посрами, Господи, рабу Твою под облаками,
дозволь перейти жизни нелегкую злую битву.

Здесь самое удивительное — это сочетание: нелегкую-злую. Это точно. Это поэзия.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Андрей ПОСПЕЛОВ. *СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. Днепропетровск, «АРТ-Пресс», 1998. 100 экз.*

Родился в 1963 году. Окончил Днепропетровский институт инженеров транспорта. В последнее время занимается предпринимательской деятельностью.

Это из письма, которое предваряло книгу.

А вот стихи:

Поэзия

Поэзия — умение составлять
из ничего — из разночтений пляски
созвучий, слов, пера, бумаги, краски
немыслимый изгиб глагола «лгать».

Для меня очевидны две вещи: а) Поэзия — совсем не то, что думает автор; б) не бывает разночтений пляски; в) поэзия — не ложь, а что-то другое.

ОМСК

Олег КЛИКШИН. *ВЫХОД. Стихи. Омск, без изд., 1994. 500 экз.*

Стихи посвящены Фету и Боратынскому.

Скамья. Решетка. По бокам конвой.
Задумчиво рассеян заседатель.
Суровый счет, предъявленный к оплате,
На плечи всем ложится. С головой
остриженной — совсем еще пацан.
Кадык под кожей дернулся нервозно.
Куда-то вниз скатился взгляд отца.

ТОМСК

Юрий ГРУНИН. *ПРЕДСМЕРТИЕ. Стихи. Томск, ДочериЗдат, 1999. Вместо указания тиража: «Тираж — по потребности».*

Вместо предисловия:

«Уважаемый Юрий Васильевич!

Спасибо за письмо и стихи.

Особенно значительно «Автобиографическое» и «Однажды ночью», но и все остальное написано поэтом, твердо стоящим на земле. Я думаю, время позаботиться о публикации в серьезных журналах — конечно, с учетом их нынешних требований. Кланяйтесь жене и дочери.

Ваш

Борис Слуцкий

(без даты, 1969)

Стихов, столь понравившихся Слуцкому, в книге почему-то нет. Цитирую другие:

Автопортрет

Серый квадрат на черной стене
кажется белым.
Тот же квадрат на простыне
кажется черным.
Серый квадрат на зеленом плуше
стал розоватым.
Но остается он вообще серым квадратом.

Что тут ни делай, рад иль не рад,
Сегуй, не сегуй —
только он серый, серый квадрат,
серостью серый!

Перемешайте разные краски,
перемешайте стократ,
серый квадрат —
он, как контра, контрастен.
Серый квадрат.

Слуцкий. Конечно, Слуцкий.

Юрий ГРУНИН. ПО СТОПАМ СТРОК. Томск, Дочериздат, 1999. Вместо указания тиража: «Тираж для узкого круга».

«Посвящается составителю антологии русской поэзии «Строфы века» Евгению Евтушенко».

В столбцах стихов — душой согреться,
увидеть свет в житейской мгле...

ИВАНОВО

Владимир ЧЕРКАШОВ. ПРОЗРЕНИЕ. Стихи. Иваново, без изд., 2000. 500 экз.

О Владимире Черкашове я уже писал в одном из предыдущих выпусков «Русского поля». В ответ пришло благодарственное письмо, которое заслуживает того, чтобы его процитировать:

«Буквально два слова о себе. Поэзией я «заболел» около четырех лет назад, уже в достаточно зрелом возрасте — в 41 год. До этого был человеком совершенно далеким от литературы. Сейчас, конечно, горько сожалею об этом, но, видно, так было угодно Господу Богу».

Стихотворение, давшее название книге:

Прозрение

Я зернышко в несжатом колоске.
Я бусинка росы на грозди стылой.
Я боль людская, в слабом кулачке
Зажатая судьбой с предельной силой.

Я желтый лист, растоптанный в снегу.
Я истина, гонимая по свету.
Я жить без правды больше не могу!
Я призываю ложь на суд,
к ответу!

БЕЛГОРОД

Вадим ЕМЕЛЬЯНОВ. ШУТ. Стихи. Белгород, «Дверь в лето» (так называется издательство, без шуток), 1999. Тираж не указан.

О, Господи, прости за все,
Что я творю, не зная меры...

А если б меру знал, то что? Судя по фотографии, автор — человек еще молодой. Судя по некоторым стихам, отчаянный «русифил»:

Империя мудрой Христовой любви
Спаяет нации в русской крови.
Воспрянет духом могучий народ
Людей планеты к Христу приведет.

Сергей Михалков отдыхает.

Светлана ГОРОХОВА. ТРАМПЛИН. Повесть. Без указания города, издательства, 2000. Без указания тиража.

«Князь Гвидон совсем уже собрался лететь вслед за торговым флотом в образе мухи, дабы проведать отца, когда Женя обнаружила, что Алешка спит».

Хорошие, тонкие рассказы. О детях, о взрослых.

Светлана ГОРОХОВА. СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАУТИНЫ. Рассказы. Старый Оскол, без изд., 2000. Без указания тиража.

«Ольга Андреевна хотела написать рассказ. Только это должен быть очень хороший рассказ».

УЛЬЯНОВСК

Сергей ГОГИН. КОЛОДЦЫ СНОВ. Стихотворения. Ульяновск, «Симбирская книга», 2000. 1000 экз.

Из предисловия Александра Рассадина, заведующего кафедрой литературы Ульяновского государственного педагогического университета:

«Стихи, написанные в конце любого века, всегда, как минимум, любопытны. Созданные на исходе двадцатого столетия — любопытны вдвойне».

Странное суждение!

«Сергей Гогин — профессиональный журналист».

Остроумны его политические стихи:

Спасибо

Кем только могли, но не стали мы?
Кто — враг ли он кровный, отец ли?
Спасибо товарищу Сталину
За наше счастливое детство.

Да нешто не сладим умеючи?
Помрем, но уже в коммунизме!
Спасибо Никите Сергеечу
За выросший уровень жизни.

Забудем. Нет времени прежнего.
К победе бредем, пригорюнясь.
Спасибо товарищу Брежневу
За нашу счастливую юность.

В газетах «подвалы» разгромные.
Духами кропим на опрелость.
Кому там спасибо огромное
За нашу счастливую зрелость?

Живем, прилагая старание
Не думать: а сколько осталось?
Большое спасибо заранее
За нашу счастливую старость...

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Леонид КРАЙНОВ-РЫТОВ. ПОКА МЫ ЖИВЫ — МЫ БЕССМЕРТНЫ. Стихи. Миниатюры, 2000.

«Что жизнь рифмуется
со смертью,
поэту на слово поверьте».

ТВЕРЬ

Наталья ЛОСЕВА. СТЕКЛЯННЫЕ ЗОНТЫ. Тверь, «Русская провинция», 2000. 500 экз. Серия «Поэты русской провинции».

Первая книга тверской поэтессы, изданная в серии, основанной лучшим российским провинциальным журналом «Русская провинция». Есть довольно симпатичные поэтические строчки:

Кисть неуловимая мороза
Окна красит, только посмотрит.
На стекле печальная мимоза
Среди слез исчезнет — this is prosa,
Чтобы в ночь когда-нибудь прийти.

Но Боже мой! — разве можно открывать книгу такими стихами: «Миллион улетает проблем, / Оттого плохо сплю, плохо ем...»?

ПОСЕЛОК ПАНГОДА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ, НАДЫМСКИЙ РАЙОН)

Леонид НЕТРЕБО. ЧЕРНЫЙ ДОКТОР. Рассказы. Екатеринбург, Средне-Уральское книжное издательство, 2000. 1000 экз.

Новые рассказы интересного прозаика. Любопытен список меценатов, благодаря которым выходит книга русского писателя на далеком Севере: Николай Николаевич Гоголь (Фирма «НИГО»), Адалет Азиз-оглы Мусаев (магазин «Радуга»), Нураддин Аслан-оглы Джафаров (фирма «Вега»), Рамиль Зигандарович Шаймардинов (фирма «Комплекс-2»). А вы говорите: где наши Морозовы, наши Мамонтовы? Да

вот же они! Рассказы действительно хорошие, как и все, что безыскусно повествует о настоящей жизни.

ДИМИТРОВГРАД (УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Николай МАРЬЯНИН. БОГ УМЕР. Сборник поэтических иллюзий. Димитровград. «Посад Мелекесс», 2000. 1500 экз.

Прочитав название, я, конечно, несколько смутился. Как-то не думал я, что можно решиться назвать книгу вот так — ничтоже сумняшеся. Это первый сборник стихотворений автора, и я бы все-таки посоветовал ему не называть второй «Мир как воля и представление» или «Страх и трепет». Стихи тяжелые, напряженные, авторская мысль не летит, а ворочается с боку на бок. В конце сборника дается составленный автором кроссворд, отгадать который можно, лишь внимательно изучив написанные Марьяниним стихи. За правильное решение обещаны специальный приз от поэта и благодарственные автографы от него же.

КЕМЕРОВО

ОГНИ КУЗБАССА. Литературно-художественный альманах № 2 (9). Издание Союза писателей Кузбасса.

Красиво, хотя и без иллюстраций (только на обложке) издаваемый альманах. Авторам много, всех не перечислишь и о всех не расскажешь в сжатых рамках моей рубрики. Просто отмечу, что выходит в Кузбассе хороший литературный альманах.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Это письмо пришло как отклик на «Русское поле».

«Здравствуйте, Павел!

Случайно обнаружил в «Русском слове» несколько Ваших строк по поводу моих книг и решил откликнуться. Тем более что Вы задали вопрос. «Россия...» может показаться книгой претенциозной, если не знать подоплеку. Это был мой литературный эксперимент, который длился двенадцать лет. Закончился он в 99-м более чем плохо.

Пишу я с начала 80-х. В 88-м мне были открыты некоторые сроки, скажем так. Не утверждаю, что я боялся 1999 года, но внутренний протест, конечно, имел место. Пожалуй, он и стал движущей пружиной моих опытов. Кое-что можно понять, перечитав три приближения. Опыт приближений — это своего рода моя мистерия, движение к Человеку внутреннему, мой лабиринт. Марат Мамардашвили сказал однажды: «... смерть, если мы сопрягли себя с ним Валом, есть способ внесения в жизнь завершенных смыслов, то со мной ничего не может случиться».

И я сопрягал... Хорошее стихотворение — всегда маленькая смерть. Решив пойти навстречу событию, я сделал попытку перенести его на 1996-й. Отсюда и 96-е приближение. Следующая книга должна была закрыть тему. Но я опоздал, может быть, невольно перевел стрелку.

В 1999-м, когда третья книга была в целом закончена, умерла моя мать. Чтобы как-то уменьшить другие возможные несчастья, снял название («Гибкая пуля»). Стало понятно, что это физика работает, но с символами лучше не играть. На 43-м году жизни пошел в церковь.

Стихи не закончились. Но в 2001 году больше занимаюсь переводами с английского (Р. Фрост, Э. Дикинсон, У. Йейтс и др.).

В начале 70-х в Петропавловске было создано лит. объединение, которое активно работало до 91-го года. Перебравшись с побережья в 86-м, я застал его закат. Камчатка в культурном отношении достаточно автономна. Был свой лит. альманах. Потом началось рассеяние...

Причин много. В основном угасание окраин.

Как писал Э. Х.: «Что-то кончилось».

С уважением».

Книги для обзора в рубрике «Русское поле» присылайте, пожалуйста, в редакцию «Октября».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

Каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 54 руб. 50 коп.,

для подписчиков стран СНГ — 71 руб. 50 коп.

Каталожная цена на год:

для подписчиков Российской Федерации — 654 руб.

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на каждый очередной номер по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

*Читайте
в следующем номере*

роман АЛЕКСАНДРА ПЯТИГОРСКОГО
«Древний Человек в Городе»

«Нормальный человек — тот, кто, живя в своем мире, понимает, что их, миров, бесчисленное множество, легко, однако, сводимое к двум — его миру и всем прочим. Он знает, что любое его или чье-либо действие, слово или соображение, сколь бы очевидным оно ни казалось, всегда будет иметь по крайней мере два смысла. Иначе говоря, нормальный человек **ЗНАЕТ ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ**, своего в первую очередь, двусмысленность, не сводимую ни к чему одному и единственному.

Август подумал — да кто же, черт дери, убит сегодня утром?! Спаситель? Убийца? Который из двух? И кем?»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2002 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Продолжение книги.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Михаил ЗАДОРНОВ. **Писатель, который разводил кошек.** Из цикла «Фантазии сатирика».

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Роман.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Тот свет.** Заключительная глава книги «Далее везде».

Павел КРУСАНОВ. **Роман.**

Афанасий МАМЕДОВ, И. МИЛЬКИН. **Самому себе.** Повесть.

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман. Продолжение.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Проза. Стихи.**

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Эссе, рассказы.

Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**

Юрий ПЕТКЕВИЧ. **Повесть.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Морские помойные рассказы.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Александр ПЯТИГОРСКИЙ. **Древний Человек в Городе.** Роман.

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Наполеон.** Повесть.

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Рассказы.**

Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, размышления о театре Виталия ВУЛЬФА.

А также **новые** произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Татьяны АНДРОНОВОЙ, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.